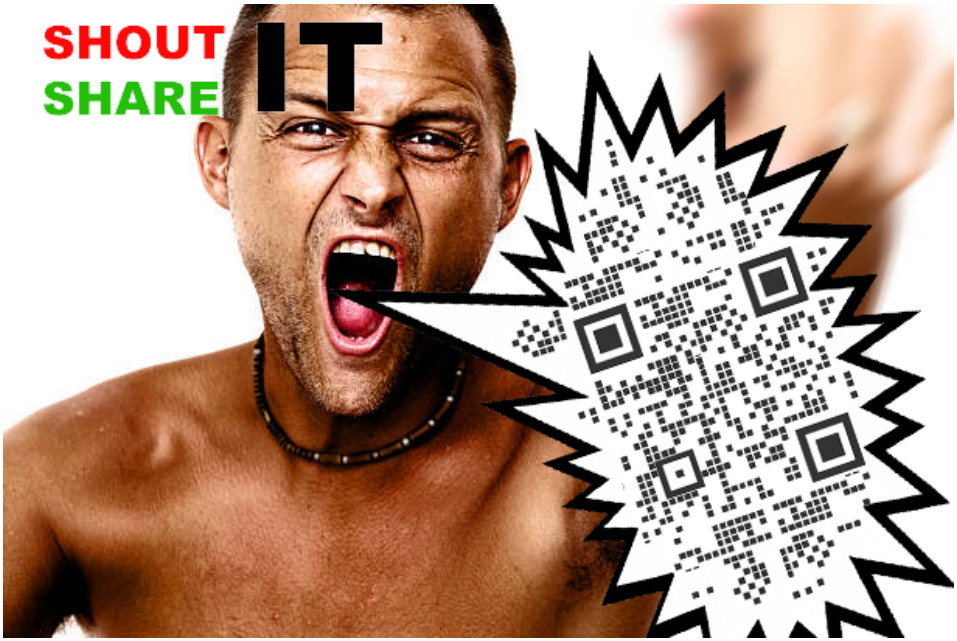
ДОКТОР БУЛГАКОВ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Монография посвящена исследованию влияния медицины на творчество выдающегося советского писателя врача Михаила Булгакова, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 1991 году. Автор показывает деонтологическую направленность произведений Булгакова.

В книге представлены интересные иллюстрации, фотодокументы, отражающие медицинскую линию в биографии и творчестве писателя. Для широкого круга медицинской общественности.

- Ю. Е ВИЛЕНСКИЙ
  - Предисловие
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - МАСТЕР И МЕДИЦИНА
  - СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154

- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Ю. Е ВИЛЕНСКИЙ
ДОКТОР БУЛГАКОВ

Предисловие

«Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик…»

«Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви…»

«Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу…»

Какие необычные слова о жизни и смерти… Они принадлежат лекарю с отличием Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Но что мы знаем о нем как о враче? В сущности, слишком мало и отрывочно. Волшебный свет булгаковских образов, необъятное булгаковское мироздание как бы оставляют в тени реалии медицины, запечатленные в его великом художественном наследии.

Между тем врачебные предвосхищения писателя, хотя они, пожалуй, еще никогда не рассматривались в таком взаимовлиянии, пророчески обращены в наши дни. Очевидно, первым в XX столетии в строках «Морфия» Михаил Булгаков неотразимо остро показал грозную опасность наркоманий и трагизм столкновения больных наркоманией с медициной, лишенной милосердия. Прозорливая оценка еще одной трагедии века — наступления сифилиса и других венерических инфекций, касаясь сегодня в своей социальной проекции проблем СПИДа, отличает и рассказ «Звездная сыпь». Быть может, результаты борьбы с ростом числа жертв этих заболеваний были бы значительно выше, если бы больных лечили по Булгакову — сопереживая, не отторгая и не обвиняя. Эти литературные творения можно назвать выдающимися медицинскими декларациями, и гуманистический их смысл, по сути, еще не осознан наукой.

А нравственный облик героя «Записок юного врача»! Противостояние страха и мужества в его душе, доводы почти безнадежного риска, преодолеваемые силою совестливости, и счастье победы над угрозой смерти — в родильном зале или у операционного стола — все это передано очень волнующе. Вдохновляющая правда булгаковских страниц, посвященных земской медицине, достойна пристального внимания мировой медицинской общественности — по ним в противоречивости самой жизни постигаешь понятия врачебной чести и долга,

учишься ощущать тайный внутренний свет этой профессии.

Разумеется, Булгаков — сын своих дней, нерв своей трудной эпохи. Человеческая беззащитность в вихре событий гражданской войны, ненависть к насилию и лицемерию, удушающая атмосфера диктатуры, опасность попрания интеллигенции, возможность губительных Последствий научного авантюризма и невежества — вот пульсирующие артерии его тем и тревог, не просто отражающих потрясения сурового времени, но опережающих его бег. Непреходящие эти картины эпической широты воссозданы блистательной рукой. Однако, поражая точностью деталей, глубиной и аналитичностью мысли и диапазоном психологических построений, Булгаков-врач живет и в этих строках. Как, быть может, лучшая школа реализма для восприимчивого ума, всему этому учит медицина, особенно если она избрана по призванию. И хотя Булгаков писал в автобиографии: «Судьба сложилась так, что ни званием, пи отличием не пришлось пользоваться долго», профессиональное видение, связанное с первоначальным жизненным опытом, сохранилось в нем навсегда. «Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает…» — даже в этих прощальных строках «Мастера и Маргариты» ощущается взгляд врача.

Вместе с тем, современная энциклопедия врачевания немыслима без осознания булгаковских медицинских и деонтологических истин. Ведь слова автора «Морфия» из его дневника — «И буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим» — относятся и к этой сфере жизни. Разумеется, Мастер не ставил перед собою каких-то прагматических целей. И все же именно его позиции в медицине, очерченные пером художника, с неизъяснимой силой утверждают вечные моральные ориентиры в этой профессии. Сегодня, когда и медицины коснулся прибой нравственного кризиса, этические, вневременные ценности и идеалы в ней обретают особый смысл. Вслед за своим великим учителем доктором Чеховым Булгаков побуждает к пристальному взгляду в самое себя, наполняя энергией страсти такие светильники цивилизации, как Жизнь, Мужество, Нежность, Ответственность, Сострадание, Любовь.

Из окна своего маленького докторского кабинета на Андреевском спуске молодой врач Булгаков видел древнюю Флоровскую гору, соединявшуюся когда-то мостом с другим легендарным поселением родного города — Вздыхальницей. Перебросить еще один мост к Булгакову — вот о чем мечтал автор, вдыхая ауру этих стен. Начавшись с радости соприкосновения с духом таинственного турбинского дома, тропа

постепенно расширялась. Рассказать о студенческих годах М. А. Булгакова и его учителях, о самоотверженной работе на врачебном поприще, проанализировать влияние и отзвуки медицинских знаний в его произведениях, попытаться раскрыть роль творческих открытий писателя для лучшего понимания ряда проблем врачевания — такова цель данного исследования. Оно состоит из глав «Начало пути», «Лекарь с отличием», «Благодаря близости к медицине», «Чехов, Вересаев, Булгаков», последовательно освещающих эти вопросы и взаимосвязи. В современной Булгаковиане, как нам думается, необходим и подобный труд.

Большое содействие в выявлении и изучении материалов и документов, отражающих врачебную биографию М. А. Булгакова, оказали сотрудники Государственного архива Киева, Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Центрального военно-исторического архива, Музея медицины УССР, Смоленской областной библиотеки, Республиканской научно-медицинской библиотеки им. Д. И. Ульянова. Некоторые из этих документов отображены в иллюстрациях. Важнейшим источником, наряду с сочинениями М. А. Булгакова, явились изыскания о его жизни и творчестве, в частности, труды, мемуары и публикации Н. А. Булгаковой-Земской, Е. С. Булгаковой, Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской, Е. А. Земской, М. О. Чудаковой, Л. М. Яновской, В. А. Каверина, В. Я. Виленкина, С. А. Ермолинского, В. Я. Лакшина, М. Е. Стеклова, А. М. Смелянского, В. В. Гудковой, Б. С. Мягкова, А. А. Нинова, В. И. Лосева, В. В. Петелина, А. С. Бурмистрова, Л. Ф. Хинкулова и других почитателей таланта писателя. Предлагаемая книга — лишь продолжение усилий, благодаря которым стало возможным возрождение Булгакова.

Автор выражает глубокую признательность Е. А. Земской, В. М. Светлаевой, В. Я. Виленкину, В. В. Гудковой, Т. А. Рогозовской, А. П. Кончаковскому, Ю. Н. Щербаку, М. С. Петровскому, Л. М. Яновской, Б. С. Мягкову, М. Б. Калъницкому, А. К. Волкотруб, Л. Г. Заверному, В. Я. Звиняцковскому, Р. И. Павленко, Ю. Н. Квитницкому-Рыжову, П. Е. Заблудовскому, В. М. Нольде, Е. А. Зайончковскому, Г. А. Шалюгину, Е. В. Мазурику, В. И. Лосеву, И. М. Трахтенбергу, Г. П. Лихтанскому, А. А. Грандо, А. Д. Лобунцу, Л. Л. Сахновскому, Н. Б. Манъковскому, Л. Л. Фиалковой, Т. Л. Кавецкой, Н. И. Железняк, М. И. Вязьмитиной, И. К. Позняковой, В. А. Фрелиху, В. С. Левину, Э. А. Скопиной, Г. Н. Зубченко, Л. Я. Новиковой за советы и помощь при подготовке рукописи.

Бесспорно, многие положения в предлагаемой книге отчасти субъективны. Однако это первый экскурс такого рода, первая попытка приближения к Булгакову как врачу. Все замечания

будут восприняты с искренней благодарностью.

Выбрал медицину не случайно. Курс 1909-го года. «Милый Волк» и другие… «Для предъявления в одно из врачебных учреждений).

В тишине и уединенности читального зала Государственного архива Киева я вновь и вновь всматриваюсь в пожелтевшие от времени бумаги, хранящиеся в тонкой серой папке. Они переносят меня в начало девятисотых годов. Передо мной личное дело студента медицинского факультета Киевского университета Михаила Афанасьевича Булгакова, или, пользуясь архивоведческой терминологией, единица хранения № 16366, входящая в опись 465 фонда 16. Именно этот фонд охватывает былое университета. Пройдя сквозь трудную историю города, хрупкие свидетельства прошлого непостижимым образом сохранились.

Листки разного формата, с выцветшими штампами, полустертыми резолюциями, пометками карандашом и чернилами, зримо отражающие стиль эпохи… Они позволяют охватить почти семь лет молодости Булгакова, попытаться вглядеться в нравственные истоки его личности, понять, как возникли в «Театральном романе» слова «Не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист…», достойные, быть может, включения в клятву Гиппократа.

Свод документов открывает свидетельство важного жизненного решения юного Михаила Булгакова — прошение ректору университета, в котором предопределен выбор будущей профессии: «Имею честь просить Ваше превосходительство зачислить меня студентом медицинского факультета Университета св. Владимира. При сем прилагаю… аттестат зрелости за № 1195, формулярный список о службе отца, метрическое свидетельство, выданное из Киевской консистории, свидетельство о приписке к призывному участку. Кроме того, прилагаю три фотографические карточки, засвидетельствованные надлежащим образом».

Прошение датировано 17 июля 1909 г. Ниже адрес, который станет знаменитым: Андреевский спуск, 13, кв. 2. Виден штамп: «Получено в канцелярии Университета св. Владимира 20 июля 1909 г.». Здесь же резолюция о приеме в университет и пометка о том, что 21 августа проситель включен в число студентов. Учитывая разрыв в датах написания и регистрации прошения, можно предположить, что оно было отправлено М. Булгаковым по почте.

Темно-зеленый покоробленный коленкоровый переплет, плотные гладкие странички… Это личная студенческая книжка

М. А. Булгакова. Дата заполнения ее титула — 21 августа 1909 г. — совпадает с днем зачисления в университет. Внизу ясно читаемая подпись. Крупный четкий почерк, заглавная буква М, переходящая в строчную б, — отражение быстрого целостного движения руки. Подпись Михаила Афанасьевича уже не изменится до конца жизни, она почти такая же и на последней его фотографии, которую он надписал Е. С. Булгаковой, почти утратив зрение.

Собственно, именно этот матрикул впервые вполне наглядно показывает, кто учил Михаила Афанасьевича, как шел он к важной и таинственной работе врача. Записи на страничках студенческой книжки, запечатлевшей поистине знаменитые имена в отечественной науке, завершаются 1915 годом.

«О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, утконсекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет, значит жизнь свободная, — понимаете ли вы, что значит университет?… Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава» {1}.

Каштаны и май на Бибиковском бульваре, на зеленом киевском меридиане. Как раз здесь, в приготовительном классе старейшей 2-й гимназии (теперь в этом здании по бульвару Шевченко, 18, размещается междугородная телефонная станция), Булгаков начал свое ученичество. И лишь затем в его биографию войдет 1-я гимназия (здание, построенное архитектором А. В. Беретти), обитель Н. И. Пирогова, ныне — один из корпусов университета, все еще ждущий мемориальной доски в честь писателя.

Глава I
НАЧАЛО ПУТИ

Выбор сделан…

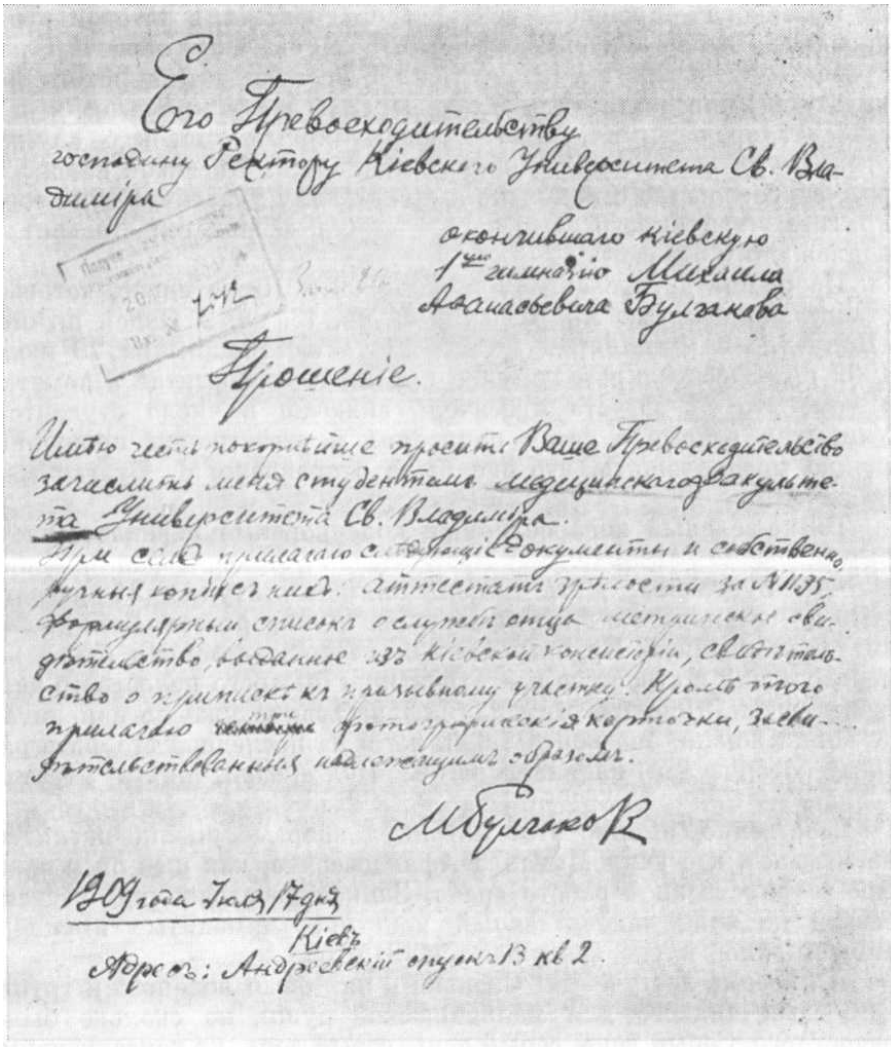
Прошение о зачислении на медицинский факультет Из фондов Государственного архива г. Киева.

Эти студенческие перекрестки вблизи бордово-красного здания университета с его монументальной колоннадой, положившего

Киев, Андреевский спуск, 13 Обитель юности Михаила Булгакова Фото Д. В. Малакова, 1990 г.

то начало новым строениям и во многом новому облику Киева, порою называли Латинским кварталом. А совсем рядом, наискосок от гимназии, по нечетной стороне бульвара,

располагались университетские клиники. Тревога и боль в глазах людей у этих дверей, экипажи с пациентами, фигуры врачей и сестер милосердия, конные кареты скорой помощи, огромные матовые окна операционной, тени хирургов над столом… Конечно, сотни и сотни подростков воспринимали этот повседневный «скорбный лист» города как нечто далекое, но вряд ли Михаил Булгаков был среди них.



Его Превосходительству
господину Ректору Кіевскаго Университета Св. Владиміра
окончившаго кіевскую
1-ую гимназію Михаила
Афанасьевича Булгакова

Прошеніе.

Имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство зачислить меня студентомъ медицинскаго факультета Университета Св. Владиміра.
При семъ прилагаю слѣдующіе документы и собственноручно написанныя: аттестатъ зрѣлости за №1135, формулярный списокъ о службѣ отца, метрическое свидѣтельство, выданное изъ кіевской консисторіи, свидѣтельство о пріемкѣ въ гимназическую церковь. Кромѣ того прилагаю фотографическія карточки, засвидѣтельствованныя надлежащимъ образомъ.

М Булгаковъ

1909 года Іюля 17 дня
Кіевъ

Адресъ: Андреевскій спускъ 13 кв 2.

И все же это лишь внешние впечатления. Выбор Булгаковым медицинского факультета был во многом обусловлен семейными традициями. «Я хочу… отметить один факт, на который стоит обратить внимание, — подчеркивала сестра Михаила Афанасьевича Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская (материалы из ее собрания опубликованы в 1988 г. ее дочерью,

доктором филологических наук Е. А. Земской, в книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове»). — У матери в семье было шесть братьев и три девочки. И из шести братьев трое стали врачами. В семье отца один был врачом. После смерти нашего отца, потом, не сразу мать вышла второй раз замуж, и наш отчим был тоже врачом. Поэтому я опровергаю здесь мнение, что Михаил Афанасьевич случайно выбрал эту профессию. Совсем не случайно. Это было как-то в воздухе нашей семьи — и Михаил выбрал свою профессию, свою медицину обдуманно и сознательно. И он любил свою медицину…» {2}.

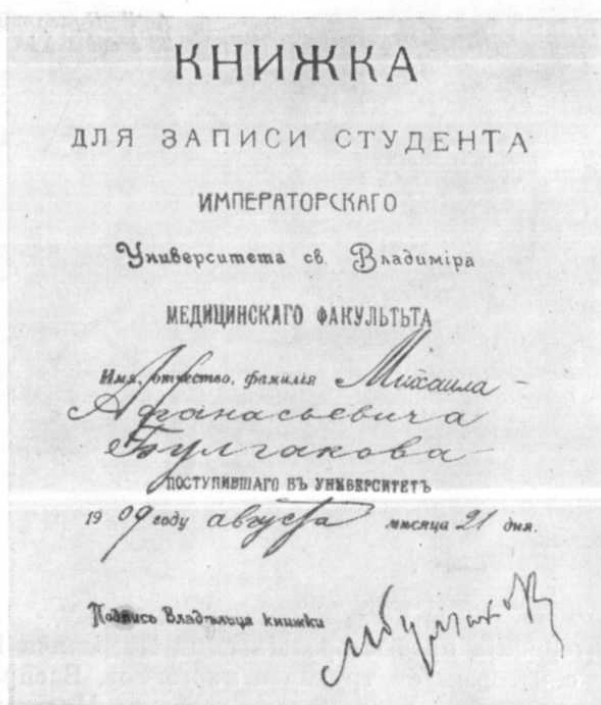
Каковы же эти влияния на выбор профессии? Пожалуй, они многообразны. Так, врачами, весьма известными в Москве, были братья Варвары Михайловны, матери М. Булгакова, Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские. Безусловно, и к ним относятся слова Н. А. Булгаковой-Земской о роде Покровских: «Жизнерадостность и свет. Какая-то редкая общительность, сердечность, простота, доброта, идейность и несомненная талантливость». Дядя Коля и дядя Миша — эти имена часто звучат в письмах Михаила Афанасьевича родным. Особое влияние на его становление, видимо, оказал Николай Михайлович Покровский (1878–1942) — один из близких помощников крупнейшего отечественного акушера-гинеколога профессора Владимира Федоровича Снегирева. Гинекологический институт на Девичьем поле, основанный В. Ф. Снегиревым, являлся образцовым учреждением этого типа. Здесь имелись одна из лучших в Москве операционных с рядом технических приспособлений, прекрасные палаты с предметами ухода, специальной мебелью и широкими лоджиями, кстати, впервые в России примененными в больничном строительстве. Не исключено, что при описании в «Мастере и Маргарите» весьма удобной и уютной клиники профессора Стравинского с ее балконами М. Булгаков вспоминал и это гармоничное здание, с устройством которого он, видимо, был знаком.

В институте производилась овариотомия, были предложены реконструктивные операции, применялись новейшие способы излечения опухолей матки. Первыми в русской медицине В. Ф. Снегирев и его ученики начали использовать радий при раке матки. Из научной школы, возглавляемой В. Ф. Снегиревым, гуманные традиции которой высоко ценил А. П. Чехов, вышел классический труд «Маточные кровотечения», ознаменовавший важную веху в акушерстве.

Рабочий день в Гинекологическом институте начинался рано и кончался поздно. В восемь часов утра все уже были в операционной на своих местах. Ежедневно составлялся

подробный бюллетень о состоянии оперированных больных. Причем летом, когда университетские клиники закрывались, работа не только но прерывалась, а, наоборот, расширялась — Снегирев производил и в этот период ряд сложных операций, включая и полостные. Помощь оказывалась преимущественно сельскому населению в летних хирургических бараках, построенных В. Ф. Снегиревым при Алексинской земской больнице на Оке. Как и некоторые другие врачи, здесь постоянно работал и П. М. Покровский. Характерно, что, перечисляя специалистов клиники, ближайший ученик В. Ф. Снегирева профессор М. Г. Сердюков называет доктора Покровского вторым в этом ряду.

Проработавший в снегиревской клинике почти четыре десятилетия, Н. М. Покровский пользовался уважением и авторитетом в московской врачебной среде. Показательно, что в 1926 г., когда отмечалось десятилетие со дня смерти В. Ф. Снегирева, с докладом «Памяти великого учителя и создателя гинекологии в России» на заседании Московского акушерско-гинекологического общества выступил доктор Н. М. Покровский. Быть может, на этом заседании присутствовал и М. А. Булгаков, не переставший интересоваться медициной.


КНИЖКА

ДЛЯ ЗАПИСИ СТУДЕНТА

ИМПЕРАТОРСКАГО

Университета св. Владиміра

МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА

Имя, отчество, фамилія Михаила Афанасьевича Булгакова

ПОСТУПИВШАГО ВЪ УНИВЕРСИТЕТЪ

1909 году августа мѣсяца 21 дня.

Подпись Владѣльца книжки

Титульный лист личной студенческой книжки М. Булгакова 1909 г. Из фондов Государственного архива г. Киева

А. И. Булгаков
90-е годы XIX ст.

Врачебный путь доктора медицины Михаила Михайловича Покровского (1882–1943) был связан с клиникой выдающегося интерниста профессора Максима Петровича Кончаловского, вместе с которым он трудился много лет. В справочнике «Лечебные учреждения и медицинский персонал Москвы» (1928) указывается, что М. М. Покровский (позже ему будет суждено стать одним из лечащих врачей Михаила Афанасьевича в критический период болезни) является старшим ассистентом этой клиники в составе 1-го МГУ. Безупречный нравственный облик этих двух замечательных врачей, их образованность и интеллигентность, доброе отношение к больному — все это, как мы полагаем, отразилось на врачебной биографии Булгакова.

Николай Михайлович Покровский жил в довольно большой, благоустроенной квартире в Чистом (Обуховой) переулке, во многих деталях схожей с квартирой Филиппа Филипповича Преображенского в повести «Собачье сердце», где, кстати, упоминается Обухов переулок. У него часто бывал Михаил Михайлович. «Дядю Колю, несмотря на его охранные грамоты, уплотнили. Дядю Мишу выставили в гостиную, а в его комнате поселилась пара, которая ввинтила две лампы: одну в 100, другую в 50 свечей, и не тушит их ни днем, ни ночью», — писал М. Булгаков сестре Надежде Афанасьевне в марте 1922 г.

Врач Н. М. Покровский, дядя М. А. Булгакова Из архива Е. А. Земской

Прототипом хирурга, производящего удивительные операции, видимо, в определенной мере послужил Николай Михайлович Покровский. Подъезд с мраморной площадкой и сейчас нетрудно отыскать. Булгаковы не раз приезжали сюда. Так, в годы учебы на Высших курсах в Москве у дяди жила Надежда Афанасьевна Булгакова, и по этому адресу, в пору работы Михаила Афанасьевича в Вязьме, приходили его письма.

В «Театральном романе», отвечая на вопрос, кто лечил его отца, драматург Максудов называет имя профессора Янковского, а в варианте «Белой гвардии» упоминается врач Янчевский. Известно, что в произведениях М. Булгакова нередко встречаются лишь несколько измененные автобиографические сведения. И можно полагать, что перед нами отражение его первых встреч с профессором Феофилом Гавриловичем Яновским в трудные дни 1906 г., когда тяжело заболел Афанасий Иванович Булгаков, что это отзвук тех впечатлений, которые запоминаются на всю жизнь.

Молодые киевские интеллигенты-разночинцы, почти ровесники, Ф. — Г. Яновский и А. И. Булгаков были знакомы друг с другом с конца 80-х годов. Как рассказал автору этих строк внук Ф. Г. Яновского профессор-кардиолог Юрий Викторович

Яновский, Афанасий Иванович и Феофил Гаврилович были дружны семьями. Кстати, сын Ф. Г. Яновского Виктор и Михаил Булгаков учились в 1-й гимназии в одном классе. Выпускник Университета св. Владимира ординатор военного госпиталя Ф. Яновский с 1885 г. жил на Боричевом Току, неподалеку от Андреевского спуска. Примерно в этот же период в том же районе старого Киева, на Воздвиженской улице, сняла квартиру чета Булгаковых.

Кварталы Подола, старинные Гончары, Кожемяки, Глубочица, Русская поляна, Куреневка, Приорка — вот места первоначальной врачебной практики Ф. Г. Яновского, вскоре зарекомендовавшего себя среди киевлян одним из лучших докторов, равно отзывчивым к каждому. Нелишне добавить, что в эти же годы Феофил Гаврилович выполнял обязанности врача лазарета при Киево-Подольской духовной школе — учебном заведении, близком к духовной академии, где преподавал А. И. Булгаков. И когда над булгаковским домом нависла беда, первым к больному в квартиру на Андреевском спуске был, очевидно, приглашен профессор Яновский.

Н. М. Покровский с племянницами Из архива А. П. Кончаковского

Наверное, именно он заподозрил у Афанасия Ивановича

заболевание почек, хотя преобладало ухудшение зрения. Настойчивые и поначалу небезуспешные попытки Яновского помочь отцу, облегчить его страдания, обаяние натуры Феофила Гавриловича, его врачебный талант — все это не могло не оказать влияния на гимназиста Булгакова в дни его невольных размышлений о медицине.

И наконец, быть может, наиболее близкий человек — доктор Иван Павлович Воскресенский. Как складывались отношения Михаила Афанасьевича с отчимом? Можно утверждать, что они стали действительно близкими людьми. Обратимся, в частности, к датированным 1922–1923 гг. письмам Михаила Афанасьевича родным, сохранившимся в семейном архиве (публикация Е. А. Земской).

«… У Ивана Павловича скопилась вся компания (Леля, Костя, Варя, Леня…… Я думаю, что ты и Леля (письма адресованы в Киев сестре Вере. — Ю. В.) вместе и дружно могли бы наладить жизнь в том угле, где мама налаживала ее. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что лучше было бы и Ивану Павловичу, возле которого остался бы кто-нибудь из семьи, тесно с ним связанной и многим ему обязанной…. С большой печалью думаю я о смерти матери и о том, что, значит, в Киеве возле Ивана Павловича никого нет» {3}.

Н. А. Булгаков, брат писателя, в дни поступления на медицинский факультет в Киеве, 1917 г. Из фондов Государственного архива г. Киева

Врач М. М. Покровский, дядя М. А. Булгакова Из архива Е. А. Земской

Доктор Воскресенский жил поблизости от Булгаковых, на Андреевском спуске, 38. Этот его адрес и телефон (25–58) обозначены в адресно-справочной книге «Весь Киев» издания 1913 и 1916 гг. А внизу, на Подоле, на углу улиц Хоревой и Константиновской, находился Александровский приют — место его службы, где Иван Павлович был директором и одновременно врачом. Этот дом сирот находился на его попечении и в годы первой мировой войны.

Что же представлял собою Воскресенский как специалист и человек? В статье Всеволода Яновского «Биографические сведения об академике Ф. Г. Яновском» (1929), впервые, по непосредственным впечатлениям, рисующей путь выдающегося врача-гуманиста, И. П. Воскресенский упоминается в числе наиболее близких его учеников. По воспоминаниям современников, это был широко образованный врач, сталкивающийся со всем разнообразием болезней того времени — от множества инфекций до неотложных состояний. Трогательная деталь в этой статье показывает его как натуру добрую и непосредственную. После того как весной 1906 г. Ф. Г. Яновский перенес тяжелое заболевание почек, поначалу внушавшее серьезные опасения, он провел конец лета в селе

неподалеку от Киева. Чтобы Феофилу Гавриловичу было легче ходить, Воскресенский подарил ему палочку японской работы. Казалось бы, скромный знак внимания. Но, наверное, он пришелся так кстати, что Вс. Яновский вспомнил об этом эпизоде спустя двадцать три года.

Облик И. П. Воскресенского как врача, равно как и атмосферу в семье, в определенной мере раскрывает шутливая драма М. Булгакова для «домашнего употребления» «Поездка Ивана Павловича в Житомир». Содержание ее, по словам Н. А. Булгаковой-Земской, таково. Однажды Иван Павлович по совету Кости Булгакова поехал из Киева к тяжелобольному в Житомир не на поезде, а в дилижансе-автомобиле. По дороге дилижанс сломался. Пациент умер… Иван Павлович врывается в столовую и целится из пистолета в Костю, но промахивается и попадает в тетку Ирину Лукиничну, та умирает со словами: «Пианино Леле» {4}.

Ф. Г. Яновский (1860–1928) Из фондов Центрального музея медицины УССР

На фотографиях И. П. Воскресенский, известный в городе прежде всего как педиатр, напоминает А. П. Чехова. И знаменательное совпадение — с Антоном Павловичем его сравнивают и некоторые бывшие его пациентки. В конце 1987 г., благодаря любезному содействию исследователя истории Киева М. Б. Кальницкого, мне довелось беседовать с двумя из них — Татьяной Леонтьевной Кавецкой и Надеждой Ивановной Железняк. И. П. Воскресенский лечил их в начале 20-х годов как детский врач.

— Он очень ловко выслушивал, умел быстро и легко осмотреть воспаленное горло, — вспоминала Т. Л. Кавецкая. — С собою всегда приносил игрушки, конфеты, хотя были голодные времена. Ясно помню нежное прикосновение его рук и какой-то особый докторский запах. Мои родители почему-то неизменно сравнивали его с Чеховым.

Творить благо… Не эта ли нравственная позиция так сближала И. П. Воскресенского и В. М. Булгакову? В выпусках «Весь Киев» Варвара Михайловна Булгакова упоминается в качестве члена правления, а затем казначея Фребелевского общества. Общество это (ул. Большая Житомирская, 34, а впоследствии ул. Фундуклеевская, 51) стремилось усовершенствовать дошкольное воспитание детей, активно помогая многим малообеспеченным семьям. В структуру общества в Киеве входили Фребелевский институт, школа и бесплатный народный детский сад. Показательно, что в 1920 г. Фребелевский институт становится основой Института народного образования в Киеве. Выскажем еще одно предположение, о котором пока не упоминают биографы М. А. Булгакова. В газете «Киевская мысль» за 1915 г. мы обнаружили сообщение, что по Андреевскому спуску, 15, т. е. рядом с квартирой Булгаковых, силами сотрудников бесплатных народных детских садов открыт новый приют для сирот русских воинов. Мы больше ничего не знаем об этом приюте, но, скорее всего, заботы о нем легли на плечи Варвары Михайловны Булгаковой

В. М. Покровская-Булгакова и И. П. Воскресенский «Ивана Павловича целую крепко», — писал М. Булгаков в 1921 г.

Из архива Е. А. Земской

Известно, что врачом стал и Николай Афанасьевич Булгаков (1898–1966), любимый, младший, брат писателя, один из прототипов Николки Турбина. Как явствует из изученных нами архивных материалов, 17 июля 1917 г. он был также принят на медицинский факультет Киевского университета, и этот выбор, очевидно, был сделан не без влияния старшего брата и Ивана Павловича Воскресенского. В связи с призывом на военную службу в Алексеевское инженерное училище Н. Булгаков не смог продолжить учебу на факультете. Однако, как видно из его прошения ректору университета, он ходатайствовал об оставлении его в списке студентов. Сохранилась фотография, представленная Николаем Булгаковым в числе поданных в университет документов. В дальнейшем, окончив Загребский университет, II. А. Булгаков стал видным микробиологом, ближайшим помощником известного французского исследователя д'Эрелля в созданном им институте. В том, что Николаю

Булгакову, несмотря на крайнюю нужду в годы учебы, все же удалось стать врачом, причем врачом, настолько блестяще окончившим курс, что вскоре предопределилась его научная карьера, думается, в какой-то мере воплотились и отношение Михаила Афанасьевича к этой профессии, и в частности его глубокий интерес к исследовательской стороне медицины.

Николай Афанасьевич Булгаков — один из создателей бактериофагов, организатор бактериологической службы в Мексике. Его нравственные качества отражены и в документах, хранящихся в фонде М. А. Булгакова в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. В годы второй мировой войны ученый, являвшийся подданным Югославии, был интернирован и отправлен гитлеровцами в концлагерь вблизи Компьена. Он вел себя мужественно, помогая товарищам по заключению как врач. В 1945 г. бывшие узники лагеря прислали доктору И.А. Булгакову благодарственный адрес и памятный знак ветерана Сопротивления.

Семья Булгаковых в Буче

В нижнем ряду слева направо — Надя, Тася, Леля

Булгаковы, в среднем ряду — М. М., В. М., Н. М. Покровские, И. П. Воскресенский, в верхнем ряду — Михаил Булгаков 1913 г.

Из архива А. П. Копчаковского

Вместе по пути добра Варвара Михайловна и Иван Павлович «У Воскресенских очень интересно жить: вчера приехал Миша»,— писала Н. А. Булгакова из Киева в 1921 г.
Из архива А. П. Кончаковского

Добавим, что и Н. А. Булгаков высоко ценил И. П. Воскресенского. Как указывает М. О. Чудакова («Жизнеописание Михаила Булгакова», 1988), в январе 1922 г. наладилась связь Николая Афанасьевича, в то время студента Загробского университета, с семьей. В письме родным есть и трогательные слова в адрес Ивана Павловича: «С Вашим образом у меня связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания как о человеке, приносившем нашему семейству утешение и хорошие идеи доброго русского сердца и примеры безукоризненного воспитания. На словах мне трудно выразить мою глубокую благодарность за все то, что Вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье и мне на заре моей учебной жизни» {5}.

Таково необходимое предуведомление. Пересечем теперь старый бульвар и представим университетские клиники в пору студенческой юности Михаила Булгакова, в Киеве начала 10-х

годов, когда фронтон 1-й гимназии еще украшал императорский вензель, а на соседней Владимирской улице лишь строилось величественное полукружие Педагогического музея. Памятные доски у входа в одно из этих трех знаменитых зданий по бульвару Шевченко, 17, где будущие врачи, как и сейчас, приобщались к клинике внутренних болезней, свидетельствуют, что здесь трудились известные профессора терапевт В. П. Образцов и хирург А. П. Крымов. Рядом располагался патологоанатомический институт, далее, гранича с Ботаническим садом, — акушерский корпус. «… Склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов…» {6}. Операционный зал, описанный в рассказе «Крещение поворотом», находился на втором этаже этой клиники, связанной с именами видных акушеров-гинекологов Г. Е. Рейна, А. А. Муратова, Г. Ф. Писемского, Г. Г. Брюно.

Немало часов студент М. Булгаков проведет в главном университетском корпусе, где в ту пору находились основные теоретические кафедры, физический и зоологический кабинеты, гербарий, кабинет сравнительной анатомии, фармакологическое собрание, химический кабинет и лаборатория с колбами и ретортами, столь привлекавшими его («врач, склонный к исследовательской лабораторной работе» — так пишет о брате Н. А. Булгакова-Земская).

В повседневность учебы войдут Анатомический театр (теперь в этом старинном здании по ул. Ленина, 37, находится Музей медицины Украинской ССР), военный госпиталь на Печерске, Александровская больница, судебно-медицинский корпус на Собачьей тропе, где также располагался ряд университетских кафедр.

Воспроизведем учебную программу того времени, ничего не меняя в стилистике подлинника из экзаменационных университетских документов. На медицинском факультете М. Булгаков

> «прослушал нижеследующие курсы и участвовал в научно-практических занятиях, согласно установленному учебному плану:
>
> Анатомию с практическими занятиями, Физику, Химию неорганическую и органическую с практическими

занятиями, Зоологию с сравнительною анатомиею, Ботанику, Минералогию, Фармацию и Фармакогнозию с практическими занятиями, Физиологию, Медицинскую химию с практическими занятиями, Общую патологию, Фармакологию с Рецептурою и Токсикологией), Патологическую анатомию с практическими занятиями, Врачебную диагностику с практическими занятиями, Десмургию и Малую хирургию с практическими занятиями, Акушерство, Гинекологию, Частную патологию и Терапию, Хирургическую патологию, Оперативную хирургию с топографическою анатомиею и практическими занятиями, Терапевтическую факультетскую клинику, Хирургическую факультетскую клинику, Госпитальную терапевтическую клинику, Госпитальную хирургическую клинику, Акушерско-гинекологическую клинику, Офталмологшо, Офталмологическую клинику, Детские болезни с клиникою, Нервные и душевные болезни с клиникою, Накожные и сифилитические болезни с клиникою, Судебную медицину и Судебно-медицинскую казуистику живого человека с клиникою, Гигиену и медицинскую полицию с практическими занятиями, Патолого-анатомические вскрытия и Историю медицины».

Этот круг дисциплин, читаемых видными биологами и медиками, значил очень много в университетском образовании врача. Но в те же годы, наряду с представителями естественно-научного направления, в Киевском университете преподавали крупные историки В. С. Иконников и М. Ф. Владимирский-Буданов, филолог В. Н. Перетц, геолог П. А. Тутковский, алгебраист Д. А. Граве, активно работало историческое Общество Нестора-Летописца, продолжалось собирание уникального архива древних актов. Университет в этот период участвовал в открытии в Москве памятника первопечатнику Ивану Федорову, в проведении 100-летнего юбилея Н. В. Гоголя и 200-летнего юбилея М. В. Ломоносова, в чествовании памяти Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Конечно, далеко не все соответствовало официальному девизу университета — «Польза, честь и слава». Это было время отзвука недавних революционных волнений в городе и университете и жандармской слежки за студентами, время создания общекоалиционного комитета высших учебных заведений в Киеве, правительственного запрета празднования 100-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко, время грандиозных студенческих митингов в Шевченковские дни. Влияние на

личность Булгакова этих событий, этой подчас скрытой, но непрерывной борьбы, на наш взгляд, ощутимо, и мы еще коснемся таких моментов. Здесь же следует выделить один из несомненных источников блестящей образованности М. Булгакова — широкий круг лекций выдающихся ученых различных специальностей, доступных каждому студенту.

Набирал разбег XX век. «Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом» {7}.

Многие из этих светящихся пирамид и зеленых миров на карте Киева возникали именно в те годы. Больница Мариинской общины Красного Креста с аллегорическими фигурами Любви, Милосердия, Жизни и Медицины на Мариинско-Благовещенской улице и первый двенадцатиэтажный «небоскреб» на Институтской, здания Высших женских курсов и Киевского отделения Российского технического общества на Маловладимирской, готика костела и кинотеатр «Одеон» в восьмиэтажном здании на Большой Васильковской, Пушкинский парк… Приметы юности Михаила Булгакова.

Кто же стоял в тот период у кормила медицинского факультета? Мы знаем об этом и много, и мало. Один из наиболее информативных источников — вышедший в 1947 г. сборник «Сто лет Киевского медицинского института» (юбилей должен был отмечаться в 1941 г., но торжество состоялось 24 декабря 1944 г. в освобожденном Киеве в оперном театре). Ведущие ученые института и среди них непосредственные свидетели предреволюционной жизни медицинского факультета академики Н. Д. Стражеско, Б. Н. Маньковский, А. П. Крымов, профессор К. Э. Добровольский описали историю основных клиник, охарактеризовали развитие научных направлений в течение обозреваемого века. Эти сведения несколько дополнены в последующих изданиях, посвященных 125-летию и 140-летию института.

Однако подлинного колорита времени на этих страницах все же нет. Собственно, представлены лишь тезисы, которые, как говорится в сноске к предисловию книги «Сто лет Киевского

медицинского института», по не зависящим от авторов обстоятельствам весьма сокращены.

Конечно, более полно об этом могут рассказать первоисточники. Листаю отчеты кафедр, протоколы ученых советов, рапорты о поездках на научные конгрессы, финансовые ведомости, списки освобожденных от уплаты за обучение, корреспонденцию из ведомств и обществ Красного Креста, учебные программы, приглашения на съезды, студенческие ходатайства… Вот проект создания клинического городка на взгорье за железной дорогой (в этих зданиях, строительство которых завершилось в 1915 г., был сразу же развернут госпиталь Красного Креста, а потом много лет размещался Институт туберкулеза имени Ф. Г. Яновского), докладная записка об организации в 1910 г. в рамках факультета фармацевтических курсов. Особые мнения о необходимости учреждения одонтологического института и курса бактериологии, извещения о графике работы кафедр и клиник, фрагменты диссертаций, перечень студенческих научных работ, рапорты преподавателей о командировании в районы военных действий, решение о льготах для фельдшеров при поступлении на факультет, принятое по ходатайству Союза лекарских помощников. Повесть об ушедшем времени…

Всматриваюсь в молодые лица на фотографиях в личных делах. Это сокурсники М. Булгакова либо студенты, занимавшиеся на медицинском факультете в одно время с ним, в будущем видные советские врачи — Борис Евгеньевич Вотчал, Вадим Николаевич Иванов, Евгений Борисович Букреев (к его воспоминаниям обращались исследователи творчества Булгакова), Давид Лазаревич Сигалов, Иван Николаевич Ищенко, Владимир Николаевич Савич, Александр Лазаревич Пхакадзе, Яков Степанович Бениев, Федор Яковлевич Примак, Михаил Исидорович Коломиец-Коломийченко. Многих из них я знал и слышал. Подробности их пребывания в университете позволяют четче представить и студенческие лета Булгакова.

…Итак, год 1909-й. На факультете 23 кафедры, 27 профессоров, 1309 студентов. На первый курс зачислено 286 человек. Что же изучали они в течение первого семестра? В личной книжке М. Булгакова и книжках других студентов того времени перечислены эти предметы — физика, неорганическая химия, зоология, ботаника, анатомия, гистология с эмбриологией. Второй семестр: изучаются физика, органическая химия, зоология, анатомия, гистология с эмбриологией, минералогия. Третий семестр: физиология, физиологическая химия, эмбриология, анатомия, фармакология и фармация.

Четвертый, пятый, шестой семестры — продолжается все та же углубленная теоретическая подготовка, последовательно укрепляются основы знаний. По завершении весеннего полугодия в 1913 г. М. Булгаков выдерживает полукурсовые испытания. Успешную сдачу этих принципиально важных для будущего экзаменов — первой его ступени в предстоящем врачебном становлении — удостоверяет подпись председателя комиссии Василия Юрьевича Чаговца, одного из видных российских физиологов, в будущем академика АН УССР.

Когда в путешествиях по булгаковскому Киеву проступает тема медицины, экскурсоводы обычно останавливают автобусы у здания бывшего Анатомического театра. Начнем с этого места и мы. Здесь в течение нескольких семестров под руководством профессора Ф. А. Стефаниса М. Булгаков постигал первооснову медицины — анатомию, здесь преодолел тот жесткий барьер секционного зала, который не все могут взять. Подвалы этого здания будут описаны на страницах «Белой гвардии»…

В пору, когда сюда пришли Булгаков и его сверстники, Францу Адольфовичу Стефанису было сорок четыре года и он уже шесть лет руководил кафедрой нормальной анатомии. Первоклассная оптика, фундаментальный музей, рентгеновский кабинет, стереоскопические снимки морфологических препаратов — все это появилось тут при нем. Курс нормальной анатомии, о чем свидетельствуют подписи профессора Стефаниса, студенту Булгакову целиком зачтен. В отчете о работе кафедры в 190910 учебном году (отчеты составлялись, как правило, лично заведующими кафедрами и содержали весьма критичный анализ деятельности) указывается, что изучались артросиндесмология — учение о суставах и связках, миология — раздел о топографии и строении мышц, ангионеврология — учение о сосудистых и нервных образованиях человеческого тела. Нельзя не упомянуть и лимфологию, одним из основоположников которой был Ф. А. Стефанис.

Фундаментальный учебный музей, указывается в отчете, был ежедневно открыт до девяти часов вечера, и прозекторы М. Л. Радецкий и Н. И. Волкобой (автору этих строк в 1948–1949 гг. довелось слушать лекции профессора Н. И. Волкобоя) допоздна вели здесь занятия.

Мы не знаем, был ли Михаил Афанасьевич увлечен этим предметом. Однако доскональное знание анатомии, с неминуемой огромной тренировкой зрительной и осязательной памяти, являлось совершенно обязательным. Наверное, сотни часов, как и другие студенты, провел он в этих высоких залах под стеклянными сводами.

Любопытно, что весной 1917 г., приехав на несколько дней в Киев, Михаил Афанасьевич побывал и в Анатомическом театре, где по традиции собирались молодые медики. Как рассказал автору врач П. Н. Витте, эта встреча отчетливо запомнилась его отцу, тогда студенту медицинского факультета Н. К. Витте, в будущем видному украинскому гигиенисту. Николай Карлович Витте был знаком с Булгаковым с юных лет. По его воспоминаниям, присутствующие страстно спорили о политике, причем тон задавал М. Булгаков.

А первой в его зачетке стоит подпись профессора физики Иосифа Иосифовича Косоногова, впоследствии академика АН УССР. Проецируя прочитанный им курс на булгаковские сюжеты, заметим, что И. И. Косоногов впервые в физике применил ультрамикроскоп, что он активно изучал явления электричества и оптики. На это сочетание стоит обратить внимание при анализе повести «Роковые яйца». Хотя образ профессора Персикова, несомненно, собирательный (его прототипами, видимо, были профессор А. И. Абрикосов, работавший в описанном в повести здании, а также некоторые киевские ученые, о которых мы скажем ниже), в картинах опытов с «лучами жизни» звучат, на наш взгляд, и воспоминания об экспериментах киевского физика. Персиков прямо указывает, что первоначально луч получен от электричества. Усилить же его удалось в физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Со сложной оптикой (в повести упоминаются двояковыпуклые, двояковогнутые и даже выпукло-вогнутые шлифованные стекла) будущий писатель впервые столкнулся именно на кафедре И. И. Косоногова.

Тогда же Булгаков слушал лекции по ботанике и систематике растений, которые читал в университете видный ботаник и цито-эмбриолог профессор Сергей Гаврилович Навашин, в будущем академик АН СССР и АН УССР. В период работы С. Г. Навашина в Киеве обрел новые черты университетский ботанический сад, в особенности его оранжерейный комплекс, где появилось большое количество тропических и субтропических растений. Быть может, описывая в «Жизни господина де Мольера» парк в Отейле, аллеи, по которым идут Мольер и Буало, М. Булгаков вспоминал этот благоуханный сад. Ведь он так любил сады и парки Киева. В записях Михаила Афанасьевича конца 30-х годов есть сделанные им зарисовки листьев киевских каштанов…

В тот же период, в 1910–1911 гг., М. Булгаков слушал лекции видных отечественных физиологов Сергея Ивановича Чирьева и Василия Юрьевича Чаговца. Ученый европейского масштаба, С. И. Чирьев сочетал в исследованиях электрофизиологическое и неврологическое направления. Он издал в тот период

монографию «Статика крови», в которой намечены основы учения о реологии крови, т. е. физической основе ее движения. Можно предположить, что М. Булгаков был знаком с этой книгой. Во всяком случае в будущем, уже в Москве, он интересовался опытами изобретателя аппарата искусственного кровообращения Сергея Сергеевича Брюхоненко, впервые создавшего модель движения крови вне организма.

Профессора С. И. Чирьева на кафедре физиологии сменил В. 10. Чаговец. Широкую известность к этому времени получила предложенная им теория электрических явлений в тканях. Словом, пребывание в стенах университета не могло не будоражить живой ум. В эти годы, например, ученик В. Ю. Чаговца В. В. Правдыч-Неминский впервые в мировой науке записал электроцереброграмму, зафиксировал биотоки мозга. Своеобразный диалог человека с мозгом, описанный в юмористическом рассказе «Воспаление мозгов», с позиций современной нейрофизиологии, когда мы можем увидеть ритм биотоков мысли, не так уж фантастичен. И искра необычного сюжета, быть может, была заронена именно здесь, в университетской лаборатории.

Видными исследователями являлись Сергей Николаевич Реформатский и Андрей Алексеевич Садовень, на кафедрах которых М. Булгаков изучал химию. В его студенческой книжке есть и их подписи. Профессором С. Н. Реформатским, в частности, были предложены новые типы реакций синтеза органических кислот, что привело к получению витамина А и синтетического каучука. Биохимия нервной системы, механизмы пищеварения, ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, — таков круг исследований профессора А. А. Садовеня, одного из пионеров развития физиологической химии, автора фундаментального учебника по этим вопросам. В 1916 г. А. А. Садовень как председатель медицинской испытательной комиссии подпишет диплом М. Булгакова.

М. Булгакова привлекала сфера лаборатории. Вот картинка из прошлого. В личном архиве Елены Андреевны Земской сохранилась фотография М. А. Булгакова в студенческие годы, известная в семье под названием «Доктор». Стол в его кабинете заставлен пробирками и приборами, на полке стоит череп. И словно эпиграф к этому снимку, воспринимаются слова писателя: «Глубокими вечерами или ночью, когда все уже сходились, и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел окрашенный зеленым светом у себя в спальне…» Михаилу Афанасьевичу вообще был весьма интересен мир эксперимента с его своеобразной научной романтикой — не случайно в

завершающей главе романа «Мастер и Маргарита» Воланд говорит Мастеру: «Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой…?»

Знания и навыки, полученные в лаборатории, несомненно, пригодились М. Булгакову во врачебной работе, особенно в смоленский период.

Характерно, что в письме сестре в Москву, отправленном из Вязьмы 3 октября 1918 г., Михаил Афанасьевич просит приобрести и выслать ему «Практическое руководство по клинической химии, микроскопии и бактериологии» Клопштока и Коварского. С этой книгой он, видимо, познакомился еще в студенческие годы, поскольку она входила в серию общедоступных учебных медицинских пособий, выпущенных издательством «Сотрудник» в 1912–1913 гг.

«Никогда так и не побывавший в дальних странах, Булгаков питал слабость к географическим картам, — пишет В. Я. Лакшин об особенностях последней московской квартиры писателя. — И если уж глядеть на стены, то никак нельзя было миновать старинную карту двух полушарий со средневековыми контурами материков и чужеземными надписями». Быть может, одним из первых путешественников, чьи впечатления отозвались в его воображении, был заведующий кафедрой зоологии со сравнительной анатомией профессор А. А. Коротнев, читавший в университете этот курс вплоть до 1910 г. Составленная им кафедральная программа, сохранившаяся в архиве Киева, охватывает множество классов живых существ, начиная от беспозвоночных. Организатор русской биологической станции в Виллафранке на Средиземноморье, ученый, чьи труды были известны Ч. Дарвину, А. А. Коротнев возглавлял научные экспедиции на острова Индийского и Тихого океанов, на Шпицберген и на Байкал. Им впервые описано несколько видов гребневиков, составлены замечательные коллекции морских животных. Естественно, на кафедре подробно изучались и лягушки. В частности, в тот же период здесь была выполнена диссертация на звание магистра об особенностях их кровеносной системы. Возможно, детали именно этих экспериментов воспроизведены в повести «Роковые яйца».

Впрочем, и в других деталях этой повести как бы просматривается образ А. А. Коротнева, упоминаются его обширные знания мировой фауны. Ведь и профессор Персиков — энциклопедически образованный ученый. Он по памяти называет, например, особенности петухов, характерных для Индии и Цейлона, Малайского архипелага и предгорий Гималаев. Пожалуй, единственным биологом в университете, видевшим

неведомые материки своими глазами, которого слушал и знал Булгаков, был профессор Коротнев.

Фамилию и подпись этого выдающегося биолога автор также обнаружил в студенческой книжке Михаила Афанасьевича. Характерно, что именно в период слушания им лекций А. А. Коротнева М. Булгаков вместе с И. П. Воскресенским защищал на семейных диспутах теорию Дарвина. И еще чрезвычайно существенная деталь. Личность Алексея Алексеевича Коротнева особенно значима для нас потому, что киевский ученый, по сути, явился как бы своеобразным живым звеном между М. А. Булгаковым и А. П. Чеховым. Сохранилось семь писем Коротнева к Чехову, они были дружны и неоднократно встречались. Из писем узнаешь о многом — в частности, о коллекциях и поездках Коротнева, о трогательном внимании к здоровью Антона Павловича и хлопотах о нем. Представляют интерес общественная позиция А. А. Коротнева, его политические взгляды. Так, в марте 1901 г., касаясь студенческих волнений в Киевском университете, профессор А. А. Коротнев пишет А. П. Чехову, что «теперь никакие установки не удовлетворяют молодежь, теперь пустяками не отделаешься». И в то же время А. А. Коротнев с горечью признается, как тяжела для него «неизменно пошлая атмосфера провинциального университета».

Через год, в марте 1902 г., А. А. Коротнев пишет А. П. Чехову взволнованные строки: «Пишу Вам под впечатлением только что прочитанной новости — увольнения М. Горького из академиков. Нахлынувшее чувство обиды и негодования еще усиливается предчувствием того, что и эта пощечина народному самосознанию пройдет безнаказанно. Неужели же остальные почетные академики не выйдут в отставку?»

Наделенный, как отмечал А. П. Чехов, беллетристическими способностями и ораторским даром, А. А. Коротнев, несомненно, был той личностью, к которой тянулось студенчество, и, быть может, именно в его воспоминаниях об Антоне Павловиче, которыми профессор, очевидно, делился с учащимися булгаковского поколения, перед Михаилом Афанасьевичем впервые предстал живой Чехов. Именно в эти месяцы в результате усилий киевской общественности в честь 50-летия писателя в Киеве появился Чеховский переулок, состоялись чеховские вечера. Однокашник А. П. Чехова по Московскому университету, врач по образованию, ученый, связанный с либеральными организациями, А. А. Коротнев, как нам думается, не стоял в стороне от этих событий.

Анализируя формирование взглядов Булгакова в юношеские годы, мы не вправе не учитывать влияния на него и таких

личностей с широкими демократическими воззрениями, как Алексей Алексеевич Коротнев. Закрытие университета в октябре 1905 г., после схватки студентов с городовыми и казаками, многотысячный митинг год спустя у этих же стен и вновь закрытие университета в ноябре 1907 г. — все это в гимназический период происходило на его глазах. «Крамола» в университете неукоснительно пресекалась и в годы его университетской учебы. Например, в личном деле Е. Б. Букреева, однокурсника М. А. Булгакова, мы нашли подписку о том, что он ни в каких тайных обществах и в неразрешенных собраниях не участвовал (если отрицал, следовательно, подозревался). А в личном деле В. Л. Покотило, в будущем известного советского хирурга, учившегося несколькими годами раньше, сохранилось изготовленное типографским способом своеобразное покаянное клише: «За участие в студенческой сходке я подвергнут следующему наказанию: выговору с занесением в штрафной журнал, лишению всех льгот в течение университетского курса с предупреждением, что в случае нового моего участия в беспорядках настоящая виновность будет служить обстоятельством, отягощающим мою вину». Кстати, под наблюдением полиции находился и А. А. Коротнев — за поддержку организаций, имевших социал-демократическую ориентацию.

«Михаил очень много думал о смысле жизни, о смерти. Смерть ненавидел, как и войну. Войну ненавидел. Думал о цели жизни. У нас очень много в семье спорили о религии, о науке, о Дарвине, — отмечала Н. А. Булгакова-Земская…. Он увлекался опытами, экспериментировал. При горячем участии братьев… собрал очень хорошую коллекцию бабочек. Причем там были и сатир, и махаоны, и многие другие редкие экземпляры. Потом, уезжая из Киева, я спросила у мамы: «А где же Мишины коробки с энтомологической коллекцией?» Она говорит: «Он отдал ее Киевскому университету, уезжая из Киева». Это уже было в 1919 году» {8}. Добавим, что коллекция, видимо, была передана на кафедру, связанную с деятельностью А. А. Коротнева, который обогатил университет рядом блестящих собраний различных видов беспозвоночных. Именно к этому ряду решил добавить свой дар и М. Булгаков.

Вот еще свидетельства неравнодушного отношения Михаила Афанасьевича к университетской жизни. О них весной 1988 г. нам рассказал известный историк медицины профессор Павел Ефимович Заблудовский. П. Е. Заблудовский окончил медицинский факультет Киевского университета в 1919 г. В 30-х годах П. Е. Заблудовский и М. А. Булгаков сотрудничали в

Институте санитарной культуры, о чем упоминает и М. О. Чудакова.

В театре при институте была поставлена, в частности, пьеса Н. А. Венкстерн «Одиночка» о социально-психологических проблемах женщин в обществе. Режиссерской подготовке пьесы и появлению ее на сцене способствовал М. А. Булгаков, поддерживавший дружеские отношения с Натальей Венкстерн. О работе в театре Санпросвета Михаил Афанасьевич упоминает и в черновике письма Сталину, написанном весной 1931 г.

Приведем некоторые подробности нашей беседы с Павлом Ефимовичем в его квартире в Москве. Однажды, вспоминает старейший врач, они разговорились с Михаилом Афанасьевичем о трудном положении в университете в период переворотов в Киеве в 1918–1919 гг. М. Булгаков с большим сочувствием воспринял рассказ П. Е. Заблудовского о том, как на глазах у студентов буквально у дверей клиники снарядом был убит бывший его учитель, акушер-гинеколог профессор Г. Г. Брюно. Как отмечает П. Е. Заблудовский, М. А. Булгаков почти час расспрашивал его об университете в этот сложный период. Поляризация политических сил ощущалась не только среди преподавателей, по и среди студентов. С приходом деникинцев многие была исключены, повторный прием для продолжения учебы осуществлялся по индивидуальным заявлениям, с предпочтением в отношении правых. Накал страстей был велик, но все-таки к экзаменам студенты были допущены «In corpore» — благодаря дипломатичности и смелости сокурсника Заблудовского, члена старостата факультета Михаила Коломийченко, в будущем видного киевского хирурга. Он сумел уладить конфликты, уговорить реакционную профессуру, примирить национальные противоречия, и многострадальный курс не был разогнан.

Булгаков с большим интересом слушал рассказ о том, как уцелел медицинский факультет, быть может, думая и о судьбе брата.

Конечно, это лишь штрих, но и он кое-что добавляет к данным о связи Булгакова с Киевским университетом.

Если вам, читатель, доведется побывать на кафедре гистологии и эмбриологии Киевского медицинского института, ваше внимание, бесспорно, привлечет удивительная коллекция микроскопов. Многие из них отыскал и приобрел крупный русский гистолог Федор Иванович Ломинский. Курс, читаемый Ф. И. Ломмнеким, М. Булгаков слушал на протяжении пяти семестров в именно тогда начал работать с микроскопом. П. С. Попов, биограф М. А. Булгакова, записал его слова: «Меня очень привлек микроскоп, когда я посмотрел на него, мне он показался

очень интересным». О том, что М. Булгаков много работал с микроскопом, упоминает Н. А. Булгакова-Земская. Интерес этот проистекал, несомненно, из университетских занятий. Укажем в этой связи, что к известным работам Ф. И. Ломинского относится описание митоза, т. е. деления, нервных клеток, которое явилось совершенно новым этапом в науке о биологических закономерностях. К этому открытию Ф. И. Ломинского проявил большой интерес И. И. Мечников. Разве не тянутся эти впечатления стуле ига Булгакова еще одной осязаемой нитью к опытам профессора Персикова по размножению живых клеток?

Не может не заинтересовать нас и такая деталь. Как явствует из архивных документов, Ф. И. Ломпиский был одним из инициаторов создания университетского клинического центра. Он составил специальную докладную записку, где обрисовал будущее клинического городка и меры, необходимые для его благоустройства и развития. В годы учебы М. Булгакова на младших курсах это строительство в глухих живописных местах лишь развернулось. Студенты-медики вместе с Ф. И. Ломинским, видимо, не раз ходили сюда. Рядом к тому же находился знаменитый Бактериологический институт, прекрасная копия Пастеровского института в Париже. Возможно, именно с этих высот перед взором юного Михаила Булгакова по-новому открылась панорама Киева. Ведь и сегодня, пожалуй, это лучшая точка, откуда отчетливо и объемно, словно на чудесной картине, видны его купола, здания и шпили в буйстве зелени. А дальше, там, где царствуют вечные сады, воображение рисует переход пространства в «береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная скованная лента уходит туда, в дымку (мы переводим булгаковское «уходила» в настоящее время. — 10. В.), куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые дороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море» {9}.

…1913 год. В марте Михаил Афанасьевич венчается с Татьяной Николаевной Лаппа. Этот период является очень важным и в его медицинском образовании — в начинающемся осеннем семестре он соприкасается непосредственно с лечебным делом, слушает лекции Ф. Г. Яновского, А. Д. Павловского, В. Д. Добромыслова, В. Н. Константиновича, Г. Ф. Писемского.

Феофил Гаврилович Яновский возглавлял до 1913 г. кафедру врачебной диагностики. Основы распознавания болезней, освоение перкуссии и аускультации, так пригодившихся Булгакову в дни самостоятельной работы в земской глуши, — вот что давала студентам эта кафедра. Скажем и о важном, на наш взгляд, совпадении: молодые Булгаковы, поселившиеся на

Рейтарской улице, и профессор Яновский жили в тот период совсем близко, и, быть может, Михаил Афанасьевич бывал у него дома, в скромном флигеле во дворе на углу Большой Подвальной и Нестеровской, на фасаде которого сейчас висит мемориальная доска в память о Ф. Г. Яновском. Дружеские отношения между учителем и учеником, видимо, сохранялись — не случайно художница О. Д. Яновская, родственница Феофила Гавриловича, изобразила впоследствии на одной из картин булгаковский дом на Андреевском спуске предреволюционной поры.

С октября 1913 г. в связи с инспирированным царским правительством «делом Бейлиса» в Киеве находился В. Г. Короленко, выступавший в защиту обвиняемого. Он остановился в гостинице «Франсуа» на Фундуклеевской улице. В связи с плохим состоянием здоровья Владимира Галактионовича Ф. Г. Яновский неоднократно посещал его, оказывая врачебную помощь. В обстановке черносотенной травли и для этого требовалось мужество.

Упоминания об этом судебном процессе имеются у П. А. Булгаковой-Земской. Думается, Ф. Г. Яновский и М. А. Булгаков, если они встречались вне университетских стен, не могли не говорить в этой связи о благородной позиции Короленко. Не случайно позже Михаил Афанасьевич упомянет о бесстрашном русском писателе-демократе с чувством большого уважения и нежности. Здесь стоит сказать о неизменно интернациональных взглядах, с юных лет присущих Булгакову, — эту его черту особо подчеркнула в беседе с нами Е. А. Земская. И их укреплению, возможно, способствовал Ф. Г. Яновский— врач-гуманист, известный и любимый буквально в каждом уголке многонационального Киева.

В работе над этой книгой автору чрезвычайно помогли встречи с исследователем жизни и творчества М. Булгакова А. П. Кончаковским и его интереснейшие записи бесед с Татьяной Николаевной Лаппа. Анатолий Петрович пришел в дом на Андреевском спуске в начале 70-х годов. «Дом Турбиных» был тогда и известным, и неизвестным. Лишь надпись мелом, вновь и вновь появлявшаяся на двери, напоминала — тут жил Булгаков. При разговоре с хранительницей этого очага Инной Васильевной Кончаковской (Листовничей) — дочерью бывшего владельца дома видного киевского инженера и архитектора Василия Павловича Листовничего (некоторые его черты запечатлены в образе Лисовича в «Белой гвардии») — выяснилось, что Инна Васильевна и Анатолий Петрович не только однофамильцы, но и близкие по духу, по чертам жизненного пути люди. В тот памятный день перед А. П. Кончаковским открылись тайны этих комнат, он

увидел знаменитые изразцы турбинской печи, когда-то пышущие жаром, как бы услышал бой старинных стенных часов, ощутил огонь в бронзовой лампе. Так началось его приобщение к миру Булгакова…

Однажды летом 1975 г., узнав, что Анатолий Петрович собирается на Кавказское побережье, Инна Васильевна написала письмо Татьяне Николаевне Лаппа (впоследствии Кисельгоф), жившей в Туапсе, и попросила доставить его адресату. И вот А. П. Кончаковский отыскал дом № 6 по ул. Ленина, поднялся на третий этаж и постучал в шестую квартиру…

Разговор складывался нелегко. «Я дала слово моему первому мужу при расставании с ним, что о его жизни ничего не буду рассказывать, — сказала в раздумье Татьяна Николаевна. — Но с тех пор ушло так много воды в реках, в том числе и в любимом Михаилом Днепре, что можно, мне кажется, нарушить обет молчания».

Анатолий Петрович еще несколько раз приезжал в Туапсе. Татьяна Николаевна подарила ему несколько булгаковских реликвий, в том числе лампу, при свете которой писалась «Белая гвардия». Постепенно сложились подробные записи, отражающие встречи и беседы с Татьяной Николаевной. Пока они не опубликованы. С любезного согласия А. П. Кончаковского мы используем в нашем труде эти факты.

По словам Татьяны Николаевны, жили они в те далекие годы накануне империалистической войны и легко, и трудно. Легко потому, что все освещали молодость и любовь, тяготение Михаила Афанасьевича к искусству — частое посещение театров, да и вся чарующая атмосфера Киева. Михаил любил произведения Чайковского, Бетховена, Шуберта, с большим удовольствием слушал исполняемые оркестром фрагменты к популярным операм: увертюру к «Руслану и Людмиле», марш из «Аиды», антракты к «Кармен». Особенно любил музыку «Фауста». Часто дома напевал любимые арии. И вместе с тем, хотя родные и помогали им, они испытывали постоянные материальные затруднения. По настоянию Михаила Афанасьевича, они вели дом самостоятельно. М. Булгаков зарабатывал уроками, готовя гимназистов к поступлению в университет по нескольким предметам, в том числе по химии. Некоторым подспорьем служило и освобождение от платы за обучение в отдельных семестрах (штампы, удостоверяющие это, мы обнаружили в студенческой книжке Булгакова). Впрочем, деньги у них никогда не держались. Как только какие-то средства появлялись, они уходили на обед или ужин в ресторане, да еще на поездку туда на лихаче (вспомним, что и А. Турбин едет в 1-ю гимназию в декабре

1918 г. на извозчике). Очень любила юная чета Булгаковых Купеческий сад, ротонду над Днепром, куда шли через Владимирскую горку.

В литературе есть утверждение, что в этот период М. Булгаков почти забросил учебу. Судя по его личной студенческой книжке, формально такие перерывы отсутствуют, хотя некоторые дисциплины он, видимо, сдавал в более поздние сроки. И вместе с тем несомненен возрастающий интерес к медицине. В этот период Булгаков проходит курс десмургии на кафедре хирургии, руководимой профессором Александром Дмитриевичем Павловским, встречается с личностью, влияние которой в дни, когда развернется первая мировая война, скажется на его выборе в те трудные месяцы.

Руководимая А. Д. Павловским кафедра располагалась в военном госпитале. Именно А. Д. Павловский как крупный бактериолог (он основал Общество по борьбе с заразными болезнями и Киевский бактериологический институт) и одновременно видный хирург внес исключительно большой вклад в лечение хирургической инфекции. Знания М. Булгакова он оценит высшим баллом.

Хирург и экспериментатор Василий Дмитриевич Добромыслов с 1910 г. возглавлял в Киевском университете старейшую кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии, основанную В. А. Караваевым. Именно тут М. Булгаков, вероятно, впервые увидел сложнейший хирургический эксперимент — восстановление целостности пищевода. Профессор Добромыслов использовал для этого аппарат искусственного дыхания с электрическим моторчиком. Можно полагать, что определенные детали экспериментальных операций на животных, традиционных для этой кафедры, ожили через годы в «Собачьем сердце». Нелишне отметить, что В. Д. Добромыслов сочетал экспериментальную работу в области оперативной хирургии и топографической анатомии с работой в клинике. В 1916 г. он, как свидетельствуют архивные документы, добровольно выехал в качестве хирурга в один из госпиталей Юго-Западного фронта. Оперативную хирургию и топографическую анатомию М. Булгаков также сдал на отлично.

В лице патологоанатома Владимира Николаевича Константиновича М. Булгаков встретился с классическими направлениями знаменитой научной школы, сформированной «королем патологов» В. К. Высоковичем. Приват-доцент Г. Ф. Писемский (в будущем видный советский акушер-гинеколог, основатель выездных женских консультаций) читал на курсе семиотику акушерства. Развитию клинического мышления

способствовало слушание терапии на кафедре Г. М. Малкова, где изучались, в частности, сахарный диабет и анемии, болезни легких и желудка.

Зимой, на рождественских каникулах, Михаил Афанасьевич побывает вместе с Татьяной Николаевной в Саратове у ее родителей — Николая Николаевича и Евгении Викторовны Лапиа. В личном его деле сохранилось разрешение на эту поездку на специальном бланке с отметкой, что 15 января 1914 г. студент М. Булгаков прибыл из отпуска в университет. Вновь-продолжаются занятия на тех же кафедрах. Летом Михаил Афанасьевич и Татьяпа Николаевна опять в Саратове, на летних вакациях. Здесь их застают раскаты первой мировой. «Безумие началось. Август 1914 г.»—скажет Генрих Манн об этой войне. «Три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания, — о, проклятый бассейн войны» — вот слова Михаила Булгакова о бойне миллионов. Но этот вывод придет к нему позже, после долгого горького опыта, который начался тогда же, в августе 1914-го…

Известно, что в эти дни студент четвертого курса М. Булгаков начал работать в одном из саратовских лазаретов. Как подчеркнула Т. Н. Лаппа, Михаил Афанасьевич приступил к этой миссии по предложению патронировавшей лазарет Евгении Викторовны Лаппа, матери Татьяны Николаевны, и выполнял ее добросовестно и охотно. Он трудился здесь в течение месяца. В книге Л. М. Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова» приводится фотография, запечатлевшая юного медика-добровольца среди раненых. По воспоминаниям Т. Н. Лаппа, Михаил Афанасьевич очень любил эту фотографию в небольшой самодельной рамочке. Она подарила ее А. П. Кончаковскому. Молодое одухотворенное лицо, серьезный умный взгляд, решительность и доброта — таким предстает он из августовского далека. Очень интересны подробности тех педель. Не так давно они стали предметом исследования. В очерке «Саратовские дни Мастера» о них рассказал краевед и историк В. Кац {10}.

Итак, Саратов в первые дни войны. При содействии Красного Креста и благотворительных организаций в городе сразу же образуется несколько госпиталей. Один из них открывается при Казенной палате, управляющим которой являлся Н. Н. Лаппа, на средства ее сотрудников. На первом этаже, окна которого выходят на ул. Вольскую (ныне Братиславская), оборудуются две просторные палаты на десять коек каждая, кухня и перевязочная 24 августа 1914 г. в Саратов прибыл санитарный поезд с ранеными. Они были размещены в четырех лечебных заведениях, в том числе в лазарете при Казенной палате. В течение месяца

после прибытия этого поезда через Саратовский эвакопункт прошло 2975 раненых — это говорит о размере людских потерь, ведь только в тыловых городах открылись многие десятки таких эвакопунктов. Определенная часть раненых поступила и в лазарет при Казенной палате. Хорошее его оснащение, должную подготовку персонала положительно оценил известный хирург профессор Саратовского университета С. И. Спасокукоцкий, руководивший с 1913 г. кафедрой госпитальной хирургии, размещавшейся в губернской земской больнице. Именно здесь он начал применять хирургические методы лечения язвенной болезни желудка, а затем в этой же клинике были выполнены первые операции на легких, головном мозге, успешные вмешательства при ранении сердца. Думается, что студент-старшекурсник М. Булгаков вместе с врачами И. Л. Гуревичем и Е. А. Куприяновой, фельдшерицей С. Н. Неклюдовой, сестрой милосердия Н. Е. Богоявленской, беззаветно трудившимися в лазарете, не раз слышал в это время и имя А. А. Богомольца, читавшего с 1911 г. курс общей патологии, а также лекции по фармакологии и бактериологии в том же университете. Кафедра профессора А. А. Богомольца также не оставалась в стороне от событий, здесь оказывалась лабораторная помощь всем госпиталям города. Кстати, по свидетельству члена-корреспондента АН УССР О. А. Богомольца, сына А. А. Богомольца, сестрой милосердия одного из саратовских лазаретов стала в эти дни и его мать, Ольга Георгиевна Богомолец.

Осенью Михаил Афанасьевич и Татьяна Николаевна возвратились в Киев. М. Булгакову предстоял завершающий, пятый, курс в университете. Насыщенная его программа, включающая терапию, хирургию, акушерство и гинекологию, дерматовенерологию в полном объеме госпитальных клиник, другие дисциплины, несмотря на войну, осталась неизменной. Именно в этот период Булгаков встретился с выдающимися учеными, составлявшими цвет отечественной и европейской науки. В его зачетной книжке мы находим подписи В. П. Образцова и М. Н. Ленинского, М. М. Дитерихса и А. А. Муратова, С. П. Томашевского и И. М. Волковича.

По семейным воспоминаниям Н. А. Булгаковой-Земской, из своих учителей М. Булгаков особо выделял заведующего кафедрой факультетской хирургии Николая Маркиановича Волковича, его имя не раз звучало в семье. В образе профессора-хирурга, приехавшего к раненому Алексею Турбину, бывшему своему ученику, на страницах «Белой гвардии», на наш взгляд, обрисован именно Волкович. В хранящемся в архиве фонде

медицинского факультета, в документах, датированных 1918–1919 гг., мы обнаружили, что и в дни захвата Киева петлюровскими войсками М. Н. Волкович не покинул своего поста на кафедре и в клинике.

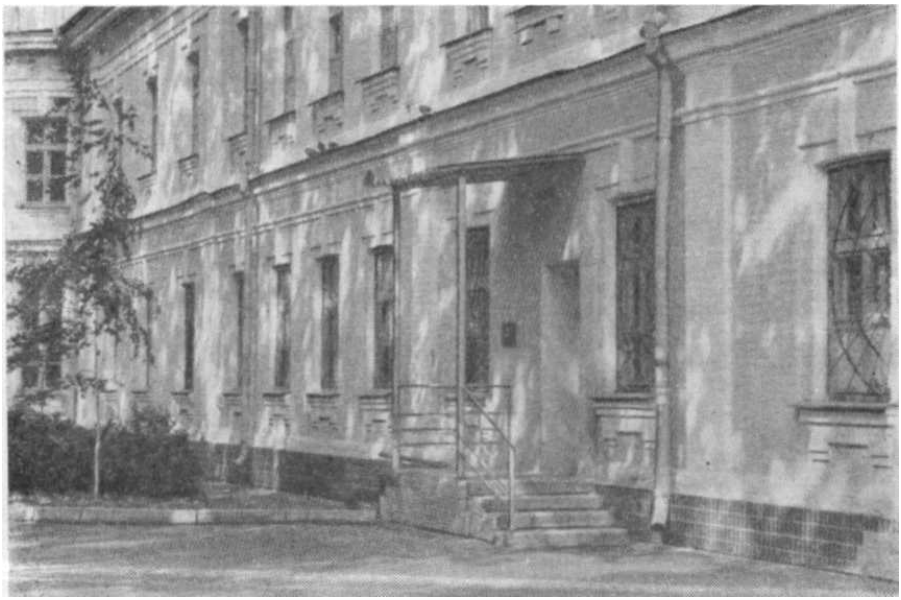
«Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбииской семье нерадостные вести, сразу, как только он появился шестнадцатого декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф…

Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходит вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:

— Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.

Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.

Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.



Киев, бульвар Шевченко, 17, бывшая университетская клиника. Здесь студент М. Булгаков постигал основы акушерства Фото А. Д. Лобунца, 1990 г.

— Безнадежен, — очень тихо сказал на ухо бритому профессор, — вы, доктор Бродович (в списках однокурсников М. Булгакова по университету встречается имя Ивана Александровича Бровковича. — Ю. В.), оставайтесь около него.

— Камфару? — спросил Бродович шепотом.

— Да, да, да.

— По шприцу?

— Нет, — глянул в окно, подумал, — сразу по три грамма. И чаще» {11}. Назначая Турбину камфару в больших дозах для борьбы с коллапсом, профессор предполагает, что эти меры скорее всего тщетны. Но он намерен не оставлять больного и, несмотря на крайне опасную обстановку в городе, вновь приехать к нему.

Н. М. Волкович — яркая фигура в хирургии, крупный общественный деятель, в будущем академик АН УССР. Известны, например, ортопедическая шина Волковича, три симптома Волковича, позволяющие распознать перелом переднего отдела таза, дифференцировать острый и хронический аппендицит, работы в области хирургической оториноларингологии, ряд руководств. Здесь однако, в обстановке осени 1914 г., нас более всего интересует, как учил Волкович своей специальности.

Н. П. Образцов (1849–1920) Из фондов Центрального музея медицины УССР

Существуют неопубликованные воспоминания, касающиеся личности и деятельности видного ученого и хирурга. Доцент Киевского медицинского института Л. Г. Заверный любезно

передал автору этой книги записки заслуженного врача УССР С. А. Тимофеева, работавшего в факультетской хирургической клинике с 1912 г. Приведем некоторые детали. С. А. Тимофеев отмечает, что клиника была организована Волковичем образцово. Работали химическая и гистологическая лаборатории. Каждого больного, у которого были видимые глазом изменения, фотографировал ординатор. Составлению истории болезни придавалось особое значение. Общие требования Волковича к ней можно сформулировать такой его фразой: «История болезни должна быть составлена так, чтобы при чтении ее через много лет возникал полный образ больного». Соответствовали этим требованиям также подробнейший анамнез, подробнейшее описание общего состояния, особенно участка заболевания, необходимые анализы, описание микроскопического вида удаленных частей. Одновременно проводилось обследование больного прочими методами: аускультация, пальпация и др. Существовало две истории болезни. Одна составлялась ординатором, другая — под его руководством — студентом-куратором, причем последняя зачитывалась перед операцией в присутствии профессора.

Л. Л. Муратов 11850—1918) А. Д. Павловский (1857–1944) Из фондов Центрального музея медицины УССР

Волкович целый день находился в клинике, вникая во все мелочи. Кроме того, приходил и по вечерам. Все перевязки производил сам или присутствовал в перевязочной. Конечно, студентам такая работа давала очень много.

В клинике было 769 хирургических инструментов, выписывалось 24 журнала. Прочитать их за зиму Волкович не успевал. И вот после окончания занятий в мае он погружался в чтение и не уезжал на дачу, пока не заканчивал его. Заглавия статей он заносил в свою знаменитую тетрадку, которой пользовались все врачи, заинтересовавшиеся тем или иным вопросом хирургии.

С. А. Тимофеев пишет, что трудные черты характера, казалось бы, должны были создавать Волковичу врагов. Но это было не так. Люди, которых он не любил, говорили об этом с горечью. Положительные же его качества — честность, эрудиция, любовь к науке — перевешивали во мнении людей его дурные свойства: к слабостям Волковича относились с улыбкой, как к слабостям большого человека. «О, милый Волк, — энтузиаст науки» — называли его за глаза.

С больными Волкович никогда грубо не обращался. Правда, в его тоне не было теплоты и ласки, характеризовавших, например, Образцова, но окриков и грубости по отношению к больным я никогда не слышал. «Больной всегда прав», — говорил он. Дети его умиляли…

Возможно, именно из этой клиники М. А. Булгаков вынес навыки четко организованного умственного труда, привычку писать только в тетрадях, пронумеровывая страницы и не оставляя ни одного слова недописанным, выносить дополнения на отдельный лист, проставлять даты в начале и в конце текста, в обязательном порядке указывать источники. А самое главное заключается в том, что он овладел здесь основами клинической хирургии.

В книге А. М. Олынанецкого «Выдающиеся отечественные акушеры» один из разделов посвящен профессору Александру Александровичу Муратову. Это один из учителей Булгакова. А. А. Муратова по широте его гуманных устремлений можно, пожалуй, поставить рядом с В. Ф. Снегиревым. Удивительна близость их интересов: забота о женщинах с самой тяжкой долей — с онкогинекологическими заболеваниями (так, А. А. Муратову удалось открыть в Киеве первую бесплатную онкогинекологическую лечебницу), неустанные хлопоты о подготовке врачебных кадров, внимание к способностям женщин на медицинском поприще. Конечно, клиника А. А. Муратова на

Бибиковском бульваре уступала по своему устройству Гинекологическому институту в Москве, но это было передовое учреждение.

М. И. Лапинский (1859–1926) Из фондов Центрального музея медицины УССР

Подпись профессора Муратова встречается на нескольких страничках булгаковской зачетки. И вот передо мной его пространные рукописные отчеты о работе в течение учебного года на руководимой им кафедре. Таких отчетов несколько, и всякий раз, обращаясь к ректору, профессор с огорчением подчеркивает: наличие на медицинском факультете лишь одной акушерской клиники при обширном студенческом контингенте усложняет учебный процесс. Тем не менее, указывает А. А. Муратов, все студенты присутствуют при производстве акушерских и гинекологических операций, а также принимают участие в ассистенции, обследуют рожениц, ведут амбулаторный прием.

Рядом с профессором А. А. Муратовым и приват-доцентом Г. Г. Брюно среди других студентов в родильном зале и операционной не раз стоял и М. Булгаков. Отметим, что наряду с «Практическим акушерством» А. Дэдерляйна, входившим в уже упоминавшуюся нами серию недорогих медицинских руководств для студентов и молодых врачей, выпущенных издательством «Сотрудник» и рекламировавшихся в справочнике «Весь Киев» в 1913 г. (к книге Додерляйна обращается молодой врач в рассказе «Крещение поворотом»), М. Булгаков возил с собою учебник акушерства, принадлежавший перу видного киевского ученого А. П. Матвеева. Эта объемистая книга с экслибрисом.

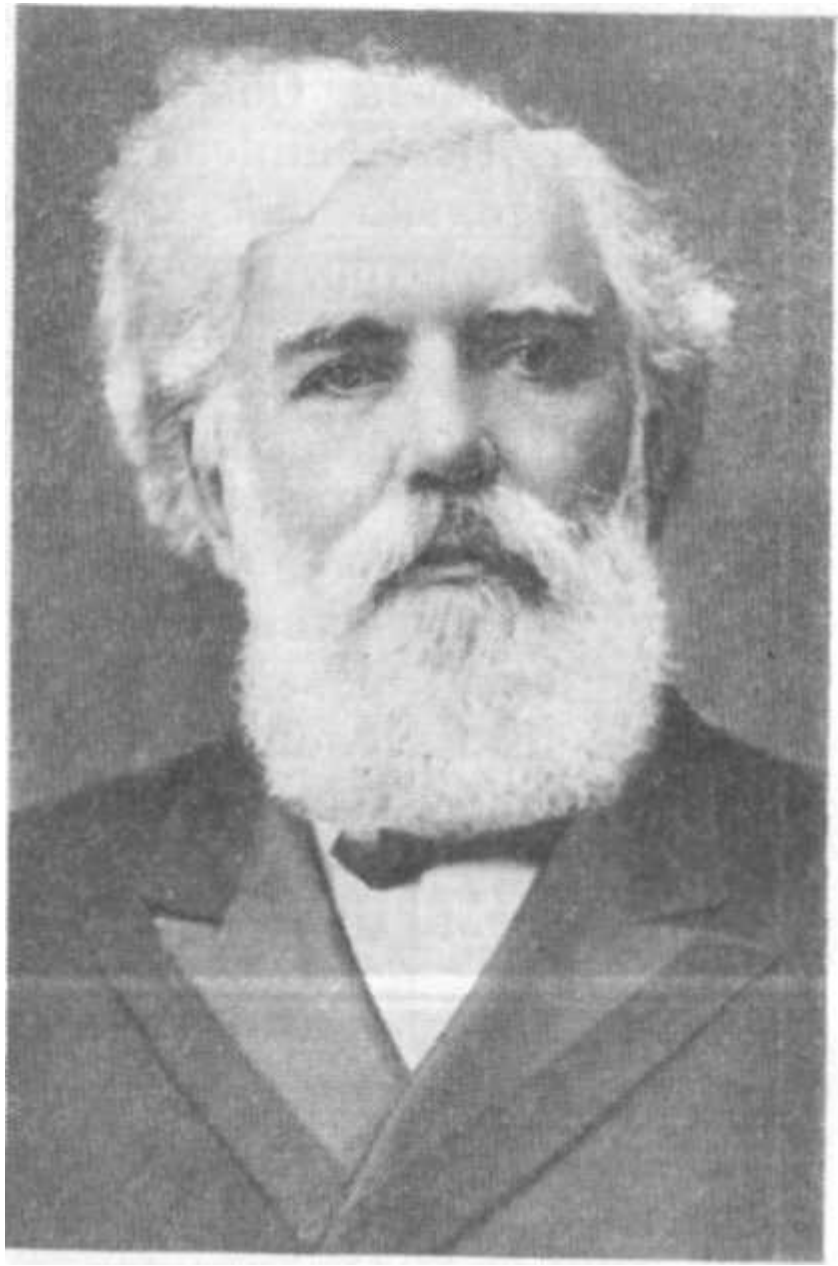
«Доктор М.А. Булгаков» хранится в фонде М. А. Булгакова в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Она проштудирована Михаилом Афанасьевичем подробнейшим образом. Подчеркивания, сделанные его рукой, имеются в разделах о положениях младенца и их распознавании, о периодах родов, о диетическом содержании родильницы и новорожденного. Пометы М. Булгакова встречаются на страницах, где описаны форма и связочный аппарат матки, нервы и мышцы фаллопиевых труб и яичников, сосуды молочных желез, признаки беременности, маточный шум, виды предлежания плода, механизм потуг. На полях одной из страниц он зарисовывает оболочки яйцеклетки. Характерна стилистическая правка, сделанная в одном из мест М. Булгаковым. «Хотя беременность есть состояние физиологическое и мы очень часто умеем его наблюдать, — указывается в учебнике, — однако же распознавание беременности нередко составляет трудную задачу». М. Булгаков вычеркивает слова: «однако же». Действительно, они лишние.

На наш взгляд, этот пример обращения Булгакова к медицинскому руководству наглядно показывает, сколь серьезно он относился к учебе, к приобретению знаний, к медицине

вообще. Собственно, вся эта толстая книга испещрена его пометками.

На территории больницы имени Октябрьской революции в Киеве, где не раз бывал и Михаил Афанасьевич, на одном из старых зданий висит мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь с 1911 г. работал видный невропатолог академик АМН СССР Борис Никитич Маньковский. Во времена учебы Булгакова в университете он был ассистентом клиники, а кафедрой руководил профессор Михаил Никитич Лапинский, также достойный особого упоминания в летописи больницы и города.

М. Булгаков слушал у него курс нервных и душевных болезней. Широко образованный специалист, изучавший клиническую неврологию и патоморфологию нервной системы в лучших клиниках Парижа и Берлина, М. Н. Лапинский вписал важные страницы в современную неврологию, включая описание динамики восстановления рефлексов после травмы, установление спинальной локализации ряда функций, разработку проблемы боли, выделение ряда синдромов, уяснение особенностей трофики нервной системы. Характерно, что в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина имеется более двадцати работ М. Н. Лапинского, в том числе публикации на французском языке. Дважды в неделю М. Н. Лапинский читал лекции: одна из них посвящалась систематическому изложению курса нервных болезней, другая — с элементами госпитальной неврологии, демонстрацией и разбором поликлинических больных.



С. П. Томашевский (1854–1916) Из фондов Центрального музея медицины УССР

В учебных программах, составленных М. Н. Лапинским, большое место занимает физиотерапия, в частности, вопросы

лечения посредством гальванизации, фарадизации и франклинизации, токами высокого напряжения и большой частоты, предусмотрено изучение и специальных методов электротерапии. Эту новую отрасль М. Н. Лапинский начал развивать в Киеве с 1903 г. Мы полагаем, что М. А. Булгаков еще в студенческие годы имел возможность оценить благоприятное воздействие лечения этими методами на больных неврологической клиники. В дальнейшем это сыграло определенную роль в решении обратиться к физиотерапии как средству лечения при возникшем у него невротическом состоянии. Как следует из писем Михаила Афанасьевича, такой курс лечения, проведенный ему в Ленинграде, оказался эффективным. Понятно, речь тут идет о назначениях невропатолога, но ведь и Булгаков был врачом и, следовательно, также участвовал в выработке подобных рекомендаций.

Наряду с курсом неврологии, в одном из корпусов Киевского военного госпиталя (сейчас здесь детская больница) М. Н. Лапинский читал курс по душевным болезням и проводил практические занятия. Вот строки из составленной им учебной программы: лечение бессонницы, галлюцинаций, состояния тоски и страха, беспокойства. Как видим, профессор М. Н. Лапинский и здесь не обходит вниманием проявления неврозов и психотических состояний, привлекая внимание и пробуждая интерес студентов к этой проблеме. Тут уместно вспомнить слова о М. А. Булгакове, сказанные В. А. Кавериным: хороший писатель очень часто и хороший человек. Обычно таковы и хорошие врачи. Во всяком случае, М. Н. Лапинский предстает. в воспоминаниях современников не только как крупный теоретик неврологии, но и как клиницист-новатор, ученый гуманного склада. Как рассказал нам сын Бориса Никитича Маньковского заслуженный деятель науки УССР Никита Борисович Маньковский, много слышавший от отца о М. Н. Лапинском и знавший его лично, детищем Михаила Никитича была клиника для лечения неврозов. Она находилась на улице Бульварно-Кудрявской, на территории нынешнего Института ортопедии. Здесь использовалось лечение сном и гипнозом, имелась новейшая аппаратура для гидропатии. М. Н. Лапинский был человеком либеральных умонастроений, по-товарищески относился к студентам, всегда был готов поделиться знаниями, часто читал просветительные лекции. Думается, что в годы учебы М. Булгаков бывал и в этой лечебнице, а некоторые детали увиденного отразились в описании психиатрической клиники в «Мастере и Маргарите». Наконец, можно полагать, что поразительно точное описание парадоксальной гемикрании — заболевания, которым страдал Понтий Пилат (на наш взгляд, эти

булгаковские страницы весьма интересны для врача-клинициста), — это прямое отражение курса лекций, которые читал на медицинском факультете М. Н. Лапинский, а быть может, и принадлежавших его перу руководств. Следует учесть, что Михаил Афанасьевич особенно внимательно изучал эти разделы неврологии еще и потому, что и сам страдал гемикранией…

В студенческой книжке М. Булгакова среди подписей знаменитых профессоров особо выделяется крупный почерк Василия Парменовича Образцова — выдающегося отечественного терапевта, чьи открытия имеют мировое значение.

Клиника В. П. Образцова, находившаяся на втором этаже примыкающего к университету медицинского корпуса по Бибиковскому бульвару, 17, была открыта для студентов с восьми часов утра до шести часов вечера. Многих учащихся, а также врачей собирали обзорные лекции, которые Василий Парменович читал в воскресные дни. Кроме того, три-четыре раза в неделю он читал двухчасовые лекции по обязательному учебному курсу.

В отчете В. П. Образцова, хранящемся в архиве, мы нашли упоминание о том, что помимо обязательной программы приват-доцент кафедры Н. Д. Стражеско читает для студентов, интересующихся болезнями сердца, факультативный курс кардиологии. Документы о деятельности этой и других терапевтических кафедр вообще поражают широтой тематики, причем близкой к современным проблемам клиники внутренних болезней. Это, к примеру, роль островков Лангерганса (панкреатических островков) в возникновении сахарного диабета, лечение тиреотоксикоза, диагностическое значение реакции Кальметта и Герена (т. е. туберкулиновой пробы), скорость распространения пульсовой волны, электризация желудка, туберкулезный перитонит и бугорчатка легких, т. е. настоящая академия врачебной мысли.

«Привычка у Образцова, — вспоминает академик Н. Д. Стражеско, — была такая. Являясь в Александровскую больницу, он у интерна прежде всего спрашивал: сколько новых больных, чем они больны, и сейчас же шел к ним для осмотра, исследования и назначения лечения. Он подошел к этому больному, поступившему с жестокими болями в области грудины и находившемуся почти без сознания, почти без пульса (речь идет о первом прижизненном распознании инфаркта миокарда. — Ю. В.), сел на табурет возле него, стал его наблюдать, потом исследовать, слушать. Потом он спросил интерна: «Как вы думаете, что у больного?» Последний, что называется, ляпнул: «Ревматизм грудины». Образцов зажмурил левый глаз (это была

его привычка) и продолжал сидеть около больного, ничего не говоря. Скепсис на его лице был нарисован ясно.

Как бы про себя я заметил: «А не есть ли это закупорка венечных артерий сердца?» Образцов обернулся удивленно, посмотрел и сказал: «Он, вероятно, прав»» {12}.

Не так ли впоследствии, вслушиваясь в биение сердца больного, шел от койки к койке в далекой земской больнице юный доктор Булгаков? Да, он любил медицину. Показательны слова Михаила Афанасьевича в письме из Вязьмы от 31 декабря 1917 г.: «Единственным моим утешением является для меня работа (разрядка наша. — Ю. В.) и чтение по вечерам» {13}. Думается, диагностическую пытливость, страстное желание помочь любому больному он приобрел, учась и у врача божьею милостью Образцова.

В числе произведений М. Булгакова, публиковавшихся в 20-х годах в журнале «Медицинский работник», мы встречаем и рассказ «Звездная сыпь». Эти строки, по сути, не имеют аналогов в мировой литературе. С величайшим целомудрием и гуманностью Булгаков обрисовал в «Звездной сыпи» больных сифилисом и подробности их врачебного обследования, одновременно дав глубокий научный анализ распространения этого страшного заболевания и наметив меры борьбы с ним. Эта медицинская программа и сегодня может служить образцом врачебного бесстрашия и научной последовательности. В рассказе упоминаются университет и профессор с седой бородой. Перед нами Сергей Петрович Томашевский, выдающийся русский сифилидолог, общественный деятель, поборник женского высшего медицинского образования. В его отчете, например, говорится, что в клинике лечились больные со всеми формами сифилиса, причем примерно шестую часть составлял третичный люэс, а у трех четвертей пациентов обнаруживались кондиломы. В течение 1911 г. в клинике обследовались и лечились 334 больных.

А. А. Садовень (1857–1919) Из фондов Центрального музея медицины УССР

Клиника С. П. Томашевского обладала богатейшей библиотекой, тут применялись самые новые методы лечения. Достаточный опыт диагностики, радикализм в применении

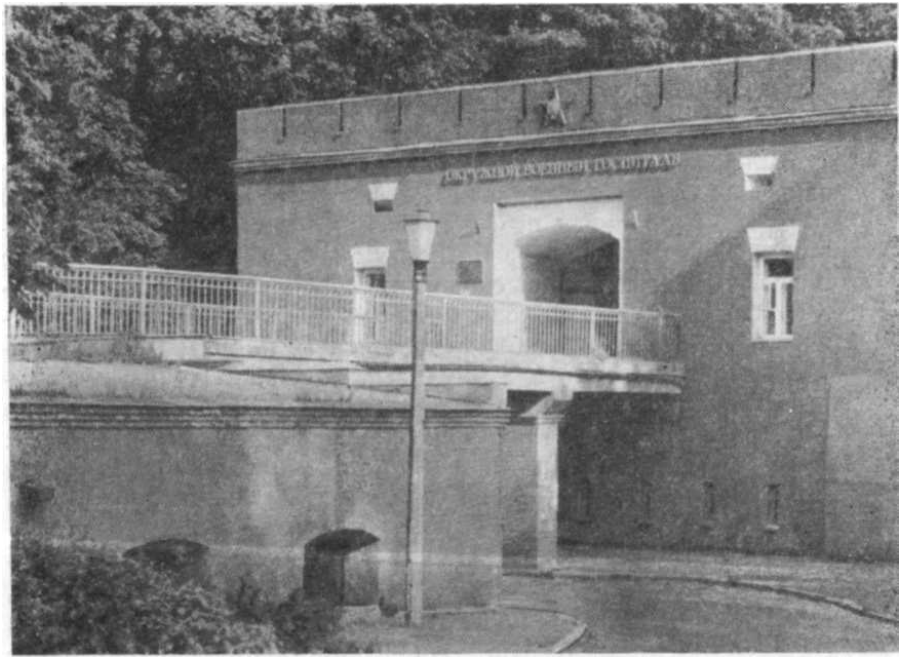
сальварсана, эпидемиологический подход к сифилису — все это М. Булгаков приобрел, несомненно, в этих стенах. Пройдет не так много времени, и молодой врач, заброшенный в провинциальную глушь, один на один столкнется с трагической эндемией края: «Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причины Находит и пишет в книге:,Lues III»…» {14}. Именно этот трудный и опасный раздел медицины станет в 1918–1919 гг. основной специальностью доктора М. А. Булгакова.

Но пока еще три года отделяют его от этой зимы. Пока приходится осваивать предмет за предметом — гигиену, офтальмологию, судебную медицину. Хотя, на первый взгляд, Киев живет все еще беззаботной жизнью, все так же полны кабаре и рестораны, все так же приезжают гастролеры в оперный театр, пульс города учащен. Обстановка па фронтах в эти месяцы складывается не в пользу русских войск, и отзвуки военных неудач, предвестники «великого отхода» из Галиции, докатываются и до этих улиц. В городе много беженцев, ощущается нехватка топлива и продуктов, учащаются грабежи. Ежедневно прибывают поезда с ранеными, спустя некоторое время будут эвакуированы гимназии, университет, другие учебные заведения. Многие товарищи М. Булгакова на фронте, они досрочно выпущены зауряд-врачами. Всего через год наденет шинель и он, но пока мобилизация его не касается…

И вот 13 мая 1915 г. М. Булгаков подает ректору университета прошение, которое стоит процитировать полностью:

> «Будучи признан при призыве зауряд-врачом, негодным для несения походной службы, настоящим имею просить Ваше превосходительство выдать мне удостоверение в том, что я состою студентом V курса, для представления в одно из врачебных учреждений».

18 мая он получает это удостоверение и вскоре здесь же, в неспокойном родном городе, приступает к работе в учреждении Красного Креста, оказывает помощь раненым.



Киев, дорога в госпиталь Фото А. Д. Лобунца, 1990 г.

Это было решение, продиктованное чувством долга, а не обстоятельствами. Освобождение М. А. Булгакова от походной службы открывало перед ним возможность беспрепятственно получить врачебную работу во многих местах России вдали от района военных действий. В своде архивов медицинского факультета того периода сохранилось множество приглашений выпускникам факультета на врачебные должности, например, из Пермского и Аткарского земств, Сызрани, Алатыря, Самары, Архангельска. Бесспорно, нашлась бы вакансия и в Саратове — призы в врачей в армию резко увеличил повсюду нехватку специалистов. И все же М. Булгаков предпочел прифронтовую полосу. Время поставило вопрос: как быть? И Булгаков ответил так, как велела совесть.

В Киеве в эти месяцы открылось свыше ста лазаретов и госпиталей. Они размещались при монастырях и богадельнях, в центре и на окраинах. В госпиталь превратилась 1-я гимназия, которую окончил М. Булгаков, — в Государственном архиве кинофотодокументов УССР сохранился фотоснимок здания с полотнищем Красного Креста у входа. В корпусах политехнического института развернул койки и операционные

госпиталь Североамериканского Красного Креста. Поток раненых приняла больница Мариинской общины сестер милосердия на Мариинско-Благовещеуской улице — ее, как и отделение больницы на Подоле, возглавил Михаил Михайлович Дитерихс. Красно-крестовский лазарет открылся и в университетской хирургической клинике, носящей ныне имя академика Алексея Петровича Крымова. Как и П. М. Волкович, А. П. Крымов стал консультантом Красного Креста на Юго-Западном фронте. Оба профессора поочередно выезжали в этапные и подвижные госпитали, проводя месяц в клинике, а месяц па линии военных действий.

Тут нет нужды идеализировать деятельность Российского общества Красного Креста того времени. Ключевые позиции в нем занимали люди, весьма далекие от медицины, зачастую мало заинтересованные в создании обстановки, благоприятствующей передовым общественным начинаниям. Военно-санитарное ведомство, Красный Крест, Земский Союз, Союз городов, множество частных организаций действовали на фронте несогласованно, без единого соподчинения. И все же именно Российское общество Красного Креста, представители которого в ранге главноуполномоченных выехали на все фронты, развернуло в тот критический период наиболее значительную по численности госпитальную сеть. Здесь было сосредоточено 52 процента коек для раненых, трудились 2,3 тысячи врачей, 15 тысяч медицинских сестер, 35 тысяч санитаров. Имелось 62 передовых отряда, 185 питательно-перевязочных отрядов, 1329 эвакуационных лазаретов. В госпиталях Красного Креста трудились квалифицированные врачи, в том числе и призванные в армию, среди них такие хирурги, как Н. Н. Бурденко, В. А. Оппель, А. И. Мещанинов, Н. II. Напалков, С. С. Юдин. В документах, хранящихся в Центральном государственном военно-историческом архиве, в списках лиц, отмеченных нагрудным знаком Красного Креста, мы обнаружили имя И. А. Абрикосова, ряда других известных врачей. Как указывает В. А. Оппель, учитывая мощность госпиталей и квалификацию медицинского персонала, туда доставляли наиболее тяжелораненых.

«Доктор». Любимое фото в семье Булгаковых Из архива Е. А. Земской 1913 г.

Но в каком из госпиталей работал М. А. Булгаков? В «Белой гвардии» военный врач Алексей Турбин — фигура, биографически близкая автору романа, служит в тяжелом трехсводном госпитале. Он существует в реальности — это старинный лечебный городок на Печерске, где и сегодня располагается военный госпиталь. Сохранились крепостные ворота в госпиталь и мост к ним, переброшенный через защитный ров, заросший сегодня травой. По этому мосту в студенческую пору сюда не раз спешил и М.А. Булгаков, ведь тут располагался ряд университетских клиник.

Характерная черта архитектуры этого обширного медицинского комплекса — вместительный трехсводный центральный блок в виде огромной буквы «П». Его коридоры протянулись почти на километр, имеются удобные условия для приема, сортировки и размещения пострадавших. Именно на этой базе с учетом возрастающего наплыва раненых был также создан госпиталь Красного Креста. Перелистывая подшивки газеты «Киевская мысль» за 1915–1916 гг., автор обнаружил, что здесь, в частности, были сформированы краснокрестовские передвижные хирургические отряды. Один из них возглавил хирург Д. П. Сабанеев, преподававший впоследствии в Киевском медицинском

институте, другой — специализировавшийся в области челюстно-лицевой хирургии хирург-стоматолог К. П. Тарасов, отец актрисы А. К. Тарасовой, игравшей затем в «Днях Турбиных», который станет организатором стоматологического факультета в Киеве. Начальником госпиталя Красного Креста был назначен профессор Александр Дмитриевич Павловский. Именно в этот период им была написана одна из актуальных статей по военно-полевой хирургии, посвященная диагностике и лечению газовой флегмоны и газовой гангрены. Упоминание об этой работе в записи на личном бланке А. Д. Павловского с краснокрестовской эмблемой мы обнаружили в архиве Музея медицины Украинской ССР.

Показательно, что в это же время А. Д. Павловский хлопочет об открытии в составе медицинского факультета клиники инфекционных болезней, подчеркивая, что бактериология открыла этиологическую эру в медицине, породив асептику, серотерапию и химиотерапию. Его идея получила в Киеве воплощение лишь в последующие годы, но, собственно, такой клиникой, где достижения бактериологии служили хирургии, стал возглавляемый им госпиталь.

По свидетельству Надежды Афанасьевны Булгаковой-Земской (упоминания сестры М. А. Булгакова об этом отчетливо запомнились ее дочери, Елене Андреевне Земской), Михаил Афанасьевич, еще будучи зауряд-врачом, в мае 1915 г. пошел работать именно сюда, в наиболее квалифицированное медицинское формирование Красного Креста. Так было найдено недостающее звено, соединились слова «тяжелый трехсводный госпиталь» и реальность.

В период первой мировой войны через этот госпиталь прошло более тридцати тысяч раненых. Работа шла днем и ночью. Все чаще раненых, помимо госпиталей, приходилось размещать в Луцких казармах на Лукьяновке, куда срочно приглашали врачей, сестер милосердия, а также жительниц города, способных помочь в уходе за беспомощными людьми. Был объявлен набор в прививочные отряды для обслуживания армии, по инициативе Ф. Г. Яновского начали работать противоэпидемические курсы. С циклом лекций «Личность женщины» выступает М. Н. Лапинский — сборы идут на удовлетворение нужд приютов для сирот. О создании мастерских, где бы работали слепые — инвалиды войны, хлопочет С. П. Томашевский.

> «1915 год. Немцы уже в Ковеле, — пишет в «Повести быстротекущих лет» очевидец событий поэт Николай Ушаков. — Седобородые мужики роют окопы к западу от Киева — за Святошином и Ирпенем…. В Киеве

> необычайные по продолжительности и суровости морозы. Очереди под открытым небом, и газеты советуют продавать предметы первой необходимости в кинематографах, народных домах и чайных. Никогда еще не были так жалки киевские контракты. Нет дров. Нет муки. Введены хлебные карточки» {15}.

В нелегких условиях тех месяцев, в часах напряжения у операционного стола мужает дух и крепнут знания отстаивающих жизнь, несущих милосердие. Среди этих подвижников в белых халатах, среди безвестных участников спасения тысяч людей и доброволец Красного Креста зауряд-врач Михаил Булгаков.

Уже не вернутся времена любительских спектаклей в летнем театре в Буче под Киевом, где юный студент Булгаков удивлял всех своей игрой, уже, наверное, никогда не доведется молодому поколению семьи Булгаковых всем вместе беззаботно веселиться («Помнишь, как мы хохотали в № 13», — писал М. Булгаков в начале 20-х годов в одном из писем сестре). Жизнь вот-вот обернется перед ним совсем иной стороной.

Глава II
ЛЕКАРЬ С ОТЛИЧИЕМ

«Постигая всю важность обязанностей».

В дни Брусиловского прорыва. Сычевка, Никольское, Вязьма… Зима 20-го года.

1916 год. Он входит в историю самодержавной России полосой военных тревог. На тысячекилометровом фронте, от верховьев Днестра до Рижского залива, идут кровопролитные сражения. Проиграны кампании в Галиции и Польше, оставлены Брест-Литовск, Ровно, Луцк, Гродно. В месяцы отступления 1915 г. русская армия потеряла около 2 млн человек.

«Мои доблестные воины! Сердцем и мыслью я с вами в боях и

окопах…» — обращается к многострадальным полкам и дивизиям Николай II. Снова жалкие слова о грядущих испытаниях и трудностях в наступающем году, снова упования на то, что Господь ниспошлет победу. Сообщения в газетах об атаках немецких кораблей и подводных лодок, налетах цеппелинов и гидросамолетов перемежаются с репортажами о посещениях августейшими особами и дамами-патронессами госпиталей и лазаретов с раздачей наград и подарков солдатам, анонсированием третьего выпуска иллюстрированного издания о пребывании Государя Императора в действующей армии, информацией западных агентств о том, что у Вильгельма II рак либо сифилис горла, а также объявлениями о представлениях и феериях — «Разгул Стеньки Разина», «Закон зверя», «Невеста смерти», «Уличная фея».

Противник обстреливает перевязочные пункты, топит госпитальные суда (так, 17 марта 1916 г. вблизи турецких берегов погибло судно «Портюгаль», из 26 медицинских сестер удалось спасти 11), применяет новые виды снарядов, начиненных фосфором и другими химическими веществами. Характерны фотографии на первой полосе новогоднего номера газеты «Листок войны» и на обложке «Календаря Красного Креста за 1916 год». Они, по сути, идентичны: посреди бескрайних полей, в снегу, над раненым склонилась сестра милосердия с медицинской сумкой на боку.

Нарастающее напряжение передает и тон киевских газет той зимы и весны. «Асептические пакеты для раненых», «Противооспенные прививки», «Помогите слепым труженикам, покупайте их изделия», «Вздувание цен на уголь», «Б ожидании холеры», «Медички и война», «Врачи и сестры 14 передвижного эпидемического отделения сообщают, что все здоровы», «Сифилис: как от него уберечься», «Учреждается резерв врачей с хирургической подготовкой» — вот заголовки некоторых публикаций.

Наверное, сразу же после рождественских дней, когда семья Булгаковых, вместе с мамой и Иваном Павловичем, по сути, последний раз все вместе, собралась у елочных огней в родном гнезде, на Андреевском спуске, Михаил Афанасьевич начинает готовиться к экзаменам на звание лекаря. Третьего января 1916 г. он получает зачетное свидетельство об окончании курса медицинского факультета. В нем перечисляются оценки, полученные им на полукурсовых испытаниях и в течение последующих шести семестров: «по физике — пять, по неорганической химии — три, по минералогии — три, по зоологии с сравнительной анатомией — три, по ботанике — три,

по анатомии — три, по гистологии с эмбриологией — три, по медицинской химии — три, по органической химии — три, по фармации с фармакогнозией — три, по богословию — пять, по общей патологии — пять, по фармакологии с рецептурой — три, по хирургической патологии и терапии — пять, по частной патологии и терапии — пять, по врачебной диагностике — пять, по патологической анатомии — четыре, по десмургии — пять, по оперативной хирургии с топографической анатомией — пять; по клиникам: нервных болезней — четыре, детских болезней — три, хирургической факультетской — три, терапевтической факультетской — четыре, акушерско-гинекологической — четыре, психиатрической — три, офтальмологической — три, дерматологической — три, терапевтической госпитальной — пять, хирургической госпитальной — три, по гигиене — четыре, по судебной медицине — три и по патологоанатомическим вскрытиям — три».

Эти итоговые данные приводятся впервые. Как мы видим, разброс баллов достаточно велик: высокие оценки по клиническим дисциплинам соседствуют с множеством троек. В извечном студенческом «поплавке» нашли, на наш взгляд, отражение и мета-пил Михаила Афанасьевича в 1912 г., когда он почти забросил учебу. Казалось бы, матрикул говорит о некоем несоответствии между блестящей медико-биологической образованностью автора «Роковых яиц» и «Собачьего сердца» (не случайно изобретатель аппарата искусственного кровообращения С. С. Врюхоненко предлагал Михаилу Афанасьевичу написать вместе научно-фантастическую пьесу) и его весьма скромными успехами в начальных семестрах. Однако это кажущийся диссонанс. Документ из юношеской поры писателя лишь подтверждает слова В. Я. Лакшина, что Булгаков «слишком мало напоминал затворника, монаха' отгородившегося стеной от всех соблазнов и скорбой мира». Он много работал, причем совершенно самостоятельно, о чем свидетельствует, например, наличие домашней лаборатории, и хорошо ориентировался во всем новом и главном в естественных науках. Однако зубрежку, стереотип отличника отвергал. Настойчивое медицинское самообразование начнется на завершающих курсах и получит дальнейший импульс лишь потом, в прифронтовых госпиталях, а затем в больницах в Никольском и Вязьме.

Черты Булгакова-студента отражены и в воспоминаниях одного из его однокурсников, в будущем акушера-гинеколога Константина Яковлевича Степанковского (1892–1953). Как рассказала нам дочь Константина Яковлевича профессор Галина Константиновна Степанковская, имя Булгакова звучало в их

семье. Булгаков, по словам К. Я. Степанковского, держался на курсе дружески и в то же время несколько замкнуто, как бы находясь в мире своих мыслей, собственной философии. Уже тогда на факультете знали о литературных способностях и увлечениях Булгакова. «Он все время что-то писал», — отмечал Константин Яковлевич. Еще в юности Галина Константиновна услышала от отца о существовании повести «Собачье сердце» и ее содержании. Но исключено, что во время пребывания М. А. Булгакова в середине 30-х годов в Киеве Михаил Афанасьевич и доктор К. Я. Степанковский виделись и беседовали.

…Киев времен первой мировой войны был переполнен эвакуированными, а между тем и из самого города многие жители уже вывозили детей. Как отмечается в «Жизнеописании Михаила Булгакова» М. О. Чудаковой, Варвара Михайловна Покровская отправила к сестре в Карачев троих младших детей. Старшие оставались в городе.

Первого февраля 1916 г. М. Булгаков обращается в испытательную комиссию с прошением допустить его к экзаменам на звание лекаря в предстоящей первой (с 10 февраля по 31 марта) сессии этой комиссии 1916 г. Прошение начинается словами: «Прослушавшего полный курс медицинских наук в Университете св. Владимира Михаила Афанасьевича Булгакова…» Проситель указывает, что при сем он прилагает квитанцию казначейства о взносе двадцати рублей и две фотографические карточки. Зачетное свидетельство находится в канцелярии университета.

Вызывает большой интерес фото Михаила Афанасьевича, относящееся к этому времени. Оно было обнаружено нами в протоколах испытательной комиссии и впервые опубликовано в мае 1988 г. в еженедельнике «Литературная Россия» к 97-летию со дня рождения писателя. Михаил Афанасьевич в скромном сером костюме, в светлой рубашке с вольно повязанным галстуком. Прическа с аккуратным пробором, воротничок закреплен булавками, умный пристальный взгляд обращен прямо на вас. Особенно хорош и выразителен рисунок губ: в нем угадывается и твердый, смелый характер, и лиризм. «Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием» {16}. В этом описании внешности доктора Яншина в рассказе «Я убил» есть, на наш взгляд, и черты портрета Михаила Афанасьевича, сходные с его фотографией 1916 г. И еще, пожалуй, строки, носящие автобиографический оттенок, из

рассказа «Пропавший глаз»: «Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья» {17}. Наконец, вот описание внешности Михаила Афанасьевича, его манеры держаться в книге мемуаров «Необыкновенные собеседники» Эм. Миндлина: «В Булгакове все — даже недоступные нам гипсово-твердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам….. решительно все выделяло его из нашей среды» {18}.

Собственно, это портрет интеллигентного человека, хотя в середине 20-х годов, когда начинал складываться полувоенный, «казарменный» стиль одежды, некоторые детали в поведении и облике Булгакова, его изысканная вежливость казались старомодными и даже нарочитыми. Например, в публикациях мемуаров о нем высказывается мнение, что Михаил Афанасьевич, пользуясь моноклем, был склонен к эпатажу, бросая и этим своеобразный вызов рапповцам. В «Воспоминаниях о Михаиле Булгакове» приводится его известный фотоснимок с моноклем.

Такимъ образомъ Булгаковъ

выполнивъ всѣ условія, требуемыя правилами о зачетѣ полукурсовъ ему зачтено

21 Октября 1915г. за № 45672 для полученія выпускного свидѣтельства объ

Въ удостовѣреніе чего, на основаніи ст. 77 Общаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россійскихъ Университетовъ 23-го Августа 1884 года, выдано Булгакову Михаилу сіе свидѣтельство отъ медицинскаго факультета ИМПЕРАТОРСКАГО Университета Св. Владиміра за надлежащею подписью и съ приложеніемъ Университетской печати 3 Января 1916 г. за № 10

Свидѣтельство это видомъ на жительство служить не можетъ

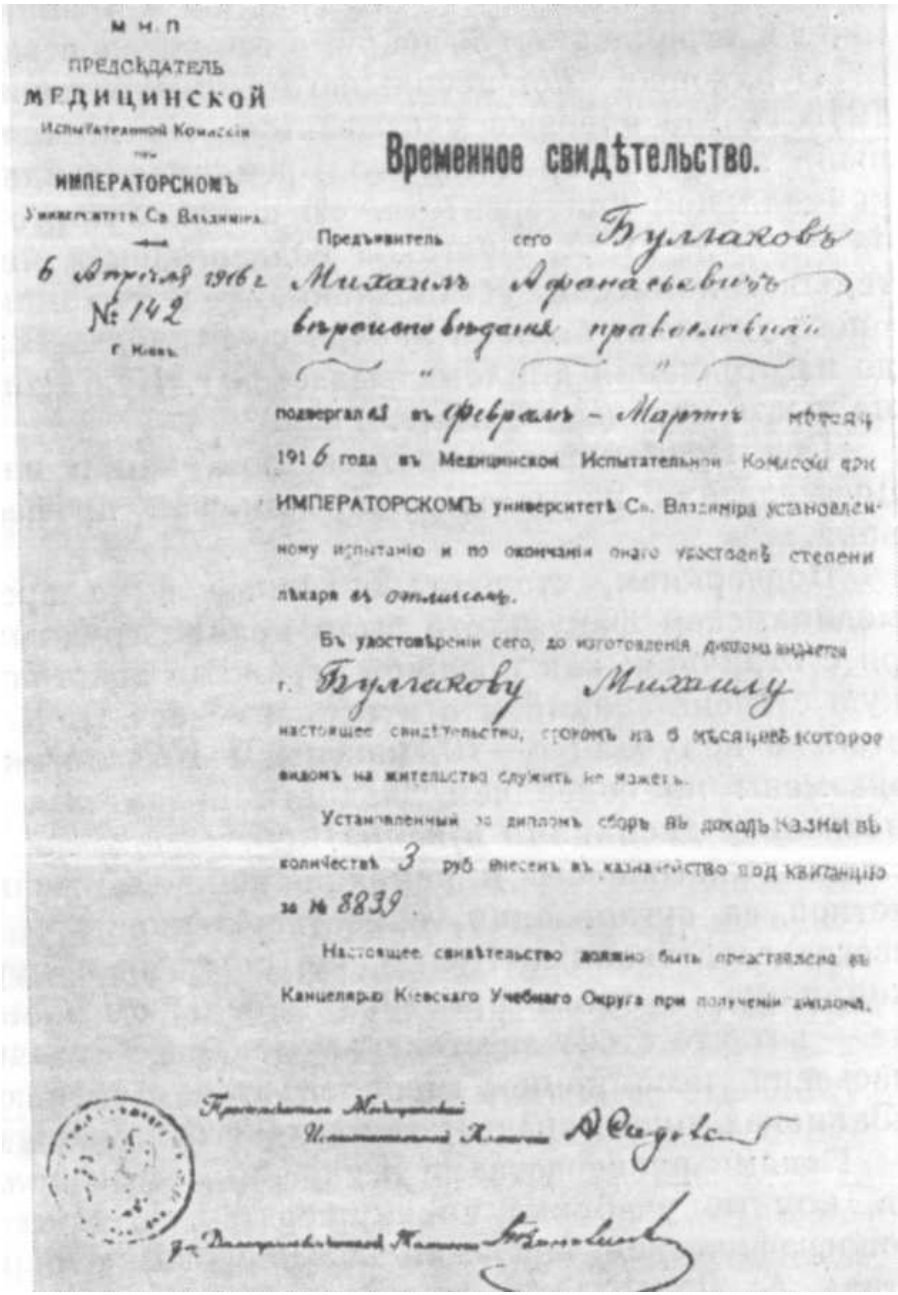
Деканъ Медицинскаго Факультета

Секретарь Медицинскаго Факультета

За Письмоводителя Медицинскаго Факультета

Первый документ, удостоверяющий, что М. А. Булгакову присвоено звание лекаря с отличием 1916 г.

Из фондов Государственного архива г. Киева



М. П.

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОЙ
Испытательной Комиссіи
при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Университетѣ Св. Владиміра.

6 Апрѣля 1916 г.
№ 142
г. Кіевъ.

Временное свидѣтельство.

Предъявитель сего Буллаковъ Михаилъ Афанасьевичъ вѣроисповѣданія православнаго

подвергался въ Февралѣ – Мартѣ мѣсяцѣ 1916 года въ Медицинскомъ Испытательномъ Комиссіи при ИМПЕРАТОРСКОМЪ университетѣ Св. Владиміра установленному испытанію и по окончаніи онаго удостоенъ степени лѣкаря съ отличіемъ.

Въ удостовѣреніи сего, до изготовленія диплома выдается г. Буллакову Михаилу настоящее свидѣтельство, срокомъ на 6 мѣсяцевъ которое видомъ на жительство служить не можетъ.

Установленный за дипломъ сборъ въ доходъ Казны въ количествѣ 3 руб. внесенъ въ казначейство подъ квитанцію за № 8839.

Настоящее свидѣтельство должно быть представлено въ Канцелярію Кіевскаго Учебнаго Округа при полученіи диплома.

Президентъ Медицинской Испытательной Комиссіи Д. Федоровъ

Секретарь Медицинской Комиссіи

«Для получения врачебного свидетельства…», 1916 г.

Из фондов Государственного архива г. Киева

Между тем в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина в личном деле М. А. Булгакова сохранился рецепт на монокль, выписанный ему врачом-окулистом.

В верхнем правом углу киевской фотографии — характерная крупная булгаковская подпись. Кстати, перелистывая протоколы медицинской испытательной комиссии Киевского университета за 1916 г., невольно обращаешь внимание, что большинство экзаменовавшихся представили фотографии, где будущие врачи сняты в военной форме, но без отличий на погонах (врачи не были офицерами, вопрос о присвоении им этих званий дебатировался после февраля 1917 г.), а среди бумаг встречаются ходатайства и характеристики из полков, полевых подвижных госпиталей, от дивизионных врачей. Такова, например, характеристика Александра Лазаревича Пхакадзе, в будущем видного советского хирурга. В штатском, пожалуй, лишь Булгаков и несколько студентов. Особенности его экзаменационного дела, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют, что свою миссию в госпитале Красного Креста он нес добровольно, возможно, даже не получал за свой труд должного жалованья.

…Я долго вглядываюсь в одно и то же лицо на двух фотографиях — 1909 и 1916 годов. Облик Булгакова дышит глубокой одухотворенностью и в его восемнадцать, на грани отрочества и юности, и в двадцать пять. И все-таки эволюция чрезвычайно велика, она намного резче формальных возрастных рамок. За эти шесть с половиной лет жизнь наложила значительный отпечаток, она сформировала личность, наметила неизгладимые уже черты будущего Булгакова — с его грустью и иронией, с его всепониманием и стремлением к добру, с его усталостью и силой воли.

И наконец, лист небольшого формата, датированный 6 апреля 1916 г., где впервые указывается, что Михаил Афанасьевич отныне является врачом. Это Временное свидетельство, выданное канцелярией университета. «В феврале-марте 1916 г., — говорится в нем, — М. А. Булгаков подвергался в медицинской испытательной комиссии установленному испытанию и по окончании оного удостоен степени лекаря с отличием. В удостоверение сего, до изготовления диплома выдается г. Булгакову Михаилу сроком на шесть месяцев…».

Под Временным свидетельством, как и на дипломе, подпись председателя испытательной комиссии профессора А. А. Садовеня.

Подчеркнем, что установленные в то время испытания на медицинском факультете были крайне трудными, и звание лекаря с отличием, как правило, отражало действительно очень высокую

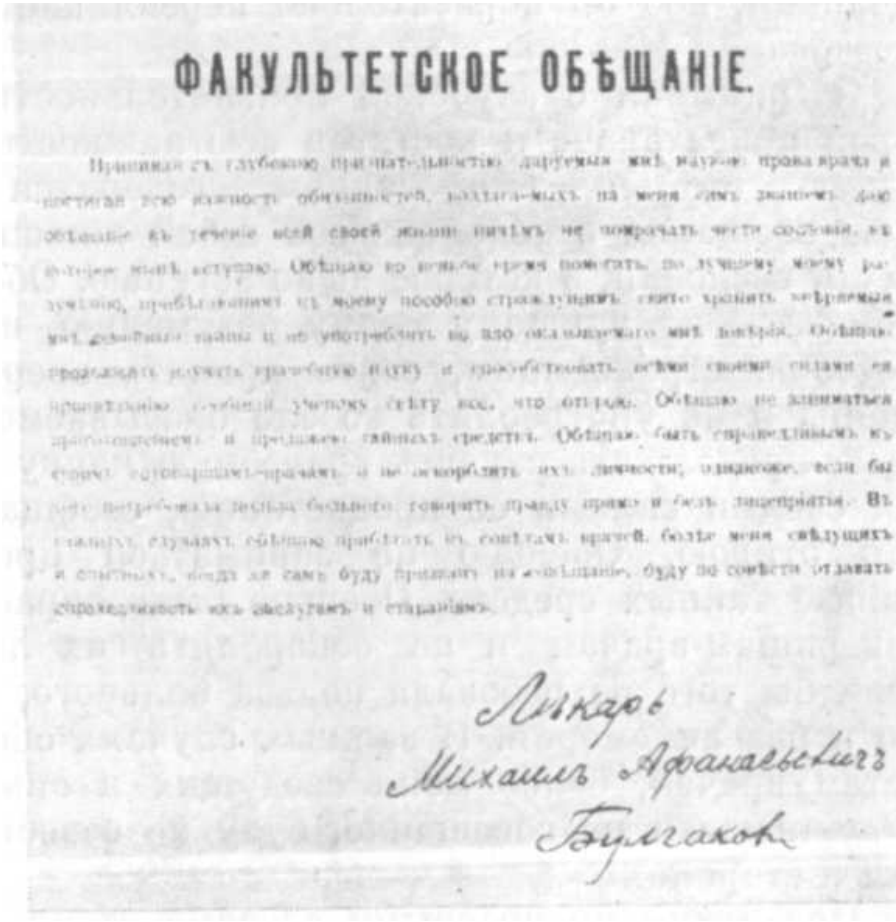
степень знаний. На курсе, замечает Н. Д. Стражеско, такую степень получали 8—10, максимум 15 человек. Надо было сдать экзамены по более чем двадцати предметам, причем иногда по нескольку дисциплин в день. В обстановке войны эти сроки были сжаты. Способность к напряженнейшей мыслительной работе и четкой ее организации, самоотверженность в достижении цели, всегда свойственные Булгакову, опыт пяти курсов плюс навыки книжника, а затем практика в большом клиническом госпитале — вот что стоит за степенью лекаря с отличием. Михаил Афанасьевич, несомненно, гордился этой степенью, хотя заметил в «Записках юного врача»: «…отличие отличием, а грыжа грыжей».

Какими руководствами и учебниками он пользовался? Думается, помимо учебника по акушерству А. Матвеева, учебника по топографической анатомии А. Боброва, «Оперативного акушерства» А. Дэдерлейна (в «Записках юного врача» упоминается раздел «Опасности поворота» в пособии Додерляйна) это «Клиническая диагностика» Г. Клемперера, «Гематология и болезни крови» А. Домаруса, «Болезни гортани, носа и уха» Ф. Кайзера, «Кожные и венерические болезни» Е. Кромайера, «Детская практика» Б. Сальге, «Глазные болезни» В. Дагилайского, «Хирургическая патология» и «Учение о вывихах, переломах и подвывихах» Е. Максимова, «Простые приспособления для производства бактериологических исследований» Р. Абеля и М. Фишера, «Психиатрия» профессора В. Ф. Чижа, другие книги. Именно эти издания для студентов и молодых врачей, входившие в «Портативную медицинскую библиотеку», рекламировались издательством «Сотрудник» в справочнике «Весь Киев» за 1913 г., причем подчеркивалась их умеренная цена. Как уже упоминалось, в период врачебной работы в земстве доктор Булгаков просил выслать ему руководство по медицинской бактериологии, выпущенное именно этим издательством. Среди специальных книг, которые он привез в Никольское, преобладали именно такие информативные и небольшие по объему пособия — фармацевтические, хирургические, терапевтические и другие справочники.

Обращаясь к брату Николаю, также, как мы знаем, ставшему врачом, Михаил Афанасьевич, собственно, определил свое понимание профессионализма: «Будь блестящ в своих исследованиях, смел, бодр и всегда надейся» {19}. По свидетельству Т. Н. Лап-па, на последних курсах и особенно в предэкзаменационный период он почти ежедневно допоздна засиживался над медицинскими томами в городской публичной библиотеке, открытой в 1911 г. на Александровской улице. Как

правило, они приходили в читальный зал вместе, и, чтобы Татьяна Николаевна не скучала, он отбирал для нее по своему вкусу целый ворох беллетристики. Подчеркнем, что, как вспоминала Татьяна Николаевна, они часто приходили в библиотеку и раньше. Михаил Афанасьевич обычно заказывал солидные медицинские руководства и трактаты и долгие часы работал над ними.

Тогда же, в апреле 1916 г., студенты-медики, окончившие университет и вступающие в новое звание, подписали по установленным правилам Факультетское обещание. Основной экземпляр обещания оставлен на хранение в экзаменационных документах доктора Булгакова в своде протоколов испытательной комиссии. Разумеется, это канонический текст, и все же стоит привести его целиком, ибо он поразительно перекликается с судьбой и мировоззрением Мастера.



ФАКУЛЬТЕТСКОЕ ОБѢЩАНІЕ.

Лѣкарь
Михаилъ Афанасьевичъ
Булгаковъ

Факультетское обещание Михаила Булгакова 1916 г.

Из фондов Государственного архива г. Киева

«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой нрава врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, — говорится в этом документе, — даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности, однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицемерия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных. Когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать их заслугам и стараниям».

Под этими прекрасными словами стоит подпись: Лекарь Михаил Булгаков.

В Государственном городском архиве Киева хранится и отпечатанный типографским способом его диплом: «Медицинская испытательная комиссия при императорском университете св. Владимира сим свидетельствует, что Булгаков Михаил Афанасьевич, сын чиновника, вероисповедания православного, родившийся 3 мая 1891 года, прослушал полный курс медицинского факультета и, весьма удовлетворительно выдержав установленные испытания 6 апреля 1916 года, на основании ст. 481 Устава Учебных заведений, т. XI, ч. 1, Свода законов, изд. 1893 года, и ст. 595 Устава Врачебного, т. XIII, изд. 1905 года, утвержден в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской империи сей степени присвоенными.

В удостоверение сего выдан лекарю Булгакову Михаилу настоящий диплом с приложением печати, г. Киев октября 31 дня 1916 года».

На дипломе два номера — 39 665 и 5540. Последние цифры, возможно, отражают количество врачей, выпущенных Киевским

университетом к весне 1916 г. Следует полагать, что это дубликат, а оригинал был получен доктором Булгаковым, специально приезжавшим для этого в Киев в марте следующего года. Среди бумаг в его личном университетском деле есть небольшой листок со словами:

> «Сим заявляю, что постоянное место жительства имею в Смоленской губернии, в Сычевском уезде в Никольской земской больнице.
>
> *Доктор Булгаков. 7-го марта 1917 года».*

Известно, что Михаил Афанасьевич заботился в дальнейшем о сохранности этого важнейшего врачебного документа. В одном из писем к сестре он спрашивает: «Цел ли мой диплом?»

«О призыве родившихся в 1896 году», «Призыв ратников ополчения 2-го разряда», «Новый призыв ратников», «Призываются гражданские медицинские врачи и фармацевты», «К призыву врачей»… Это заголовки объявлений в газетах за первые месяцы 1916 г. Ратником 2-го разряда, хотя место его службы в качестве врача в Киевском военном госпитале Красного Креста остается прежним, через некоторое время, очевидно, становится и М. А. Булгаков. Мы предполагаем, что призыв его в армию мог состояться после 10 апреля, когда было издано распоряжение о новой мобилизации врачей и фармацевтов. Выданная шинель еще долго будет ему служить, в ней он уедет в Никольское на Смоленщину, а браунинг, возможно, пригодится в схватке с волками. Есть, однако, и другие мнения о времени призыва.

ДИПЛОМЪ.

Медицинская испытательная комиссія при ИМПЕРАТОРСКОМЪ университетѣ Св. Владиміра симъ свидѣтельствуетъ, что **Булгаковъ Михаилъ Афанасьевичъ**, сын чиновника, вѣроисповѣданія православнаго, родившійся 3 мая 1891 года, прослушавъ полный курсъ медицинскаго факультета и весь съ удовлетворительнымъ выдержавъ установленныя испытанія 6 апрѣля 1916 года, на основаніи ст. 481 Уст. Учеб. Зав., т. XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 года, и ст. 593 Уст. Врачебн., т. XIII изд. 1903 года, утвержденныхъ 14 степени **лѣкаря съ отличіемъ** со всѣми правами и преимуществами, законами Россійской Имперіи сей степени присвоенными.

Въ удостовѣреніе сего выдалъ лѣкарю **Булгакову Михаилу** настоящій дипломъ, съ приложеніемъ печати. Г. Кіевъ, октября 31 дня 1916 года.

№ 39665
5540

Попечитель Кіевскаго Учебнаго Округа,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ Яворовъ

Предсѣдатель медицинской испытательной комиссіи Сорокинъ

Правитель канцеляріи

Врачебный диплом М, Л. Булгакова.

Из фондов Государственного архива г. Киева

Исключительно важно подчеркнуть, что, по свидетельству Т.

Н. Лаппа, уже став врачом, Михаил Булгаков пошел работать военный госпиталь добровольно. Какая знаменательная подробность! Молодым лекарем с отличием руководило прежде всего чувство профессионального долга, которое он сохранит навсегда.

На Юго-Западном фронте в эти недели назревали события, едва не изменившие вскоре ход войны. Генерал А. А. Брусилов, назначенный 22 марта 1916 г. командующим войсками фронта, в глубокой тайне от противника готовил крупное наступление русских войск. Одним из исходных пунктов предстоящей стратегической военной операции становится Каменец-Подольский, где размещался штаб командующего. Спустя два месяца, 22 мая, после тщательной авиационной разведки путем фотографирования полос вражеских укреплений и невиданной по тем временам многочасовой артиллерийской подготовки на широком фронте начался стремительный «брусиловский прорыв».

«Ураганный огонь», «Войска генерала Брусилова продолжают преследовать противника», «Громадные трофеи», «Подробности Луцкого прорыва»… Сообщения того времени передают масштабы этой операции. Особенно успешно действовали 8-я и 9-я армии. 9-я армия под командованием генерала П. Л. Лечицкого (в ее состав входили преимущественно кавалерийские части) за 13 дней преодолела мощные инженерные оборонительные позиции противника от Каменец-Подольского до Буковины, овладев 5 июня Черновицами.

Характерно, что в книге «Мои воспоминания» А. А. Брусилов уделяет много внимания войсковой медицине. Анализируя военные операции 1914 г., он указывает, что врачебная помощь и своевременная перевозка раненых оказались невозможными вследствие недостатка врачей. Приходилось привлекать к работе всех состоявших при А. А. Брусилове лиц, дабы как-нибудь укрыть раненых, наладить приготовление пищи и чая, подготовить санитарные поезда. Описывая картину после одной из бомбардировок, А. Брусилов подчеркивает: «Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло….. Считаю своим долгом перед лицом истории засвидетельствовать, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работали, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы их над окровавленными страдальцами — нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито…» {20}.

Знаменательны и слова генерала Брусилова о большой помощи фронту со стороны Всероссийского земского союза,

благодаря чему удавалось быстро справляться с инфекцией.

Известно, что наступление на Юго-Западном фронте не было поддержано царским командованием, против войск Брусилова была сосредоточена 2,5-миллионная армия. Приходилось преодолевать многочисленные линии колючей проволоки, которую не брали никакие ножницы. Брусилов с горечью называет наступление «кровавым боевым шествием».

Понятно, какая ответственная роль отводилась медицинским формированиям. Многие русские госпитали в период прорыва были сосредоточены в Каменец-Подольском, а затем в Черновицах. Именно здесь, в составе хирургических отделений, пришлось работать и М. А. Булгакову.

С чем столкнулся он как военный врач? Высокая смертность среди раненых, незначительный процент возвращения солдат в строй, отсутствие преемственности и необходимых подразделений на путях эвакуации — все это являлось печальной нормой. «Именные поезда» под шефством императорского двора, появлявшиеся время от времени на прифронтовых станциях, не меняли положения. Во всяком случае, эвакуировать инфекционных больных, солдат с газовой гангреной их начальство, как правило, избегало. Недостаток квалифицированных хирургов в госпиталях и на эвакопунктах препятствовал удовлетворительной сортировке раненых, военно-санитарное управление и благотворительные ведомства продолжали действовать разобщенно. Даже принц Ольденбургский — верховный начальник санитарной и эвакуационной части — был вынужден признать в сентябре 1916 г., что «вся система от высших санитарных организаций показала полностью свою несостоятельность».

Крупная военная операция, готовившаяся на Юго-Западном фронте (в армии входило 511 тысяч солдат), требовала и продуманной медико-санитарной тактики. О характере боев говорят такие цифры: в первые дни прорыва австро-венгерские войска потеряли около полутора миллиона человек убитыми и 400 тысяч пленными. Естественно, потери наступающей стороны, учитывая эшелонированную оборону и преимущество противника в ряде видов оружия, также предполагались немалыми. Госпитальная база фронта была заблаговременно укреплена, а часть лазаретов подтянута к передовой линии. Хирург и писатель П. Е. Бейлин, один из учеников профессора А. И. Крымова, с 1914 г. являвшегося главным хирургом-консультантом Красного Креста Юго-Западного фронта, вспоминал в беседе с нами, что профессор, сам участник пяти войн, неоднократно рассказывал о своих встречах с А. А. Брусиловым и о возникшей у них мысли

изменить медицинское обеспечение наступления.

Продуманные заблаговременные меры диктовались личным опытом Алексея Петровича Крымова. В июне 1915 г. во Львове, к стенам которого рвались немецкие армии, он сутками работал в госпиталях, произвел сотни операций. Но что мог сделать даже хирург-виртуоз, если система эвакуации раненых как таковая отсутствовала…

Горькие уроки — хотя бы в локальной диспозиции одного из фронтов — на этот раз были в определенной мере учтены. Одним из медицинских подразделений, поставленных на колеса, и оказались хирургические отделения трехсводного госпиталя в Киеве. Накануне прорыва они были переведены в Каменец-Подольский и вошли в состав размещенного здесь крупного госпиталя Красного Креста.

Камни Каменца… О том, что Михаил Афанасьевич Булгаков в юности служил в этом городе, говорится в исследованиях Л. М. Яновской и М. О. Чудаковой. Но где находился госпиталь, куда было переброшено подкрепление? Мосты над глубоким каньоном, двенадцать башен крепости, костелы и минареты, крутые гористые улочки, соседствующие с довольно широкими зелеными проспектами. И вот череда зданий на возвышенности. Сводчатые коридоры, атмосфера прошлого века. Это корпуса городской больницы им. В. И. Ленина — бывшей губернской земской больницы. Построенная более ста лет назад, она и сегодня впечатляет рациональностью архитектуры, удачными функциональными решениями. Отделения протянулись почти на квартал. Чуть поодаль, на взгорье, двухэтажные дома больничного общежития, входящие в единый ансамбль.

В 1915 г. здесь был развернут эвакуационный госпиталь Красного Креста, о его посещении упоминает в своих трудах профессор В. А. Оппель, инспектировавший медицинские учреждения Юго-Западного фронта. Сохранилась групповая фотография 1915 г., на которой запечатлены раненые, врачи, сестры милосердия в одном из огромных больничных залов. Именно в состав этого госпиталя весной 1916 г. влилось врачебное пополнение из Киева.

Разумеется, молодые врачи были недостаточно подготовлены в санитарно-тактическом отношении, большинство из них не могли похвастаться и безукоризненной оперативной техникой, столь необходимой в военно-полевой хирургии. По сути, это была учеба на ходу, когда осваивались методики ампутации, секвестротомии, трепанации черепа, перевязки сосудов, способы борьбы со столбняком и газовой гангреной. Если добавить, что в течение года в тыл эвакуировано около полутора миллиона

раненых русских солдат и что значительная медицинская помощь, включая госпитальное лечение, оказывалась и военнопленным, а в распоряжении армий находилось лишь около 22 тысяч врачей, из них только 200 хирургов с довоенным стажем, то нетрудно представить, какая нагрузка приходилась на каждого.

Нужно отметить, что, к чести ведущих киевских хирургов, они активно включились в этот безостановочный поток. Как мы указывали, на Юго-Западный фронт поочередно выезжали профессора Николай Маркианович Волкович и Алексей Петрович Крымов.

Среди заявлений с просьбой командировать на фронт мы нашли рапорт Василия Дмитриевича Добромыслова. Сюда же в разгар наступления выезжали видные киевские хирурги Александр Дмитриевич Павловский, Михаил Михайлович Дитерихс, Алексей Григорьевич Радзиевский. По воспоминаниям А. П. Крымова, без устали в операционных госпиталя в Каменец-Подольском работал местный хирург Бладзевич, который оперировал сидя, так как был инвалидом без ноги. Он терял так много сил в эти дни и ночи, что его вносили в операционную. Но мастерство его в производстве самых различных операций было большим. Возможно, он один из неизвестных наставников Булгакова.

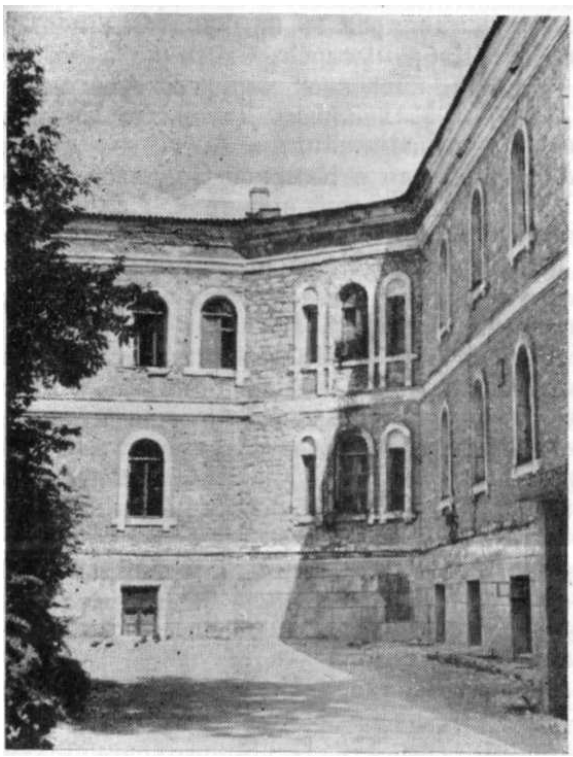
Как вспоминает А. П. Крымов, Н. М. Волкович и он являлись консультантами-хирургами госпиталей Юго-Западного фронта от Красного Креста. Впервые на фронт они выехали вместе и вскоре приняли участие в приеме большого количества раненых. Кроме операций и консультаций в госпиталях Н. М. Волкович нередко организовывал на фронте сборы врачей и обучал их военно-полевой хирургии. Эти заседания часто использовались для консультаций, поскольку врачи приводили и привозили сюда раненых {21}. Можно полагать, что среди этих врачей был и молодой хирург Булгаков, вновь в необычной обстановке встретившийся с учителем. В эти дин он мог слышать и об опыте Комитета по газовой гангрене, организованного Н. М. Волковичем в Киеве.

Вновь обращаюсь к записям бесед с Т. Н. Лаппа, хранящихся у А. П. Кончаковского. «Я приехала в Каменец-Подольский в начале мая, — вспоминала Татьяна Николаевна. — Жили мы в казенных врачебных квартирах при большой губернской земской больнице, где размещался госпиталь. У пас была небольшая комната. Миша много оперировал и очень уставал, иногда стоял у операционного стола сутками напролет, но все же мы несколько раз совершали прогулки по городу, останавливались у его достопримечательностей, любовались пейзажами в вечерней

дымке, открывавшимися за башнями крепости, возле старинных брам, лестниц и домов. Мне думается, — высказала она мысль, — что неповторимая эта панорама каким-то образом отразилась и в описании Ершалаима в «Мастере и Маргарите»».

Почти ежедневно Татьяна Николаевна помогала врачам во время операций, стерилизовала материал и инструменты. Михаил Афанасьевич, как вспоминала она, очень серьезно и ревностно, с большим чувством ответственности относился к работе и часто по ночам уходил в госпиталь, в палаты — он всегда беспокоился о состоянии оперированных. И задерживался там зачастую ДО утра.

Но однажды утром всем членам семей врачебного персонала предложили покинуть город, и вскоре поезд отошел на Киев…



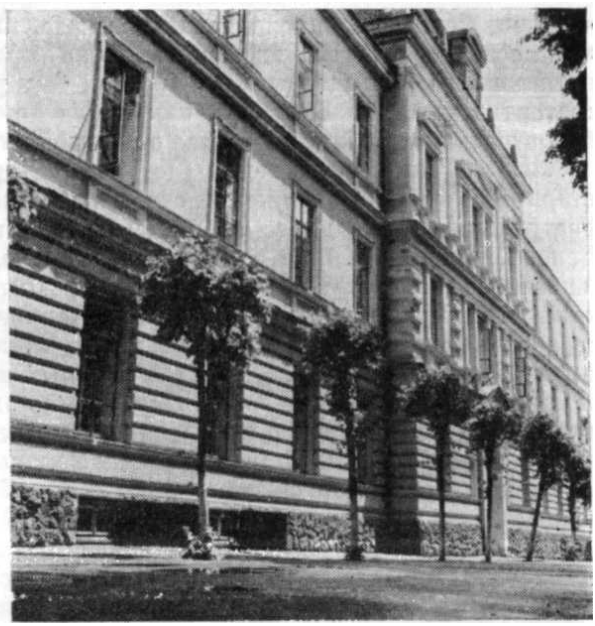
Госпиталь в Каменец-Подольском Здесь в 1916 г. М. Булгаков служил в качестве добровольца Красного Креста Фото Е. В. Мазурика, 1989 г.

Спустя несколько дней Татьяна Николаевна узнала: на Юго-Западном фронте началось наступление. Она понимала, что Михаил, возможно, в самом пекле, что, наверное, валится с ног от неимоверной нагрузки, от дней и ночей без сна, ведь она уже видела, что такое прифронтовой госпиталь даже в период затишья. А известий все не было и не было.

И вдруг, когда волнения становились уже невыносимыми, она получила от Михаила Афанасьевича телеграмму из Черновиц, заверенную каким-то госпитальным начальством, что вызывается туда в качестве нештатной сестры милосердия Красного Креста.

Она была зачислена в состав санитарного отряда. Работала и медсестрой, и санитаркой.

«Помню, что тут же, в летнем платьице, не собрав никаких вещей, я бросилась на вокзал, — рассказывала Татьяна Николаевна. — Благодаря телеграмме мне удалось взять билет на поезд. Михаил встречал меня с госпитальным автомобилем на небольшой станции, она называлась Орошаны. Ехала кружным путем, так как железнодорожный мост через реку Прут был разрушен.



Здание бывшего военного госпиталя в Черновцах Все лето 1916 г. врач М. Булгаков долгими часами стоял здесь у операционного стола Фото Д. В. Малакова, 1989 г.

В Черновицах мы провели все это лето. Жили при госпитале. Хирургические операции шли непрерывно, ведь в июле наступление приостановилось, тяжелые бои продолжались не очень далеко от города, в Карпатах. Михаил Афанасьевич, как правило, стоял на ампутациях, а мне нередко приходилось держать ногу. Помню, как из-за жары и напряжения мне несколько раз становилось дурно в операционной. Но я превозмогала себя. Ведь помощь моя была нужна.

Работать приходилось много, — вспоминала Татьяна Николаевна. — Михаил часто дежурил ночью, под утро приходил физически и морально разбитым, буквально падал в постель, спал пару часов, а днем — опять госпиталь, операции, и так каждый день.

Но свою работу Михаил любил, относился к ней со всей ответственностью и, несмотря на усталость, стоял в операционной, сколько считал нужным. Там я па многое

насмотрелась и на всю жизнь запомнила, что такое война».

А затем пришел приказ о переводе молодых врачей в тыл. Так пролег путь в Никольское…

Оформление Булгакова на военную службу с зачислением его в резерв чинов Московского окружного военно-санитарного управления, указывает М. О. Чудакова, состоялось 16 июля (это вновь подтверждает, что в 1915 г. и первой половине 1916-го он служил в госпиталях как доброволец Красного Креста). Факт мобилизации Михаил Афанасьевич почти документально отразил в рассказе «Морфий». Отличие реальных обстоятельств от этого эпизода в жизни Сергея Полякова, героя рассказа, писавшего в дневнике, что весь его выпуск, не подлежавший призыву на войну как ратники 2-го разряда выпуска 1916 г., был размещен в земствах, состоит в том, что Булгаков, как и ряд других молодых врачей, был отозван на работу в земство с военной службы.

…Итак, Черновцы сегодня (до 1944 г. Черновицы. — Ю. В.) — старинный город в окружении садов на холмах. Лучи узких улиц, Театральная площадь со зданием театра, копирующим здание Венской оперы, бывшая резиденция митрополита, где сейчас размещается университет. Строгие однообразные корпуса областной клинической больницы на углу улиц Ленина и Буковинской, построенные еще австрийскими властями, также несут явственные черты прошлого. По свидетельству местных жителей, русский госпиталь Красного Креста находился именно здесь, в краевой больнице, сюда днем и ночью привозили раненых солдат. Поразительно, но воспоминания об этом госпитале живы до сих пор.

Почему, хотя произошло столько событий, столько смен властей, далекое лето не забылось на Буковине? Понять это мне помогают экспонаты областного краеведческого музея. Один из залов дореволюционного периода… На стенде оригинал объявления об открытии в Черновицах Союзом городов (эта общественная организация, так же как Всероссийский земский союз и Общество Красного Креста, активно помогала фронту) нескольких бесплатных питательных пунктов для детей и взрослых. Приводятся адреса пунктов, в том числе улица Русская, 63.

К приходу сюда войск Брусилова в городе сложилась трудная обстановка. Симпатии местного населения, которое было лишено книг на родном украинском языке, не могло пользоваться им пи в школах, ни в официальных учреждениях, были на стороне русских частей. Опасаясь поддержки их буковинцами, австрийские власти превратили близкие к линии боев районы в мертвую зону. Были учреждены военно-полевые суды, сурово

каравшие крестьян и горожан по любому подозрению в измене. Издавались даже открытки с текстом на немецком языке, на которых были засняты повешенные люди с дощечкой на груди и надписью «московский шпион» (несколько таких открыток, переданных ему старожилами Черновцов, автору показал руководитель Музея Черновицкого университета В. А. Фрелих). Перед сдачей города прекратился подвоз продовольствия.

Как и питательные пункты, а также приюты, принявшие шесть тысяч беспризорных детей, военный краснокрестовский госпиталь, наряду с выполнением здесь основных обязанностей по оказанию помощи раненым, стал медицинским очагом для мирных жителей. Ведь это было единственное лечебное учреждение в полуразрушенных Черновицах. И поэтому воспоминания о русском лазарете передавались из поколения в поколение. А в 1989 г.

А. II. Кончаковский и Д. В. Малаков, проведя архивные изыскания, документально доказали, что этот госпиталь действительно дислоцировался в данной больнице.

Минуя арку в глубине территории больницы, подхожу к четырехэтажному корпусу с узкими окнами. Тут и теперь хирургическое отделение. Наверное, именно в этих операционных снова и снова брал в руки скальпель молодой хирург Булгаков.

«О проклятый бассейн войны…» Отголоски и впечатления тех недель мы находим на многих булгаковских страницах — от слов о своем «втором я», враче Алексее Васильевиче Турбине, вернувшемся в родное гнездо после тяжких походов, службы и бед, и встречи его во сне с гусаром полковником Най-Турсом и вахмистром Жилиным, которому доктор Турбин собственноручно перевязывал смертельную рану (роман «Белая гвардия»), до воспоминаний о скверных револьверных и ружейных ранах (рассказ «Морфий») и шаркающей кавалерийской походке (роман «Мастер и Маргарита»). Как госпитальный врач М. Булгаков, несомненно, хорошо знал ход войны, и в частности особенности труднейшего наступления через топкие болота предпринятого русским командованием на Западном фронте с тем, чтобы ослабить германский натиск на Верден. Возможно, он слышал об этих ожесточенных боях от раненых строевых офицеров. Отсюда упоминания в «Белой гвардии» о «срезанном» эскадроне белградских гусар на виленском направлении в 1916 г. и N-ском дивизионе, где служил Мышлаевский.

Впрочем, и карпатское наступление было крайне тяжелым. Можно полагать, что один из подвижных полевых перевязочных отрядов, возможно во главе с доктором Булгаковым, шел под бомбовыми и артиллерийскими ударами на юго-запад вместе с

войсками. Не здесь ли истоки не дошедшего до нас раннего рассказа М.Л. Булгакова «День главного врача», отрывок из которого приводит в своих записях П. С. Попов: «Бросились мы все на землю, только вижу, женщина замедлилась, как-то странно качнулась и вдруг ребенка уронила на землю и сама повалилась…»?

Хлопотный день в губернских учреждениях Смоленска, и снова дорога, леса за запотевшими окнами вагона, незнакомые места и, наконец, конечная железнодорожная станция.

> «Сказку коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы» {22}.

Такой предстает в рассказе «Полотенце с петухом» дорога Юного врача в земскую больницу.

Под Грачевкой, несомненно, подразумевается Сычевка. Описание этого пути близко к воспоминаниям Т. П. Лаппа, приводимым М. О. Чудаковой: «Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал. Там был двухэтажный дом врачей. Дом этот был закрыт; фельдшер пришел, принес ключи… Дом состоял из двух половин с отдельными входами: рассчитан он был на двух врачей, необходимых больнице. Но второго врача не было» {23}. Согласно удостоверению, выданному Михаилу Афанасьевичу Сычевской земской управой, он работал в Никольском с 29 сентября 1916 г. по 18 сентября 1917 г. Как и в «Белой гвардии», события в «Записках юного врача» смещены почти на год вперед. На самом деле именно здесь, на далеком участке, куда лишь через неделю после их выпуска доходили газеты, перед Булгаковым разворачивалась хроника перемен в стране после февральской революции.

«Мужичья Русь! Там, вне заводов, без фабрик — обреченный край», — писал В. Брюсов. Полутора годам пребывания будущего писателя на Смоленщине, наряду со страницами об этом периоде в работах М. О. Чудаковой и Л. М. Яновской, посвящены публикации М. Е. Стеклова (Смоленск) и А. С. Бурмистрова (Ленинград). «Чтобы представить себе объем работы доктора М. А. Булгакова, — пишет автор ряда статей по краеведению

Смоленщины кандидат педагогических наук М. Е. Стеклов, — приведем некоторые архивные материалы. Никольская больница обслуживала восемь волостей, где проживало 36 583 человека. В годовом отчете за 1916 год о деятельности Никольского медицинского пункта представлены следующие данные. Приходящих больных было 789, из них в первые месяцы работы М. А. Булгакова явилось в октябре — 306, в ноябре — 535, в декабре — 852 человека. Всех амбулаторных посещений 15 906, из них в октябре — 806, ноябре — 1198, декабре — 1184. Эпидемических больных в 1916 году было 733, в октябре — 23, в ноябре — 42, в декабре — 57 человек. В стационаре больницы в течение трех месяцев лечилось 82 человека».

Интересны сведения о Л. Л. Смрчеке — о легендарном Леопольде Леопольдовиче из «Записок юного врача», приводимые в очерке М. Стеклова. Доктор Смрчек работал здесь с ноября 1902 г. по март 1914 г. В мае 1913 г., когда среди крестьян распространились сведения, что Л. Л. Смрчек покидает службу в Никольском, в приговоре (т. е. в обращении. — Ю. В.), направленном в уездное земство, крестьяне просили сделать все возможное, чтобы доктор оставался на своем месте, на Никольском медицинском пункте. Жители Караваевской волости заявили, «что не всякий из нас, бедняков, может пользоваться медицинской помощью и советами специалистов-врачей, каковые по большей части живут в городах, а в нашем захолустье такой врач, как Леопольд Леопольдович, он же хирург, являет особое благодеяние (….) для страждущего и темного народа» {24}.

Эти сведения в определенной мере совпадают с описанием прекрасной библиотеки, инструментария, больничной аптеки в «Записках юного врача»: «Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе не известно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм…

— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафчики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич.

… Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

… Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии па русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!» {25}.

Сифилис, дифтерит, глазные болезни… Таковы, как указывается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, основные недуги, которые во многом определяли повседневные задачи земской медицины. Что же представлял собой в эпидемиологическом отношении Никольский медицинский участок? Передо мной выпуски вестника «Сведения о заразных больных и деятельности медицинских учреждений Смоленской губернии» за 1909 и 1912 годы (фонд Республиканской научной медицинской библиотеки им. Д. И. Ульянова). Нахожу раздел о земской санитарной управе в Сычевке. Медицинских участка со стационарными койками тут было три: городской, т. е. непосредственно в уездном городке, Тесовский и Никольский. Характерны несколько сообщений Л. Л. Смрчека, опубликованных в вестнике (Леопольд Леопольдович был одним из наиболее активных его корреспондентов). «Много дифтерии. Эпидемия скарлатины», — пишет оп в 1909 г. Еще тревожный сигнал в том же году: «Появилась 4 октября эпидемия сыпного тифа…»

«На участке довольно обширная эпидемия кори, осложненная коклюшем в период выздоровления от кори, — отмечает Л. Л. Смрчек в мае 1912 г. Одной из больных была сделана трахеотомия с исходом в выздоровление» {26}. В 1912 г. доктор Смрчек пишет: «Эпидемия кори продолжается по всему участку, протекает легко. Эпидемия коклюша стихает». Есть сообщение и об эпидемии эрготизма в приписанных к участку волостях.

Из другой медицинской информации того времени по уезду и губернии мы узнаем, что зарегистрированы случаи натуральной оспы, скарлатины, сибирской язвы, сифилиса. Во время эпидемии сыпного тифа, сообщается в вестнике, погиб фельдшер Л. И. Беляцкий. Он выходил 80 больных и при этом не смог спасти только одного. Свою болезнь переносил на ногах.

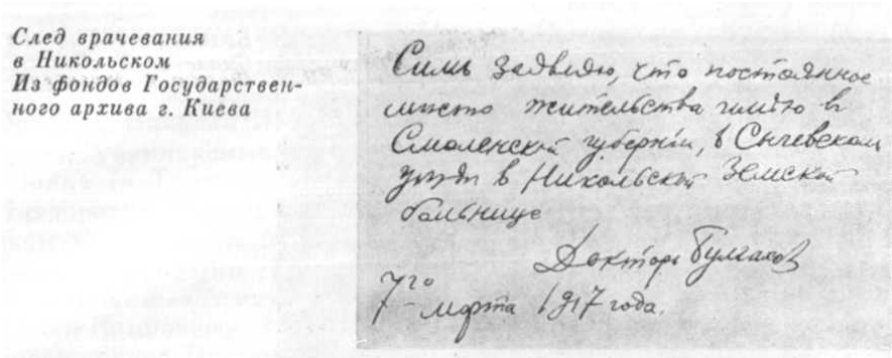
Вдумаемся, какого напряжения сил требовала эта каждодневная битва с инфекциями. Война вызвала невиданный

рост заразных заболеваний — от нарастающего вала тифов до нового нашествия сифилиса. Ведь в армии, и об этом М. Булгаков, несомненно, знал по обстановке военной службы, практически не было госпиталей для лечения больных с венерическими заболеваниями. Болезнь неудержимо ползла в тыл, многие из солдат-отпускников привозили сифилис в свои семьи, и описанная Михаилом Афанасьевичем в «Звездной сыпи» трагедия молодой женщины — лишь жизненный сюжет из тысяч подобных. С постоянными случаями грозных инфекционных заболеваний будет связана необходимость, чтобы доктор Булгаков, как единственный врач на участке, практически безотлучно находился в больнице. За словами «…шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-,молнии»…», звучащими в рассказе «Вьюга», зримо встают тяжесть и неотступность гипертермии, падение сердечной деятельности, угроза легочных осложнений, т. е. острейшая стадия повального сыпного тифа, с которым ему придется каждодневно сталкиваться.

…Но пока Михаил Афанасьевич лишь приехал в Никольское сразу же убедился, какой прекрасный, многоопытный врач трудился здесь до него. Весьма любопытны данные об объеме хирургической деятельности Л.Л. Смрчека, приводимые в губернском медико-санитарном вестнике. Решением земской санитарной управы ему единственному среди земских врачей губернии, был выделен операционный день — четверг, когда доктор освобождался от других обязанностей. Вот данные отчета Никольского медицинского пункта за 1908 г. За этот период Л. Л. Смрчек в двадцатикоечной больнице «произвел 98 хирургических, 54 гинекологических (включая три экстирпации матки), 8 акушерских и 27 глазных операций. Успешно произвел операцию по поводу заячьей губы, удалил три новообразования. 10 раз было произведено извлечение катаракты и 4 раза — энуклеация глаза» {27}.

Мы вправе сказать: для своего времени Л. Л. Смрчек был видным хирургом, а применительно к условиям сельского медицинского участка — поистине уникальным специалистом. Но представим себе ощущения молодого врача Булгакова в эти дни и часы. Около двухсот населенных пунктов в округе (в среднем по России в губерниях, где существовала земская медицина, на земский участок их приходилось 105), версты и версты до уездного городка, неминуемый поток хирургической патологии, мысли о котором не оставляют его в тряской дороге, множество инфекционных заболеваний. Разве могли его скромные, по сути студенческие знания, пусть и подкрепленные недолгой

госпитальной школой войны, где рядом были более опытные коллеги, сравниться с умудренностью и мастерством Л. Смрчека? И все же Михаил Афанасьевич оказался достойным его преемником и прекрасно проявил себя на трудной стезе, хотя в практике начинающего двадцатипятилетнего доктора не раз складывались ситуации, побуждающие иных врачей к спасительной осторожности, когда, говоря словами С. С. Юдина, побеждает «холоднокровное бухгалтерски безразличное отношение к острейшим людским трагедиям, фактически маскирующее за личиной так называемой профессиональной выдержки эгоистическую бесчувственность и нравственную апатию».



След врачевания в Никольском Из фондов Государственного архива г. Киева

Сим свидетельствуется, что постоянное место жительства имеет в Смоленской губернии, в Сычевском уезде в Никольской Земской больнице

Доктор Булгаков

7-го марта 1917 года.

Больница в Сычевке Смоленской области Фото Б. С. Мягкова, 1989 г.

И вновь как бы подтверждение бунинской строки — «лишь слову жизнь дана». В читальном зале Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина листаю тоненькую книжицу — «Календарь-справочник г. Сычевки на 1913 год». Расписание церковных праздников, список должностных лиц, круг немудреных торговых операций, финансовые выкладки… А вот

некоторые сведения о сычевских медиках и медицине того времени. Уездная земская больница располагала тогда 44 койками, медицинский пункт в Никольском — 20 койками (т. е. доктору Смрчеку нередко приходилось размещать в палатах вдвое больше больных, чем предполагалось нормой), пункт в Тесовском — 16 койками. В течение 1912 г. в Никольской больнице лечились 596 больных и было принято 95 родов. Ежедневный прием составлял 31 человек (стоит сравнить это количество пациентов с неуклонно возраставшей врачебной нагрузкой М. А. Булгакова, которому приходилось в среднем принимать более 40, а порою 100 человек в день). В 1912 г. была проведена телефонная линия Муравиншики — Никольское на 150 номеров. Можно полагать, что прокладка этой линии была осуществлена во многом благодаря усилиям и материальной помощи проживавшего в Никольском владельца хозяйства по разведению коров симментальской породы, специалиста в области зоотехники А. И. Синягина. Возможно, в его доме М. Булгаков не раз бывал, да и само наличие подобного экспериментального хозяйства сказалось, как нам думается, на фабуле повести «Роковые яйца».

Тихое Никольское, где на пригорке стояли двухэтажный больничный корпус, жилой дом для врачей, флигель для медицинского персонала, другие больничные строения, автор «Записок юного врача» именует то Мурье, то Мурьево, а больницу называет Мурьевской. Лишь в «Стальном горле» упоминается Никольский пункт — больница. Как же возникло это название? Поблизости находились имение Муравиншики и село Муравишниково, и Булгаков, как мы предполагаем, воспользовался корнем этих очень нежных «лесных» слов.

Председателем санитарной управы Сычевского земства был врач В. В. Герасимов. В уезде работали врачи Михаил Васильевич Булычев, Давид Аркадьевич Каплан, Владимир Дмитриевич Позднев, Николай Иванович Афонский (в Сычевке), т. е. четыре врача, упоминаемые в «Стальпом горле», Николай Иосифович Глинка (в Тесовском), Леопольд Леопольдович Смрчек и Софья Илидоровна Шварц (в Никольском). Фельдшером на Никольском медицинском пункте был Владимир Петрович Коблянский (видимо, прототип Демьяна Лукича). Медицинскими сестрами и акушерками — Агния Николаевна Лобачевская, Анна Петровна Южик-Компанеец, Мария Ивановна Смрчек. О троих из этих подвижников Булгаков позже скажет: «А вот идет моя рать».

В статье «Булгаков на Смоленщине», опубликованной в смоленском областном журнале «Политическая информация» (1981, № 10), М. Е. Стеклов сообщил о некоторых подробностях

пребывания Михаила Афанасьевича в Никольском, выясненных на основании изысканий в Государственном архиве Смоленской области. Его фамилия в «Требовательной ведомости Сычевской уездной управы на содержание служащих Сычевского земства» впервые появляется в октябре 1916 г. В ведомость, где перечисляется состав Никольской земской больницы, вписано следующее: «Михаил Афанасьевич Булгаков, жалованья в год 1500 рублей, в месяц 125 рублей». Далее идут фамилии фельдшеров, фельдшериц-акушерок, сиделок и сторожей — всего 12 человек. Здесь же подпись Булгакова за полученные деньги в размере 121 р. 25 к. (3 процента от жалованья вычитали на нужды войны). Михаил Афанасьевич расписывался за неграмотных сиделок и сторожей, и поэтому в ведомости есть еще его шесть собственноручных подписей. В этот период тут работали В. П. Коблянский, С. И. Иванов, С. А. Иванова, А. П. Лобачевская, Е. О. Тропикова и Иван Егоров. Судя по ведомости, указывает М. Е. Стеклов, М. А. Булгаков сменил врача Иду Григорьевну Генценберг. Сохранились ее письма в земскую управу с просьбами о ремонте водопровода и телефона, а также о выделении еще одного рабочего. Вторая врачебная должность оставалась вакантной и при ней, и при Булгакове.

В очерке «Поездка в прошлое», опубликованном в журнале «Звезда» (1981, № 10), А. Бурмистров описал печальное запустение этих мест, полузаброшенные села, их вечное притяжение. И вот в мартовский день 1988-го, семьдесят один год спустя после того, как Булгаков в такую же пору, пробиваясь сквозь бездорожье отступающей зимы, возвращался в Никольское из Киева, я выхожу на пустынной остановке из автобуса, прибывшего в Сычевку из Смоленска. Двухэтажная гостиница находится рядом с краеведческим музеем, посещение которого описывает А. Бурмистров. Старинный этот дом с толстыми каменными стенами, крутой деревянной лестницей, бывший когда-то торговым помещением, и впрямь напоминает купеческий лабаз. Центральная улица города, сейчас называющаяся Пролетарской, пока но очень изменилась. Именно ее огни так влекли доктора из Мурьева: «Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазин. В то время как воет и валит снег на полях, па экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров…» {28}.

Удивительная провинциальная тишина, узкие обледеневшие тротуары в неярком освещении. Незнакомые улицы. Невдалеке, напротив парка, здание с мемориальной доской — здесь с сычевцами встречался уроженец находящегося поблизости

Гжатска Юрий Алексеевич Гагарин.

Утром наискосок, по талому ноздреватому снегу, пересекаю городской парк с редкими деревцами, ждущей малышей детской площадкой, утлыми скамейками. Наверное, парк не изменился со времен Булгакова, только у входа появились мраморные львы, привезенные, как рассказали старожилы, из находящегося неподалеку имения Шереметевых. Наверное, это имение выведено под названием Шалометьево в рассказе «Вьюга» и, возможно, оно же упоминается в рассказе «Ханский огонь»… Небольшой спуск, пересечение улиц, и вскоре передо мной — центральная районная больница на берегу реки Вазуза. Сейчас здесь 300 коек, корпуса надстроены, на территории стоят автомашины, но сохранился и дом, где в 900-х годах находилось 36 коек, составлявших первоначально основу земской больницы в Сычевке.

Главный врач больницы Павел Васильевич Гарбуз (у него украинская фамилия, но он уроженец Смоленщины) знакомит меня с Полиной Терентьевной Занегиной, одним из старейших докторов в Сычевке. Она проработала тут полвека…

> «… За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол… бывают ли такие случаи… если кто-нибудь рвет зуб… и челюсть обломает… ведь гангрена может получиться, не правда ли? Знаете, кусок… я читал…
>
> Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:
>
> — Это вы ему лунку выломали… Здорово будете зубы рвать… Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.
>
> И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы» {29}.

Кто из молодых врачей не знаком с этими душевными терзаниями по поводу последствий возможно совершенной ошибки, неправильного хирургического приема, излишней смелости. Мучительные переживания, они мешают работать, лишают спокойствия. И благо, если рядом оказывается старый опытный доктор, способный развеять тревогу, проанализировать

факты. К счастью для Булгакова, в Сычевке трудился именно такой специалист.

Я напомнил Полине Терентьевне эти слова из «Записок юного врача».

— Да, это доктор Булычев, — задумалась она, — я хорошо его помню. Он был очень милый и деликатный человек. Когда в 1937 году, после окончания Смоленского медицинского института, я прибыла по назначению в Сычевку, он заведовал трахомным отделением. Тут лежали в основном дети. Трахома в районе еще часто встречалась, что требовало противоэпидемических мер и, конечно же, правильного настойчивого лечения. Михаила Васильевича можно было всегда увидеть и днем и вечером в этом корпусе на отшибе. А вообще он учил меня, молодого врача, всему, бывал со мною и в родильном доме, и в терапевтическом отделении, и в хирургическом. В 1938 году, когда отмечалось его семидесятилетие, в Сычевку на юбилей М. В. Булычева по его приглашению, как мне помнится, приезжал и писатель Булгаков из Москвы — бывший врач больницы в Никольском.

Приезжал писатель Булгаков…

Конечно, это лишь след в памяти старого врача. И все же возможный факт приезда Михаила Афанасьевича, хотя бы на несколько дней, в места своей врачебной юности стоит взять на заметку при уточнении канвы его жизни. М. В. Булычев — единственный из врачей, современников Булгакова в дни его работы в уезде, чья личность, опыт, внимание к молодому коллеге встают в «Записках». И не исключено, что доктор Булычев, возможно, читавший «Белую гвардию» и видевший во МХАТе потрясающую пьесу тех лет — «Дни Турбиных», разыскал адрес автора и попросил его приехать в Сычевскую больницу. Вряд ли он, по-прежнему провинциальный врач, доктор земской выучки, был заражен неприязнью к «булгаковщине». Хотя шел 1938-й, и юбиляр был, видимо, знаком с разгромной газетной статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание», свидетельствовавшей, что Булгаков — не из жалуемых авторов.

Внешности Булгакова Полина Терентьевна описать не могла, ей запомнился лишь сам факт, который представляется весьма вероятным. Не в правилах Михаила Афанасьевича было, если время и здоровье позволяли, не откликнуться на приглашение. Быть может, рисуя в «Мастере и Маргарите» реку под меловым обрывом, среди холмов и редких валунов, с ее прозрачной водой, он вспоминал редкой красоты Вазузу, протекавшую вблизи Сычевки в каменистом ложе.

…На больничном вездеходе едем в Днепровскую номерную больницу. Это бывшее Воскресенское вблизи Днепра (да, на этой

возвышенности Волга и Днепр близко сходятся), названное М. Булгаковым Вознесенском. Оно находилось в девяти верстах от Никольского и, быть может, думалось мне, местные врачи смогут что-нибудь вспомнить о довоенной судьбе той сгоревшей в период оккупации больницы. Нет, кроме того, что Никольское и окрестные села после войны обезлюдели, что сейчас это и впрямь «Горелово» (участок, упоминаемый в «Морфии»), здесь ничего не знают. Снова поля под чернеющим снегом, остовы комбайнов, редкие постройки, узкая лента шоссе. Впереди несколько домов. Это деревня Печеничино. Рядом деревня Торопово (или Торпово), которую Булгаков упоминает в рассказе «Крещение поворотом». Медпункт на замке, обитатели соседней избы ничего не знают — они недавно переселились из Средней Азии. Где-то здесь проселок на Никольское. И вот встреча — пожилая женщина с девочкой, идущие по дороге, просят подвезти их. Конечно, мы подбираем путников. Александра Ивановна Петрова, 1921 года рождения, оказывается, живет в этих местах сызмальства и хорошо помнит больницу в Никольском.

— Больница была благоустроенная, двухэтажная, палаты светлые, удобные, — вспоминала она. — Однажды, девчонкой, я даже там лежала. Люди все больше вспоминали двух врачей — Смрчека и, кажется, Булгакова из Киева… А потом там работал доктор Минченков. Помню я и фельдшерицу Агнию Николаевну. Она была небольшого роста, быстрая, шумная. Заведовала в то время аптекой в больнице.

— Как проехать? Знаете, в тех краях, как немцы сожгли больницу и Муравиншики, сейчас никто не живет. Все заболочено, заросло, дороги нет, хаты заколочены. Старики-то повымерли… Без трактора вам туда, пожалуй, и не добраться.

Все-таки мы сворачиваем по кромке кустов и, проехав километра полтора среди чащобы и колдобин, начинаем буксовать. По мокрому, глубокому снегу не пройти…

В 1989 г. Б. С. Мягков[1] воочию увидел места, где находились Муравиншики и исчезнувшая больница. Первая, весенняя, попытка попасть туда по проселку от шоссе Сычевка — Днепровская из-за бездорожья оказалась неудачной. И вот в июле Б. С. Мягков и М. В. Владимирский, воспользовавшись картой, составленной А. А. Курушиным, двинулись к искомым ориентирам иным путем, от деревни Извеково.

Одно из зданий Лютовской земской больницы в Вязьме Сейчас здесь мемориальный уголок М. А, Булгакова.

Фото Б. С. Мягкова, 1989 г.

В обезлюдевших Муравитниках они обнаружили остатки кладбища. Примерно в двух-трех километрах в лесной поросли Б. С. Мягков увидел на холмах три мощные лиственницы (как пишет М. О. Чудакова, местные жители называли их «немецкими елками»). Нашел он и остатки кирпичного фундамента больничных построек, и мостика над лесным озерцом, невдалеке от которого принимал роды Юный врач.

Итак, вот он, маршрут к Никольскому! Верится, что и тут появится мемориальный знак в память о М. А. Булгакове.

Вспоминаются вычитанные в земском санитарном вестнике названия волостей, приписанных к медицинскому пункту в Караевской волости — Воскресенская, Волочаевская, Гривская, Егорьевская, Торбеевская. «Какие раны я зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы», — пишет Булгаков в рассказе «Пропавший глаз».

> «Вдохновенно я развернул амбулаторную карту и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Стационарных у меня было двести, а умерло только шесть.
>
> Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал… Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах… Сои все ближе…
>
> — Я, — пробурчал я, засыпая, — я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик… может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм… пусть… им

хорошо… в клиниках, в университетах… в рентгеновских кабинетах… я же здесь… все… и крестьяне не могут жить без меня… Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха… Л теперь…» {30}.

В удостоверении Сычевской уездной земской управы от 18 сентября 1917 г., выданном врачу Михаилу Афанасьевичу Булгакову, говорится, что, по имеющимся в управе сведениям, на Никольском участке пользовались стационарным лечением 211 человек, а всех амбулаторных посещений было 15 361. Иначе говоря, перед нами истинные цифры, истинная картина труда доктора Булгакова.

Но какой путь пройден, каких сил и переживаний это стоило — познать все то, о чем меньше всего говорится в учебниках, но что непосредственно отражается на результатах хирургического лечения — на жизни или смерти. Готовность к помощи во всякое время, приветливость, привлекающая к себе робких и смелых, ненарушимое спокойствие лица и духа при опасностях, угрожающих больному, — так характеризовал М. Я. Мудров идеал лекаря. Как стал Булгаков таким врачом? Это прежде всего резервы сердца, страсть, соединенная с мужеством.

«… Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду…

— Жив… жив… — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

— Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленатый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно

так» {31}.

В рассказе «Крещение поворотом» описан действительный случай. Вот он в воспоминаниях Т. Н. Лаппа, записанных М. О. Чудаковой: «И в первую же ночь привезли роженицу! Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной; конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. Я видела роженицу, она теряла сознание. Я сидела в отделении, искала в учебнике медицинском нужные места, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне: «Открой такую-то страницу!»» {32}.

Об этих же часах в Никольском Татьяна Николаевна рассказывала и А. П. Кончаковскому, переживания той ночи помнились ей совершенно отчетливо: «Мы вышли из дома и погрузились в кромешную тьму. Из-за кустов вышел бородатый мужик и сказал Михаилу: «Если зарежешь жену, убью»…

На улице было очень сыро и холодно. Я схватила Михаила под руку и мы зашагали на свет окон больницы. С собой захватили два толстых медицинских тома…

Михаилу помогли быстро одеться и он тотчас же приступил к работе. Много раз он отходил от стола, где лежала пациентка, и обращался к книгам, лихорадочно листая их…

СЫЧЕВСКАЯ
УѢЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ
УПРАВА
Сентября 18 17
№ 418
Сычевка Смоленской

Удостовѣреніе.

Выдано настоящее удостовѣреніе Врачу Михаилу Аѳанасьевичу Булгакову въ томъ, что онъ съ 29-го сентября 1916 года и по 18 сентября сего 1917 года состоялъ на службѣ Сычевскаго Земства въ должности Врача завѣдывающаго Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовалъ себя энергичнымъ и неутомимымъ работникомъ на земскомъ поприщѣ.

При этомъ по имѣющимся въ Управѣ свѣдѣніямъ въ Никольскомъ участкѣ за указанное время пользовалось стаціонарнымъ леченіемъ 211 чел., а всѣхъ амбулаторныхъ посѣщеній было 1536.

Оперативная дѣятельность врача М.М.Булгакова за время его пребыванія въ Никольской земской б-цѣ выразилась въ слѣдующемъ: было произведено операцій- Ампутація бедра 1, Отнятіе пальцевъ на ногахъ 3, Вскрываніе мятки 18, обрѣзаніе крайней плоти 4, акушерскіе щипцы 2, поворотъ на ножку 3, ручное удаленіе послѣда 1, удаленіе атеромы и липомы 2 и трахеотомій 1: кромѣ того производилось: зашиваніе ранъ, вскрытіе абцессовъ и нагноившихся атеромъ, проколы живота/2/ вправленіе вывиховъ; одинъ разъ производилась подъ хлороформеннымъ наркозомъ удаленіе осколковъ раздробленныхъ реберъ послѣ огнестрѣльнаго ранѣнія.

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ УПРАВЫ Ѳедоръ Спиридоновъ

Секретарь В. Ивановъ

Удостоверение, выданное врачу М. А. Булгакову Сычевской земской управой 1917 г.

Из фондов Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина

Наконец, раздался детский плач, и в руках у Миши оказался маленький человек».

Но не все оканчивалось так, жизнь приносила ужасные минуты, поражения и неудачи, когда было так невыразимо трудно «вновь окрыляться на борьбу».

> «… Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, а пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенца получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине!…
>
> Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и на восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос—.удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук

благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что ничего нет кругом. А может, я еще и преступление совершил…. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги; сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!

… Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива»» {33}.

Нет, это не рефлексия, а чистый голос самой совести, одни из лучших страниц в мировой литературе о медицине, о сомнениях, переживаниях, свойственных врачебной профессии. И одновременно бытие доктора Булгакова. В удостоверении, выданном ему Сычевской земской управой (фотокопия прислана из Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина), подчеркивается, что М. А. Булгаков «зарекомендовал себя энергичным неутомимым работником на земском поприще. Оперативная его деятельность выразилась в следующем: было произведено операций: ампутации бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти 4, акушерские щипцы 4, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, удаление атеромы и липомы — 2 и трахеотомия — 1. Кроме того, производилось зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление вывихов, один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения».

Перечисление хирургических операций, произведенных М.А. Булгаковым в Никольском, начинается с ампутации бедра. Рассказ «Полотенце с петухом», открывающий смоленский цикл медицинских записок писателя (существует, правда, мнение, что первым было написано «Стальное горло»), посвящен именно

такому случаю. По воспоминаниям Татьяны Николаевны Лаппа, это полотенце существовало в реальности, и невероятный по сложности эпизод, когда, по сути, требуется многочасовая работа целой хирургической бригады, а быть может, и двух бригад, Булгаков пережил и вышел победителем. Речь идет о спасении девушки, ноги которой попали в мялку.

«… Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

… Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

… Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

… За меня работал только мой здравый смысл… Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови… В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно… ох, как живуч человек!»

И кость отпала… Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в

сторону культей. «Еще, еще немножко… не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу… но остановился, осененный сообразил… оставил сток… вложил марлевый тампон… (Вот когда сказался опыт Булгакова в военно-полевой хирургии, где особенно хорошо знают об опасности первичного шва, и, быть может, госпитальные уроки профессора П. М. Волковича. — Ю. В.). Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива… — как беззвучно эхо, отозвались сразу и фельдшер и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор…

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет… — удивленно хрипнул фельдшер…

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней…

Затем шелест… На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве… в Москве… — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял…

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают

воспоминания» {34}.

А вот эта же история, рассказанная Т. Н. Лаппа (в записи А. П. Копчаковского): «Не могу и сейчас забыть того случая, когда молодая девушка, чудом оставшаяся жить благодаря стараниям Михаила, подарила вышитое ею льняное полотенце с большим красным петухом. Долго это полотенце было у нас, перевозили мы его и в Киев, и в Москву». Эти воспоминания представляются весьма важными: ведь и в них как бы виден доктор Булгаков.

Но вернемся к рассказу. Думается, в его строках не только свет таланта писателя, но и ключ к тайне профессионального становления Булгакова в дни его земской эпопеи, когда он в труднейшей ситуации проявляет подлинное врачебное бесстрашие и мужество. Наверное, работая дальше в медицине, Михаил Афанасьевич мог бы стать выдающимся хирургом. Ведь его поведение в эти минуты, а описан, как мы отметили, истинный факт, соответствует словам Р. Лериша:

> «Кто не может принять решение в одну минуту, не должен быть хирургом, так же как человек неуверенный в себе, сомневающийся перед каждым хирургическим вмешательством».
>
> «Разум должен направлять дальнейшие действия», — указывает выдающийся французский хирург».

«За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки», — отмечает Булгаков.

Поразительно, как близко это булгаковское описание к эмоциональной канве повести Н. М. Амосова «Мысли и сердце».

«Ужас.

В стенке аорты зияет отверстие около сантиметра. Края неровные, кругом измененные воспалением ткани. Не зашить! Нет, не зашить…

… Нужно что-то сделать. Пытаться. А вдруг швы удержат? Боже! Яви чудо!… Скорее шью, стараясь захватить края шире. При попытке завязать ткани прорезаются. Так и знал!

… В бесплодных попытках прошло минут пять. Из каких-то сосудов в аневризму все время подтекает кровь. Пришлось сильнее поднять легочную артерию.

Я чуть не плачу… Я не хочу жить в этом ужасном мире, в котором вот так умирают девочки…

… Адреналин. Массаж. Новые порции. Все тянется мучительно долго. Сердце дает редкие слабые сокращения, как будто засыпает. Но нужно что-то делать, делать!» {35}.

…И снова Никольское. Первичный и вторичный сифилис —

от младенцев до стариков (в 1940 г., указывает Е. А. Земская, уже после смерти М. А. Булгакова, его близкий друг А. П. Гдешинский писал Н. А. Булгаковой-Земской по поводу письма, полученного им от Михаила Афанасьевича из Никольского: «…помню только следующее:… огромное распространение сифилиса»), тяжкие тифозные лихорадки («У меня трое тифозных, таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть» — это слова из рассказа «Вьюга». — Ю. В.), роды в поле, гнойники, травмы, отравления. Характерно, что тиф в 1916–1917 годах протекал крайне тяжело, быстро переходя в септическое состояние и осложняясь геморрагиями…

Одним из тяжелейших явился случай выполнения трахеотомии у девочки Лидки с развившимся дифтерийным крупом. Снова рискованная операция, которую врач в Мурьеве вынужден производить впервые в своей практике. Кульминация рассказа «Стальное горло» отражает благополучный исход вмешательства — девочка задышала. Об этой трахеотомии говорится и в перечне операций, произведенных М. А. Булгаковым в Никольском…

Быть может, Лидка жива и сегодня. Но в жизни все оказалось сложнее и противоречивее, чем в рассказе. То ли сгусток из трубки, то ли капли дифтерийной мокроты другого больного попали Михаилу Афанасьевичу в лицо. Чтобы предотвратить заражение, он ввел себе противодифтерийную сыворотку. Очевидно, серия оказалась реактогенной. Как вспоминала Т. Н. Лаппа (в беседах с М.О. Чудаковой и А. П. Кончаковским), возник сильный кожный зуд, развился отек лица. Но надо было продолжать работать, единственный доктор на селе просто не мог себе позволить прекратить прием, бросить на произвол судьбы тяжелых больных. Булгаков попросил ввести ему ампулу морфия…

Зуд притупился, однако к вечеру опять стал нестерпимым. Снова укол. «Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он, медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло привыкание, — рассказывала Татьяна Николаевна М. О. Чудаковой. — Болезнь развивалась; борясь с ней, он нередко впадал в угнетенное состояние» {36}.

Газеты и слухи — вот основной источник информации о событиях в стране, отголоски которых с опозданием доходили до земского участка. Никольское под Сычевкой, вспоминал А. П. Гдешинский письмо М. А. Булгакова оттуда, представляло собой дикую глушь и по местоположению, и по окружающей бытовой обстановке и всеобщей народной темноте. Кажется,

единственным представителем интеллигенции был лишь священник. Возможно, следует добавить А. И. Синягина и обитателей имения Муравишники, принадлежавшего В. И. Герасимову, где, как указывает М. О. Чудакова, доктор Булгаков, видимо, бывал: один из сыновей владельца Муравишников, М. В. Герасимов, был председателем уездной земской управы, а второй сын, врач В. В. Герасимов, как отмечено выше, руководил санитарной управой. Здесь на медицинском пункте в бесконечных лесах Булгаков узнал о применении германскими войсками отравляющих газов, о чехарде в правительстве, об убийстве Распутина. Разваливающийся после революции фронт… Разговоры о Керенском… Отголоски перемен, происходящих в мире, естественно, звучат в смоленском цикле писателя. Конечно, распространенные газеты того времени, на которые часто ссылаются историки, рисуют портрет бурной эпохи. Обратимся, однако, и к изданию, которое Михаил Афанасьевич, как и другие врачи, возможно, специально выписывал и регулярно читал. Во всяком случае, публикации своих университетских учителей Булгаков, думается, не оставлял без внимания. Это популярный в медицинской среде клинический и бытовой еженедельник для врачей «Врачебная газета», выходивший в Петрограде под редакцией докторов медицины А. А. Лозинского и Г. И. Дембо.

В первом выпуске еженедельника за 1917 г. Булгаков мог встретить сообщение о смерти В. Ф. Снегирева, открывшего в Гинекологическом институте госпиталь и оперировавшего здесь раненых до последнего дня жизни. Имя это Михаил Афанасьевич, конечно, хорошо знал. Здесь же были помещены статья А. И. Яроцкого об окопной болезни, обзор деятельности подвижного лазарета Красного Креста, корреспонденция со Всероссийского съезда психиатров, где поднимался вопрос об организации призрения душевнобольных воинов…

Листаю следующие номера. Быть может, в эти же строки вчитывался и Михаил Афанасьевич. Применение тетравакцины против тифов и холеры, проблемы венерических заболеваний в армии, опыты по искусственному оплодотворению, статьи и обзоры хирургов А. II. Крымова, А. Д. Павловского, Н. М. Волковича, Н. А. Богораза, А. В. Мартынова, Н. П. Бурденко, В. А. Оппеля, информация о медиках, возвращающихся из плена, — все это, наверное, не прошло мимо его внимания. Но вот сообщение во «Врачебной газете» (1917, март, № 8—10): «Настоящий № был уже набран и почти напечатан до наступления тех исторических дней, когда в России совершился — благодаря мощному натиску восставшего народа и армии — переворот. Ближайший номер

будет набран руками свободных граждан свободной России». Появляются статьи «Основания для устройства врачебно-санитарного дела в освобожденной России», «Очередные задачи Всероссийского Пироговского союза врачей», «Делегатский съезд врачей Армии и Флота», публикация «Заем Свободы, 1917 г.», объявления ряда земств о приглашении врачей, «Обращение правления общества русских врачей в память Н. П. Пирогова к товарищам — врачам всего мира в связи с отменой в России смертной казни», письмо в редакцию из Казани об исключении из общества госпитальных врачей отдела Всероссийского земского союза помощи больным и раненым врача Н. Я. Плодухина за принадлежность его с 1907 г. к сотрудникам бывшего охранного отделения и примерно такое же письмо из Киева… Во «Врачебной газете» часто публикуются взволнованные статьи врача Д. П. Жбанкова — одного из основоположников смоленской земской организации.

Весь этот разнообразный поток информации не мог не будоражить М. А. Булгакова. Быть может, в этой же газете в № 45 за 1917 г., уже уехав из Никольского, он прочел и хронику «Россия — в горниле новых испытаний!» об октябрьских событиях в Петрограде…

Булгаков хлопочет о переводе из Сычевского земства в более крупную больницу, ближе к Москве, его, конечно же, не оставляет равнодушным накал общественной жизни. Однако существовал и настоятельный внутренний мотив для переезда — скрывать тяготение к наркотикам ему было все труднее. Он стремился к смене обстановки, к новому кругу дел, надеясь, быть может, что и это поможет ему оборвать болезненное пристрастие к морфию.

Итак, сентябрь 1917 г., уездная больница в Вязьме. Перед первой мировой войной ее старшим врачом был Л. К. Шмурло, врачами — Л. Т. Васильев и Н. И. Тихомиров. С II. И. Тихомировым Булгакову доведется работать вместе.

«… Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь пи на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил па роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки!

… О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское.

В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

… Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не пес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете.

… О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни… По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову, и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон, после бессонных полутора лет…» {37}.

Впрочем, нагрузка оставалась очень большой. Из удостоверения Вяземской уездной земской управы известно, что Михаил Афанасьевич заведовал венерологическим и инфекционным отделениями. Очевидно, он действительно руководил и детским отделением. Кстати, именно эту специальность педиатра Михаил Афанасьевич хотел выбрать по окончании университета. Учитывая эпидемическую обстановку, фактически это, наверное, было отделение детских инфекционных заболеваний. Иначе говоря, на долю молодого врача, в связи с ростом и утяжелением инфекций, выпал едва ли не самый трудный участок в больнице… «… Я не могу бросить ни на минуту работу, — пишет он сестре Наде в октябре 1917 г., — и поэтому обращаюсь к тебе сделать в Москве кой-что, если тебя не затруднит… Узнай, какие есть в Москве самые лучшие издания по кожным и венерическим на русск. или немецк. и сообщи мне, не покупай пока, цену и названия» {38}. В этом же письме Булгаков просит выслать ему руководство по клинической химии, микроскопии и бактериологии, о котором мы уже упоминали. Видимо, все лабораторные исследования в период работы в больнице в Вязьме он осуществлял сам.

Конец октября 1917 г. До Смоленщины доносятся раскаты революционных событий в Петрограде. В губернском центре

завязываются бои между солдатами, поддерживающими большевиков, и силами Временного правительства. Казачьи части обстреливают Совет рабочих и солдатских депутатов, то та, то другая сторона пытается овладеть арсеналом. Ожесточенные классовые схватки кипят и в Вязьме — важнейшем железнодорожном узле на пути возвращения солдат с фронта в Москву. Выбитые стекла в вагонах, офицеры, срывающие мундиры, чтобы спастись, затеряться, хаос на вокзале. Вихрь стремительных событий швыряет людей, словно «клочки изорванной газеты».

В эти дни Михаил Афанасьевич мог прочесть во «Врачебной газете» о намечающейся забастовке городского санитарного аппарата в Москве, о забастовках профсоюза сиделок и санитарок в Киеве и работников аптек в Петрограде. В разделе «Летопись общественной медицины» сообщается, что в ряде госпиталей на должности главных врачей избраны фельдшера. Врачебный персонал госпиталей и больниц в Москве милитаризован…

Обстановка тяготит Булгакова. «Тяну лямку в Вязьме, — пишет он в письме родным 31 декабря 1917 г. — Вновь работаю в ненавистной атмосфере среди ненавистных мне людей… Единственным моим утешением является для меня работа и чтение. Я с умилением читаю старых авторов (что попадается, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, исправить это невозможно!»

На фоне этих переживаний Михаила Афанасьевича, носивших характер психологического кризиса, и все большего расстройства его здоровья по-особому воспринимаешь его отношение к своим врачебным обязанностям в эти крайне трудные для него дни, его стремление лечить больных как можно более эффективно, иметь под рукой авторитетные клинические руководства, в том число иностранные издания. И это в обстановке, когда все вокруг рушится, когда средством к существованию является лишь земское жалованье. Недуг не сказался на профессиональном уровне доктора Булгакова и понимании им долга врача. «Никогда я не видела его раздраженным, недовольным из-за того, что больные досаждали ему, — вспоминала Т. Н. Лаппа. — Я не слышала от Михаила никаких жалоб на перегрузку и утомление. Он пользовался большим авторитетом. Нередко пациенты приезжали к нему из отдаленных сел, не входивших в его ведение. Обращались к нему и коллеги, когда им приходилось туго. За короткое время пребывания в Земстве (это слово Татьяна Николаевна просила писать с заглавной буквы) Михаил заслужил уважение и любовь не только со стороны медицинского

персонала, но и многочисленных больных».

Вместе с тем главная мысль, владеющая сейчас им, — не быть «милитаризованным». Он жаждет освободиться от военной службы, однако декабрьская поездка в Москву безрезультатна. Наконец, 22 февраля 1918 г. «временно командированный в распоряжение Вяземской уездной земской управы врач резерва Михаил Афанасьевич Булгаков» получает удостоверение, дающее ему право на отъезд. В нем, в частности, говорится, что он уволен с военной службы по болезни согласно удостоверению в том Московского уездного воинского революционного штаба по части запасной от 19 февраля 1918 г. за № 1182. Булгаков, состояв в должности врача Вяземской городской земской больницы, заведовал инфекционным и венерическим отделениями и обязанности свои исполнял безупречно — подчеркивается в этом документе. Выскажем предположение о месте, где находилась эта больница. Как сообщил Я. Берг в статье «Там, где работал известный писатель» (смоленская газета «Рабочий путь» от 19 декабря 1985 г.), этим единственным лечебным учреждением в Вязьме, очевидно, была больница Лютова. Здания сохранились, они находятся на Красноармейском шоссе, недалеко от вокзала. Адрес больницы подсказала старейшая учительница Вязьмы А. Н. Ерохова. «Можно надеяться, что со временем здесь появится мемориальная доска», — пишет Я. Берг. Присоединяясь к его словам, добавим, что в этом здании, где находится сейчас одна из лабораторий Вяземской районной санитарно-эпидемиологической станции, организован мемориальный Булгаковский уголок.

Однако не исключено, что земская больница, упоминаемая в «Морфии», находилась там, где ныне расположена железнодорожная больница (ул. Ленина, 71). Впервые этот адрес обнаружил А. Бурмистров. Теперь тут современные постройки, но в глубине территории Б. Мягков увидел и небольшие старые одноэтажные здания, возможно, уцелевшие либо восстановленные. Поиск и исследования, конечно, будут продолжены.

> «Мы поехали в Киев — через Москву, — вспоминала Т. Н. Лаппа. — Оставили вещи (у Н. М. Покровского), пообедали в «Праге» и сразу поехали на вокзал, потому что последний поезд из Москвы уходил в Киев, потом уже нельзя было бы выехать. Мы ехали потому, что но было выхода — в Москве остаться было негде.
>
> …Когда приехали из земства, в городе были немцы. Стали жить в доме Булгаковых на Андреевском спуске»

{39}.

Эти воспоминания относятся к тревожной весне 1918 г., ко времени Брестского мира. 3 марта австро-германские войска вошли в Киев. Правительство РСФСР, согласно пунктам этого договора, признало особые отношения Центральной Рады с Германией и Австро-Венгрией. На Украине устанавливалась иная государственность. Поезд, с которым Булгаковы покинули Москву, пожалуй, действительно был последним пассажирским составом, проследовавшим в киевском направлении.

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней» — эти слова из «Белой гвардии» приводятся в «Истории Украинской ССР» (К.: Наук, думка, 1982). В них — концентрированная оценка событий. Причем оценка не по документам, не по чьим-то рассказам. Приезд Михаила Афанасьевича и Татьяны Николаевны в Киев совпал с политическим поворотом, к которому, пожалуй, целиком применим эпиграф к «Белой гвардии»: «Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло». Чужая речь, серые колонны немецких солдат па знакомых улицах — именно таким увидел Булгаков родной город. Впрочем, союз кайзеровских войск с Центральной радой продолжался недолго. 29 апреля немецкое командование разгоняет ее и выводит на политическую арену более удобную для него фигуру гетмана, в прошлом свитского генерала. Разворачивается маскарад власти марионеточного правительства, текут лихорадочные месяцы существования «державы» Скоропадского.

«По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его (гетмана. — Ю. В.) произошло в цирке… И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии… Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц….

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар… Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

— А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты… Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели {40}.

Точный, словно диагноз, булгаковский портрет эпохи. Примерно такими же красками описывал в те дни картину жизни города и Д. З. Мануильский: «Все кафе, «кавказские шашлычные», сады и дома для развлечений стали притонами купли и продажи валюты, фиктивных вагонов с товарами, выкраденных и опечатанных сейфов, драгоценностей, поддельных документов. Торговали патриоты-офицеры, чиновники, монахи, гетманская варта и гетманские министры».

Да, торговали многие. Но Булгаковы не принадлежали к числу продающих и покупающих, финансовое положение семьи ухудшилось. Между тем найти работу в какой-либо больнице, а многие из них закрылись и продолжали закрываться, для Михаила Афанасьевича оказалось почти невозможным. В силу сложившейся обстановки Киев был переполнен и врачебными кадрами. Например, врач А. И. Ермоленко, современник и сверстник Булгакова, к дневникам которого[2] мы далее обратимся, только после настойчивых хлопот и хождений устроился сверхштатным госпитальным ординатором, не получая какой-либо оплаты. О трудностях такого рода говорит и статья в журнале «Врачебное дело», издаваемом в этот период в Харькове, где выражается пожелание заполнять фельдшерские вакансии молодыми врачами. Статья так и называется — «Врачебная безработица».

«Счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь». Пожалуй, эти слова из рассказа «Морфий» именно и говорят о состоянии Михаила Афанасьевича в те дни. Ему так и пе удалось избавиться от наркотического пристрастия. Плохое физическое состояние усугублялось депрессией, отвыкнуть от наркотиков самостоятельно он не мог.

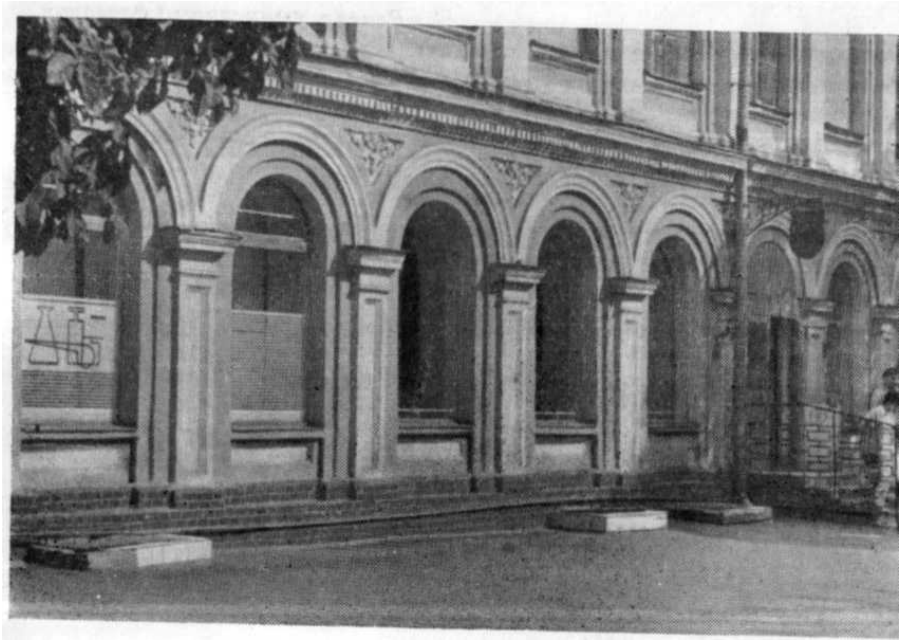
Вновь вместе с А. П. Кончаковским вчитываемся в его записи. В них идет речь о нелегкой борьбе с болезнью, о которой пишет и М. О. Чудакова в «Жизнеописании Михаила Булгакова», однако есть и некоторые дополнительные весьма важные подробности.

Конечно, беседуя с Татьяной Николаевной в Туапсе, с сожалением замечает Анатолий Петрович Кончаковский, я строил наш разговор далеко не так, как сделал бы это сейчас. Я не задал ей ряд вопросов, на которые уже не получишь ответа. И все же на

днях исцеления она останавливалась особо, их детали, видимо, так и остались в ее памяти.

— Некоторое время после приезда в Киев я еще ходила с рецептами Михаила Афанасьевича в ближайшую от нашего дома аптеку на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской, возле пожарной каланчи, — вспоминала Татьяна Николаевна. — Делала я это под его давлением, с большой неохотой, несколько раз, когда я не приносила вожделенного препарата, между нами возникали буквально стычки. К тому же в аптеке возникло подозрение, почему один и тот же врач выписывает на различные фамилии столько морфия. Это встревожило Михаила. Исцеления все не было, хотя в Киев мы переехали во многом благодаря моим неимоверным настояниям. Нашим горем я сразу же поделилась только с доктором Воскресенским. Он воспринял происходящее очень серьезно. После раздумий Иван Павлович сказал, что готов взять лечение на себя, по осуществлять он его хотел бы только через мои руки, никого больше не посвящая в суть дела. «Нужно будет попробовать вводить взамен морфия дистиллированную воду, попытаться таким образом обмануть рефлекс пристрастия, — предложил он. — А произносить бесполезные слова, что наркотики подобны смерти… Все это уже, пожалуй, пи к чему, Михаил Афанасьевич ведь и сам знает, сколь ужасны могут быть последствия. Наоборот, будем делать поначалу вид, что и я решительно пи о чем не осведомлен».

И вот я начала приносить от Воскресенского ампулы с подменой, к моему приходу они были уже подготовлены. Я забегала к нему буквально на минутку и шла в аптеку. Ведь иногда Михаил встречал меня на полпути. Внешне ампулы выглядели как наркотик, Иван Павлович аккуратно запаивал их, а быть может, для него их где-то специально изготовляли. Михаил Афанасьевич ждал меня с нетерпением и сразу же сам делал себе инъекцию. Время шло, по договоренности с Иваном Павловичем я стала приносить такие ампулы реже, объясняя это тем, что в аптеках почти ничего нельзя достать. Михаил Афанасьевич теперь достаточно спокойно переносил эти перерывы. Догадывался ли он о пашем заговоре? Мне кажется, через некоторое время он все понял, но принял правила игры, решил держаться, как пи трудно это было. Он осознавал — вот он, последний шанс. Очень не хотел попасть в больницу.



Киев, аптека на ул. Владимирской Фото А. Д. Лобунца, 1990 г. Сюда приходили пациенты с рецептами выписанными доктором М. А. Булгаковым

Иван Павлович приходил почти ежедневно — они играли в шахматы, обсуждали профессиональные темы, говорили о политике. Потом выходили на прогулку, спускались обычно к весеннему Днепру. «Тася, все окончится хорошо, Михаил выздоровеет», — убеждал меня Воскресенский. Так пришло избавление — навсегда. Случай очень редкий в медицине.

> «… Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он — психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня?» {41}.

Вдумаемся в эти слова из «Морфия» и сопоставим их с поведанным. Доктор Воскресенский не был психиатром-наркологом, но он оказался им!

Той же весной Михаил Афанасьевич начал практиковать как венеролог. На дверях дома по Андреевскому спуску, 13, появилась табличка: «Доктор М. А. Булгаков. Венерические болезни». (Осенью 1989 г. мы беседовали с Е. П. Кудрявцевой, которая

знала М. Булгакова в студенческие годы и помнит это объявление. — Ю. В.). «В 1918—19 годах проживал в Киеве, начинал заниматься литературой одновременно с частной медицинской практикой», — пишет Булгаков в автобиографии. Небольшая его комната на втором этаже с балконом на улицу превратилась во врачебный кабинет. Здесь доктор Булгаков осматривал больных, вводил сальварсан.

Кстати, весь инструментарий и медикаменты удалось приобрести на средства, вырученные от продажи столового серебра. По воспоминаниям Т. Н. Лаппа, к доктору обращались преимущественно солдаты. Большие самовары непрерывно кипели. В кабинете все сияло чистотой, в безукоризненно отглаженном белом халате был и Михаил Афанасьевич. «Татьяна Николаевна, пожалуйста, воду, спирт, инструменты», — просил он жену, если приходили пациенты, неизменно называя ее в таких случаях по имени и отчеству. Как рассказала Е. А. Земская, Михаилу Афанасьевичу нередко помогал в эти часы и близкий его друг студент-медик Николай Леонидович Гладыревский, в будущем хирург в клинике А. В. Мартынова.

«Текли мысли, но их прервал звоночек…

— Пожалуйте, — сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

Андреевский спуск, 37 Здесь, указывает Л. М. Яновская, в 1913–1916 гг. снимали комнату студент-медик Михаил Булгаков и его юная жена Татьяна. Отсюда пролег их путь в прифронтовые госпитали

Фото А. Д. Лобунца, 1990 г.

— У меня сифилис, — хрипловатым голосом (это один из диагностических признаков. — Ю. В.) сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и не аккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр.

— Как?

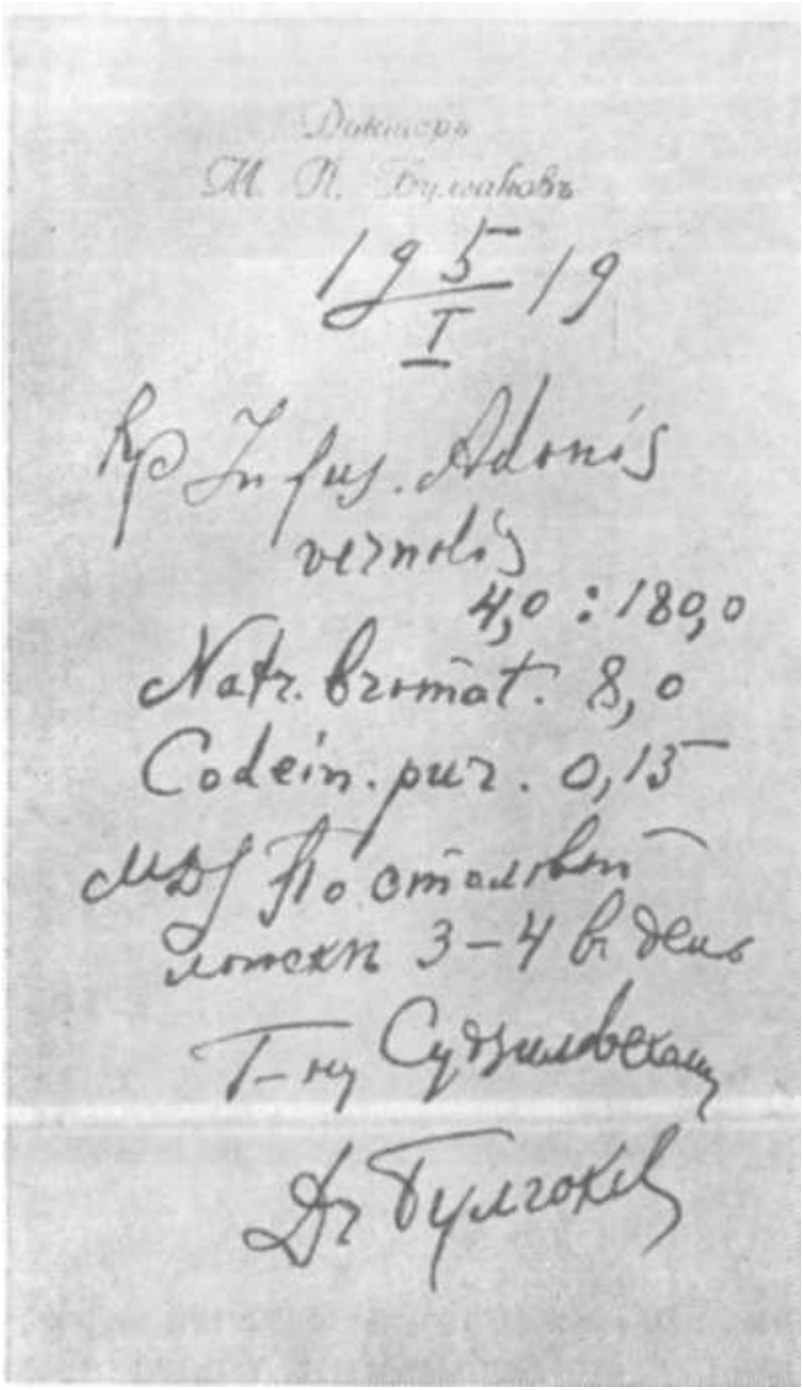
— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?..

— Я у него исповедался….. Мне не следовало лечиться… Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, по-видимому, религиозный.


Доктора
М. А. Булгакова
19 5/I 19
Rp Inf. fol. Adonis
vernal.
4,0 : 180,0
Natr. bromat. 8,0
Codein. pur. 0,13
M.D.S. По столовой
ложке 3–4 в день
Г-ну Судомойкину
Др Булгаков

Рецепт подписанный М.А.Булгаковым

…….Пропуск в тексте……..

Военный перевес был на их стороне, и поэтому центральный штаб дал указание снять все патрули и спрятать оружие» {42}.

Снять патрули и спрятать оружие… Вот та же ситуация в «Белой гвардии»: «Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по Фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли» {43}.

> «То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам — то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад… Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней» {44}.

Булгакову довелось пережить эти сорок семь дней, увидеть действия осадного корпуса сечевых стрельцов полковника Коновальца, «на милость» которого был отдан Киев. «При Петлюре все казалось нарочитым — и гайдамаки, и язык, и вся его политика… (…) От правления Петлюры, равно как и от правления гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли» — писал К. Паустовский {45}, также находившийся в эти недели в Киеве.

Наступил невиданный экономический крах, нарастала инфляция. «Из-за отсутствия топлива и смазки прекратилось движение на железных дорогах, не работают заводы, почта и газ, — признавали газеты Директории. — Стоимость денег падает, торговля превратилась в спекуляцию, и цены растут с каждым днем».

Как отмечал Булгаков, он видел в этот страшный девятнадцатый год в Киеве совершенно особенный, совершенно непереносимый фон. Во многом это объяснялось тем, что Михаил Афанасьевич был врачом.

Власти объявили о мобилизации всех способных носить оружие в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет. Врачи, естественно, также призывались в курени. По свидетельству Т. Н. Лаппа, такую повестку получил и Михаил Афанасьевич: «Я куда-то уходила, пришла, лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то, меня взяли (он пошел отметиться, его тут же и взяли)». Прихожу — он сидит на лошади. «Мы уходим за мост — приходи туда завтра»» {46}. Описание того, что пережил в эти дни доктор Яшвин (а петлюровцы пытались остановить части Красной Армии на левом берегу Днепра), во многом соответствует тому, что происходило в эти дни с Михаилом Афанасьевичем.

«Это было в 19-м году, как раз вот 1 февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

— Бежать, бежать…

… Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет… Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал — с восхищением. Потому то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, — уму не постижимо…

Итак…

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

… Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы… и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом: «С содержанием сего…»

Кратко, в переводе на русский язык:

> «С получением сего, предлагается вам в двухчасовый срок явиться в санитарное управление для получения назначения…»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании….. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон…..

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами…

У меня сердце стукнуло.

— Вы лекарь Яшвин? — спросил первый кавалерист.

— Да, я, — ответил я глухо.

— С нами поедете, — сказал первый.

— Что это значит? — спросил я, несколько оправившись.

— Саботаж, вот що, — ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, — ликаря не хочуть мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

… Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной.

… Дикая судьба дипломированного человека…

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка… Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. «Бежать», — я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба» {47}.

И все-таки Булгакову удалось бежать. «Потом дома слышу — сине-жупанники отходят, — рассказывала Татьяна Николаевна. — В час ночи звонок. Мы с Варей побежали, открываем: стоит весь бледный… Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны. Он отстал, кинулся за столб — и его не заметили. После этого заболел, не мог вставать. Приходил часто доктор Иван Павлович Воскресенский. Была температура высокая. Наверно, это было что-то нервное. Но его не ранили, это точно» {48}.

И снова Киев тех недель и месяцев глазами очевидца. В Военно-медицинском музее в Ленинграде хранятся записи работавшего в то время в госпитале на Печерске врача Александра Ивановича Ермоленко, в будущем подполковника медицинской службы, профессора кафедры госпитальной хирургии Ленинградского санитарно-гигиенического института. К его воспоминаниям обращается и М. О. Чудакова. Вот несколько фрагментов, выписанных нами.

«24 ноября 1918 года. Седьмой день гремят орудия гетманских и петлюровских войск…

13 декабря. Призыв врачей 1889—98 гг. рождения.

14 декабря. Всюду чувствуется страшное напряжение. Не щадят и медсестер Красного Креста. На Евбазе масса трупов… Все сосредоточены и молчаливы.

С 18 января 1919 года мобилизуются врачи санитарной

управой. Врачи просятся на комиссию. Никто не хочет идти в военные части. Приват-доцент С. А. Тимофеев (к его воспоминаниям о Н. М. Волковиче мы обращались; в период гражданской войны под его руководством работал А. И. Ермоленко. — Ю. В.) устранен из госпиталя как русофил.

27 января. Канун большевизма. Санитарная управа уехала еще вчера. На Крещатике только и слышно: уехать.

3 февраля. Сегодня ночью бандиты вновь пытались захватить город в свои руки.

5 февраля. Уж скорее большевики заняли бы Киев»..[3]

Где же мог находиться в эти дни врач М. Булгаков? В.А. Антонов-Овсеенко вспоминал, что 31 января за Броварами, на юг от станции Бобрик, петлюровцы начали наступление силами конного полка и четырех пехотных полков, поддержанных артиллерией и даже одним самолетом. Однако 1-я Украинская Советская дивизия вынудила их панически отступать к Гоголеву. Сосредоточившись у Дымерки и Бровaров, в ночь на 1 февраля они предприняли вторую атаку. Операциями руководил сам Петлюра, в бой были брошены лучшие части сечевиков, которым было приказано держаться до последнего. Но и они были разгромлены и, оставляя раненых и оружие, отступали к Киеву.

Можно полагать, что Михаила Афанасьевича мобилизовали в конный полк. В обстановке поспешного отхода он, в конце концов, сумел покинуть строй. Чтобы добраться домой, надо было пройти за эти ночные часы двадцать-тридцать километров.

К этому времени относятся и слухи о фиолетовых лучах, которыми якобы обладают петлюровцы. По мнению исследователей творчества М. А. Булгакова, и эти сообщения, вызвавшие много разговоров, возможно, отозвались впоследствии в формуле «красного луча» Персикова.

«Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, — писал К. Паустовский, — и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта.

В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи… В ночь «фиолетового луча» в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, и единственное, что было слышно, — это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы» {49}.

6 февраля утром в Киев вошли части Красной Армии. В тот

же день состоялось заседание Совета рабочих депутатов. Председательствовал А. С. Бубнов (это имя будет впоследствии немало значить для автора «Дней Турбиных»). Но не было спокойствия в городе. Уже на второй день после бегства Директории атаман Зеленый требует, чтобы Совет рабочих депутатов «разделил власть с ним», начав позже весьма мощными силами банд открытые боевые действия. После выселения жильцов из 37 «стратегических домов» распускаются слухи о реквизициях и дальнейших переселениях. В апреле вспыхивает мятеж банд на Куреневке. Бои идут па набережной Днепра, совсем близко от Андреевского спуска, на Юрковской улице, в районе Житнего рынка. Банда учиняет еврейский погром…

«21 февраля. Опять мобилизация врачей…

11 апреля. Со стороны Куреневки движутся банды Тютюнника и Крука.

29 апреля. Получил повестку в санотдел Губвоенкома ехать в Москву» — таковы дальнейшие записи А. И. Ермоленко.

Эти строки из дневника врача буквально совпадают с официальным сообщением, опубликованным в разделе хроники в журнале «Врачебное дело» (1919 г.): «В Киеве и губернии согласно приказу военно-санитарного управления с 15 апреля производится регистрация и мобилизация врачей. Кроме калек и одержимых тяжкими болезнями, никто не освобождается от мобилизации».

О положении врачей говорит и такое заявление, опубликованное во «Врачебном деле» в январе 1919 г.: «Правление профсоюза врачей в Харькове вошло с ходатайством об освобождении врачей и их семей от реквизиций, обысков и арестов, указав, что врачи, неся как военные, так и гражданские повинности, оказывая всевозможную бесплатную медицинскую помощь, борясь с эпидемическими заболеваниями, только лишь при условии защиты их личности, их семей и имущества могут спокойно выполнять свою напряженную работу».

Отношение Булгакова к новой мобилизации, так же как и у многих его коллег, было отрицательным, и он избежал ее, отмечает М. О. Чудакова, надо думать, «косвенным путем». Хотя, очевидно, Михаил Афанасьевич возобновил свою практику, она была небольшой. А обстановка вокруг Киева усложнялась. Все чаще появляются банды. Места их формирования — Тараща, Белая Церковь, Золотоноша, Кагарлык, Чернобыль, Горностайполь, Триполье. Некоторые банды (Зеленого, Струка, Тютюнника, Соколовского, Григорьева и других) достигали по численности нескольких тысяч человек и были хорошо вооружены.

«Жестокость и дикость, которые я видел после отступления банды из Куреневки, заставили меня содрогнуться, — писал К. Е. Ворошилов в газете «ВісТі» от 13 апреля 1919 г. — К этим гадам-провокаторам, которые устроили кровавую бойню над ни в чем не повинными людьми, наш суд будет самым жестоким, мы должны будем стереть их с лица земли…» {50}. Вряд ли эта терминология, в любом контексте, импонировала врачу Булгакову.

Взрывы мостов лазутчиками Зеленого и Струка, бандитские грабежи на дорогах, что почти прекратило подвоз продуктов на рынки, усиление диверсий в городе и одновременно «красный террор», притеснение буржуазных элементов. «На одно насилие служило ответом такое же насилие, — писал о том времени В. Г. Короленко, — и во многих умах рождалось предчувствие, что будет, когда маятник опять качнется в другую сторону».

15 июня 1919 г. объявляется мобилизация комсомольцев, вскоре создается Киевский укрепленный район. Булгаковы в эти дни, очевидно, покинули город. М. О. Чудакова приводит воспоминания Т. Н. Лаппа: «Летом одно время ушли в лес… не помню уже, от кого ушли….. Одетые спали, на сене. Варя, Коля и Ваня, кажется, с нами были. Потом вернулись пешком в Киев» {51}.

В начале июня войска Деникина с северо-запада, а Петлюры — с юго-запада форсировали наступление на Киев. Одновременно угрозу для города представляли банды Григорьева, Зеленого, Ангела, Мордалевича, быстро перемещавшиеся из одного уезда в другой. В августе положение еще более обострилось. Со стороны Обухова наступали петлюровские войска. 30 августа они заняли Демиевку и прилежащие районы города, а на следующий день их вытеснили деникинцы.

В городе устанавливается режим деникинской военной диктатуры. Действия органов власти не минуют и врачей. Из архивных документов следует, что мобилизация врачей в войска Добровольческой армии была объявлена в Киеве 27 октября 1919 г. Согласно распоряжению помощника главноначальствующего Киевской области по гражданской части барона Гревеница, врачи, уклонявшиеся от сотрудничества с деникинской администрацией, подлежали немедленному увольнению и наказанию.

«Когда белые были в Киеве, в первый раз повестку Михаилу не присылали, — вспоминала Т. Н. Лаппа (добавим, однако, что в журнале «Врачебное дело» за июнь 1919 г. мы обнаружили извещение о мобилизации врачей в Добрармию. Возможно, до Булгакова не дошла очередь… — Ю. В.). — Первый раз их встречали хлебом-солью, но они быстро начали расстреливать, и народ охладел. Михаил занимался частной практикой» {52}. А

вскоре положение деникинских властей в Киеве усложнилось. В конце сентября 1919 г. левобережная группа Красной Армии неожиданно предприняла атаку на город. Красным дивизиям удалось дойти до Николаевского сквера, где деникинцы оказали сильное сопротивление, стреляя, можно полагать, и из здания 1-й гимназии. В эти же часы к Киеву подошли бронепароходы большевиков «Геройский», «Грозящий» и «Гневный», открывшие шквальный огонь. Уличные бои продолжались в течение нескольких дней.

«Для пополнения действующих частей» 27 октября главноначальствующим был объявлен приказ о призыве на военную службу, в том числе кадровых военных врачей, состоящих за штатом, врачей запаса, ополчения и белобилетников», — пишет М. О. Чудакова в «Жизнеописании Михаила Булгакова». Основываясь на воспоминаниях Т. Н. Лаппа, она воссоздает дальнейшие перемены в судьбе Михаила Афанасьевича: «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ в военный госпиталь… В Киеве он в это время уже мечтал печататься. Добровольцем он совсем по собирался идти никуда…

В Киеве я жила без него недолго, меньше месяца. Получила от него телеграмму из Владикавказа… Поехала….. Во Владикавказе прожили недолго — Булгакова послали в Грозный, в перевязочный отряд. Уезжал утром, на ночь приезжал домой. Однажды попал в окружение, но вырвался как-то и все равно пришел ночевать… Потом жили в Беслане — не доезжая Владикавказа. Все время жили в поезде — в теплушке или купе. Вообще там ничего не было, кроме арбузов. Мы целыми днями ели арбузы. Потом вернулись во Владикавказ — в тот же госпиталь, откуда его посылали» {53}.

Мы мало знаем об этих месяцах в дивизиях, которые вскоре начинают отступать. Деникинцы с трудом удерживают Петровск-Порт, Грозный, Владикавказ, Дербент, они ведут сражение на два фронта — против Красной Армии и горских партизан. Еще недавно огромная, Добровольческая армия на Кавказе уменьшается до численности корпуса.

Врачебные впечатления Булгакова в те дни, представленные автором в первой публикации (1922 г.), возможно, отразились в рассказе «Необыкновенные приключения доктора» как фрагменты из записной книжки врача. «Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка, забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль… Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками и чеченцы…

Мороз восемнадцать градусов. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой…

Не помню, как я заснул и как я выскочил… Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд…..

До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых…

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом…

Тень фельдшера Голендрюка (в предыдущих разделах описывается его дезертирство. — Ю. В.) встала передо мной… Но куда, к черту! Я интеллигент» {54}.

Как полагает Л. М. Яновская, Булгаков пишет об истинной катастрофе воинского эшелона на Владикавказской железной дороге в февральскую ночь 1920 г., когда он оказывал помощь пострадавшим как врач.

Бесспорно, роль врачей в этом нарастающем обвале белого движения была жалкой и вместе с тем невероятно трудной, как бы ни относились они к чисто профессиональным обязанностям — оказывать помощь раненым в этих тающих, истекающих кровью полках. Падая с ног от усталости, Булгаков перевязывал — таков был его долг. Но одновременно перед его взором проходили виселицы с невинными людьми, ужасы, творимые деникинской контрразведкой и регулярными частями, перед ним все отчетливее вырисовывалось полное моральное опустошение тех, кто вел сотни тысяч людей к смерти. Воспоминания о «непротивлении злу» будут еще долго бередить его сердце…

В этот период Булгаков начинает печататься. Одна из предположительных первых публикаций «Грядущие перспективы» в газете «Грозный» относится к ноябрю 1919 г. В 1988 г. М. О. Чудакова полностью привела ее в своих работах. Статья написана мрачными красками, с суровой оценкой событий. Характерны слова: «Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова.

Платить за безумие мартовских дней, за безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станками для печатания денег… за все!»

Это слова человека, находившегося «по ту сторону баррикады». Но вдумаемся в их суть, в их пророческое звучание. Неминуемые беды и трудности Родины вызывают у автора чувство глубокой грусти, он не питает иллюзий, что будущее

страны сложится счастливо. Ведь как естественник и врач, как патриот и гражданин, Булгаков особенно хорошо понимает, что братоубийственная война пагубно скажется на жизни народа. Характерно, что в дневниковой записи 1968 г. (она увидела свет в газете «Известия» в феврале 1990 г.) писатель Федор Абрамов подчеркнет примерно то же самое: «Убийство лучших, наиболее ярких людей с той и с другой стороны. Гражданская война как сумасшествие нации». Одним из провидцев, призывавших к разуму в годы страстей и борений, был доктор Булгаков.

И еще след тех месяцев — в романе Юрия Слезкина «Столовая гора». Как полагают исследователи творчества Булгакова, в образе Алексея Васильевича. Слезкин описывает черты Михаила Афанасьевича.

Кстати, именно М. Булгаков как врач был вызван к Ю. Слезкину, заболевшему сыпным тифом.

> «Алексей Васильевич идет медленно. Он опирается на палку — неуверенно, не сгибая передвигает ноги. Он еще не оправился после сыпного тифа, продержавшего его в кровати полтора месяца. За это время многое переменилось. Он слег в кровать сотрудником большой газеты, своего рода «Русского слова» всего Северного Кавказа, охраняемого генералом Эрдели…
>
> Алексей Васильевич не мог не согласиться. Он устал, хотел отдохнуть, собраться с мыслями после долгих скитаний, после боевой обстановки, после походных лазаретов, сыпных бараков, бессонных ночей, проведенных среди искалеченных, изуродованных, отравленных людей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, перелистать свои записные книжки, собрать свою душу, оставленную по кусочкам то там, то здесь — в холоде, голоде, нестерпимой боли никому не нужных страданий. Он слишком много видел, чтобы чему-нибудь верить…
>
> Потом он слег и пролежал полтора месяца. В бреду ему казалось, что его ловят, ведут в бой, режут на куски, отправляют в лазарет, сшивают и снова ведут в бой…» {55}.

В романе Ю. Слезкина есть упоминание о том, что герой его перенес сыпной тиф. Действительно, отступающие армии были охвачены тифозной эпидемией. Тяжелой формой возвратного тифа заболел и Булгаков. Было бы странно, если бы инфекция, бушевавшая в завшивленных лазаретах, потрепанных палатках перевязочных пунктов, миновала его.

Когда он приехал в горячке из Кисловодска, вспоминает Т. Н. Лаппа, на его одежде были насекомые. Стало ясно, что это тиф…

— Он лежал в беспамятстве в нашей комнате во Владикавказе, — рассказывала Татьяна Николаевна, — но и в этом его состоянии Михаила Афанасьевича не оставляли в покое. Фактически насильно его пытались вывезти с собой — как доктор он оставался очень нужным. Командование полагало — он симулирует, хочет увильнуть… Сначала к нам на квартиру явились с подводой солдаты, через несколько часов команда унтер-офицеров, наконец, кто-то еще из госпиталя. Но я никого не впустила в комнату, каждый раз твердо стоя на своем: «Только через мой труп…» Я понимала, что в дороге Михаил погибнет…

Хаос эвакуации нарастал, и этот визит был последним. Белые части покинули город. С трудом я нашла старичка-врача, которого также чисто случайно не захлестнула эта волна, и упросила прийти к коллеге. Он-то и вылечил Михаила Афанасьевича, поддержал его какими-то уколами, по-моему, в основном камфарой во время кризиса. (Вспомним большие дозы камфары, назначенные А. Турбину. — Ю. В.). Булгаков был так слаб, что потом более двух недель, с моей помощью, учился вновь ходить на костылях, а потом ходил с палочкой…

Восходила его литературная звезда, и к медицине как профессии он больше не возвратился. Да, талант его страстно требовал самовыражения, и выбор, давший миру выдающегося писателя, был сделан. Но разве случайным и напрасным оказался четырехлетний путь после получения врачебного диплома? Ведь именно эти впечатления, этот тяжкий крестный путь в определенной мере предопределили высшее его предназначение — запечатлеть, как никому это не было дано, одну из драматичных глав истории XX века. Вот почему есть основание сказать: врачебная одиссея Михаила Булгакова в трудное и переломное время, вместившая Черновицы и Никольское, Вязьму и Киев, Грозный и Владикавказ, — это пролог его писательской судьбы.

«В 1919 году окончательно бросил занятие медициной», — пишет Булгаков в автобиографии. Более того, некоторое время он считал целесообразным скрывать свое врачебное образование. Но став профессиональным писателем, отмечает кандидат медицинских наук Исанна Лихтенштейн, Булгаков оставался медиком по своему мироощущению и, главное, имел четкое представление о том, каким должен быть врач.

Конечно, жизнь его заключалась в художественном творчестве. «Михаил Афанасьевич поразил меня своим ясным талантливым умом, глубокой внутренней принципиальностью и

подлинной умной человечностью» — так пишет А. А. Фадеев о встрече с Булгаковым. Думается, эти слова можно отнести к Булгакову и как к врачу. Не занимаясь формально медициной, он проявлял качества прекрасного клинициста, наделенного не только знаниями и чувством милосердия, но и удивительной интуицией.

О том, что он умел лечить и делал это с удовольствием, вспоминает С. А. Ермолинский. «Как и прежде, когда я заболевал, он спешил ко мне: любил лечить. Болезни у меня по тем молодым годам были несложные — простуда, бронхит. Тем не менее у него был вид строгий, озабоченный, в руках чемоданчик, из которого он извлекал спиртовку, градусник, банки. Затем усаживал меня, поворачивал спиной, выстукивал согнутым пальцем, заставлял раскрыть рот и сказать «а», ставил градусник, протерев его спиртом, и говорил:

— Имей в виду, самая подлая болезнь — почки. Она подкрадывается, как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Поэтому… я бы заменил паспорта анализом мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке.

Я считал его очень мнительным. Он любил аптеки. До сих пор на Кропоткинской стоит аптека, в которую он часто хаживал. Поднявшись на второй этаж, отворив провинциально звякающую дверь, он входил туда, и его встречали как хорошо знакомого посетителя. Он закупал лекарства обстоятельно, вдумчиво. Любил это занятие» {56}.

Любил это занятие… Нельзя тут не добавить, что Булгаков прекрасно знал его тонкости, что школа земского врача жила в нем всегда… Если бы ему было суждено продолжить свой путь в медицине, по интуиции, чутью, безошибочности догадки Михаил Афанасьевич, бесспорно, принадлежал бы к выдающимся специалистам. Об атом говорят многие факты. Вот хроника нескольких тревожных дней в доме Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых, когда 13 декабря 1936 г. тяжело заболел Сережа, младший сын Елены Сергеевны. Врач-педиатр, приглашенный в то же утро (он, очевидно, лечил Сережу всегда), установил, что у мальчика острая ангина, и назначил лечение. Назначения скрупулезно выполнялись, а больному становилось хуже. Никто в доме не находил себе места… И вот ночью 15 декабря, еще раз осмотрев Сервису, проанализировав симптоматику болезни, Михаил Афанасьевич пришел к выводу, что это скарлатина!

Вскоре снова пришел педиатр. Булгаков, не практикующий врач, оказался прав, меры лечения были сразу же изменены, и это сказалось положительно. Конечно, болезнь протекала необычно,

скорее всего, без сыпи и классического «скарлатинозного носогубного треугольника». Но по каким-то неуловимым клиническим нюансам Михаил Афанасьевич распознал истинный характер заболевания, хотя с детскими инфекционными болезнями он сталкивался около двадцати лет назад, в Никольском, а потом в Вязьме. Впрочем, вспомним, что доктор Бомгард читал тогда, в первую голову, про дифтерит и скарлатину…

«Пусть лебедянское солнце над тобой будет как подсолнух, а подсолнух (если есть в Лебедяни!) как солнце. Твой М.», — писал Булгаков Елене Сергеевне в мае 1938 г. Лебедянское солнце заслуживает в этом исследовании отдельного разговора.

В эти жаркие дни Михаил Афанасьевич, по сути, впервые расстался с Е. С. Булгаковой со времени их совместной жизни. Разумеется, в передышке, в смене обстановки очень нуждался и сам писатель, но именно в это лето он день и ночь работал над главами «Мастера и Маргариты».

«Отдых Елене Сергеевне был крайне необходим, — пишут В. И. Лосев и В. В. Петелин в комментарии к письмам Михаила Афанасьевича, относящихся к этому периоду (Михаил Булгаков. Письма. Жизнеописание в документах. — М., 1989). — Жизнь в условиях постоянных потрясений привела и ее к морально-психологическому кризису. Головные боли, бессонница стали постоянными. Была она и единственной твердой опорой для Булгакова в его чрезвычайно напряженной жизни. Булгаков как врач и превосходный психолог прекрасно понимал ее состояние и решил немедленно отправить ее с сыном на воздух, в относительно спокойное место, подальше от той обстановки, которая и явилась причиной ее нервного переутомления. При этом он запретил ей принимать какие-либо лекарства».

Булгаков написал в Лебедянь более сорока писем. Часто приходили от него и телеграммы. Само содержание этих сохраненных Еленой Сергеевной листков напоминает о почти исчезнувшей в наши дни благотворной взаимной тональности в переписке двух близких людей. Многие из этих чрезвычайно интересных посланий содержат и врачебные наставления.

> «… Умоляю, отдыхай, — пишет Булгаков 27 мая. — Не думай ни о театрах, ни о Немировиче, ни о драматургах, ничего не читай, кроме засаленных и истрепанных переводных романов (а может, в Лебедяни и их нет!)».

«Три раза купаться тебе нельзя. Сиди в тени…» — пишет он в письме от 14 июня (ранее Михаил Афанасьевич, как указывают В.

И. Лосев и В. В. Петелин, просил Сергея написать ему по секрету, как, по его мнению, выздоравливает Елена Сергеевна). 29 июля Булгаков вновь напоминает: «… Не ходи по солнцу много! Серьезно говорю. Поплатишься за это, я боюсь. Сиди в тени!»

Казалось бы, перед нами не такие уж существенные рекомендации. Но Михаил Афанасьевич не зря акцентирует эти моменты. Он тонко учитывает все оттенки состояния Елены Сергеевны. Не всякий врач обращается к конкретным гигиеническим предписаниям, а лишь опытный практик, сочетающий знания и предвидение.

Разумеется, к здоровью жены Булгаков относился особенно бережно. Но без преувеличения можно сказать, что необычайно внимательное отношение к людям — вообще его профессиональная черта. В данном же случае советы Михаила Афанасьевича явились своего рода рецептами.

«Где остановился Миша? Если у тебя, то… лечись, лечись, лечись. Пусть Миша впрыскивает тебе мышьяк….. Что это за вливание ты хотел делать? Не делай, ради бога, никаких вливаний, не посоветовавшись с дядьками и Мишей». Это письмо Надежды Афанасьевны Булгаковой-Земской из Киева в Москву своему мужу Андрею Михайловичу Земскому, датированное 27 сентября 1921 г., проливает свет на еще один медицинский эпизод в жизни Булгакова, когда формально он уже снял докторский халат. Михаил Афанасьевич был особенно дружен с сестрой Надей и ее мужем, филологом А. М. Земским. А. Земской болел в эти голодные и холодные месяцы малярией и малокровием, и Михаил Афанасьевич, приехавший в Москву, после пребывания в студенческом общежитии вскоре перебрался к нему в комнату в далекой от покоя, сотрясаемой пьяными дебошами квартире № 50 (мы упомянем о ней дальше, касаясь рассказа «Самогонное озеро». — Ю. В.). Жилье Андрея Михайловича являлось как бы островком в этом озере, но все же это была крыша над головой. Лечебные меры, предпринятые Булгаковым (в дни, когда он в поисках пропитания каждый день исхаживал всю Москву!), привели к определенному улучшению в состоянии А. М. Земского, и он смог уехать к Надежде Афанасьевне в Киев.

Но вдумаемся в строки двух писем Михаила Афанасьевича сестре, набросанные им среди хлопот в трудное время неустроенности.

> «У меня еще остается маленькая тень надежды, что ты, прежде чем решиться па ужасы обратного переселения, прикинешь состояние здоровья Андрея, —

пишет Булгаков 9 ноября 1921 г. из Москвы в Киев. — Посмотри на него внимательно. Говорю это тебе как врач» (разрядка моя. — Ю. В.).

«Позволь мне посоветовать тебе одно: прежде чем рискнуть на возвращение и питание картошкой, внимательно глянуть на Андрея, — пишет Михаил Афанасьевич в тот же день в следующем письме. — Я глубоко убежден, что если ты как следует осмотришь его и взвесишь состояние его здоровья, то не тронешься с места.

Ехать ему нельзя. Нельзя. Вот все, что я считаю врачебным долгом тебе написать».

Какая последовательная, императивная врачебная позиция, какое настойчивое желание предотвратить обострение болезни.

Знаменательно, что даже в суматошной обстановке «Гудка» сотоварищи Булгакова по перу чувствовали его врачебное естество. Так, в строках Валентина Катаева из рассказа «Зимой» (1923 г.) — «Он… начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора» — явно обрисован Михаил Афанасьевич. Впрочем, это лишь силуэт, также очерченный быстрой рукой. Очевидно, куда существеннее, что, не афишируя свою былую специальность, Булгаков оставался Врачом.

Пожалуй, Михаил Афанасьевич обладал совершенно поразительной врачебной проницательностью, неотделимой, конечно, от силы его психологического видения особенностей людей и сущности обстоятельств. В работе «М. Булгаков и М. Волошин», где описывается пребывание писателя в Коктебеле летом 1925 г., Вл. Купченко и З. Давыдов касаются случая, когда Булгаков стал давать каждому из присутствующих на даче М. Волошина характеристику и некоторым «говорил прямо изумительные вещи». Так, М. А. Пазухиной он сказал, что лет десять назад она была другой и причина этого — срыв в музыкальной карьере. Сын Марии Александровны, А. В. Пазухин, так комментировал высказывание М. А. Булгакова: «После трех-четырех лет обучения в Московской консерватории мама заболела чем-то вроде мышечного ревматизма рук. Ей пришлось оставить консерваторию и несколько лет вообще не играть. Только года два до поездки в Коктебель она начала понемногу играть дома, для себя. В Коктебеле ей помог климат, море, сакские лечебные грязи, — и вот она вновь заиграла с блеском». По каким-то тонким нюансам Булгаков удивительно точно раскрыл анамнез болезни и жизни М. А. Пазухиной.

Характерна, по словам Л. Е. Белозерской, приводимым Вл. Купченко и З. Давыдовым, и такая коктебельская история. Здесь отдыхала писательница С. З. Федорченко. «В Коктебеле был весьма ограниченный выбор продуктов: «из чего сделать обед» — вечная проблема. Фруктов и овощей — изобилие, из остального же — только баранина и рис. Федорченко капризничает, ничего не хочет есть. Булгаков рекомендован ей как врач. Предварительно осведомившись на кухне об очередном меню, он изучал пульс писательницы и давал соответствующие рекомендации: «Я советую на сегодня к завтраку… К обеду… Ну, а на ужин, пожалуй…» Кухня ему в ножки кланялась…» Федорченко «стала выздоравливать».

«Вечером у нас — Ильф с женой, Петров с женой…» В дневниковых записях Е. С. Булгаковой несколько раз упоминается И. А. Ильф. Пишет она и о его безвременной смерти от туберкулеза. Михаил Афанасьевич относился к авторам «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» с симпатией и нежностью, несомненно, стараясь повлиять на состояние Ильфа и как доктор, и как психолог. Всякий раз Илья Арнольдович уходил из булгаковского дома приободренным и успокоившимся. Даже атмосфера скромного застолья и теплое внимание Михаила Афанасьевича к нему служили своеобразным психотерапевтическим лекарством для Ильфа. Это происходило во времена, когда, как вспоминает В. Я. Виленкин, в квартире в Нащокинском переулке нередко звучала горько-шутливая фраза Михаила Афанасьевича, произведения которого не печатали и не ставили: «Ничего, я люстру продам!»

14 марта 1935 г. Булгаков писал одному из близких своих друзей, Павлу Сергеевичу Попову (будущему автору первой биографии писателя), интересовавшемуся мнением Михаила Афанасьевича по поводу целесообразности приема одного из новых лекарственных средств того времени — гравидана: «Гравидан, душа Павел, тебе не нужен. Память твоя хороша…» Между тем этот стимулятор, предложенный основоположником гравиданотерапии А. А. Замковым, стал в 30-х годах, пожалуй, сенсацией — он применялся при ревматизме, туберкулезе, шизофрении и воспринимался людьми как панацея. Булгаков, бесспорно, был знаком с научными и газетными публикациями о гравидане, однако справедливо полагал, что у Попова нет нужды в этом весьма сильном средстве. Будущее подтвердило его врачебную правоту.

О трогательной истории пишет в воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская: «Был такой случай: нам сообщили, что у пашей приятельницы Елены Павловны Лансберг наступили роды

и проходят они очень тяжело, она страшно мучается. Мака (так называли Булгакова домашние. — Ю. В.) мгновенно, не говоря ни слова, направился в родильный дом». Дальше вспоминает сама Елена Павловна спустя много лет, уже тогда, когда Михаила Афанасьевича не было на свете: «Он появился совершенно неожиданно, был особенно ласков и так старался меня успокоить, что я должна была успокоиться хотя бы из чувства простой благодарности. Но без всяких шуток: он вытащил меня из полосы черного мрака и дал мне силы переносить дальнейшие страдания. Было что-то гипнотизирующее в его успокоительных словах, и потому всю жизнь я помню, как он помог мне в такие тяжелые дни…» {57}.

Но быть может, наиболее драматично врачебное начало Булгакова, его понимание профессионального долга проявилось в трагических обстоятельствах, когда он, военврач белой армии, попал в плен к противоборствующей стороне. Хотя перед нами лишь версия, она правдоподобна. «Существует устное свидетельство Е. Ф. Никитиной о следующем эпизоде, — пишет М. О. Чудакова в «Жизнеописании Михаила Булгакова». — На одном из Никитинских субботников Булгаков, увидев среди присутствующих некоего человека, на глазах у всех бросился обнимать его. Обнявшись, они долго стояли молча. Никто не знал, в чем дело. Позднее Никитина узнала от Б. Е. Этингофа, что именно связало его с Булгаковым. Будто бы в момент прорыва Южного фронта красными войсками была взята в плен большая группа офицеров; среди них были и врачи. Этингоф был комиссаром в этих частях. Он обратился к врачам:

— Господа, мы несем потери от тифа. Вы будете нас лечить?

Предложение было высказано в такой ситуации, когда всех пленных ожидал расстрел. И будто бы Булгаков ответил, что он находится в безвыходном положении и он в первую очередь — врач, во вторую — офицер…» {58}.

И еще один жизненный факт, раскрывающий не только прекрасные врачебные черты Михаила Афанасьевича, но и свойственное ему гражданское бесстрашие, чувство долга. В тридцатых годах с просьбой оценить его пьесы «Дом» и «Бред» к Булгакову обратился начинающий драматург Альфред Николаевич Верв. Всегда объективный в своих литературных высказываниях, Булгаков весьма положительно отозвался о них. Пока произведения А. Верва не разысканы, но интерес представляют два письма Михаила Афанасьевича, касающиеся судьбы человека, с которым он был знаком лишь заочно.

Письма хранятся в ИРЛИ и готовятся к публикации. На вторых Булгаковских чтениях в Киеве (16–18 марта 1990 г.) о них

рассказала ленинградская исследовательница К. Е. Богословская, изучившая эти документы по предложению Я. С. Лурье.

С согласия К. Е. Богословской, остановимся на содержании этих писем. А. Верв длительное время страдал слуховыми галлюцинациями. Болезнь очень тяготила его, причем Булгаков знал об этом. Высказав свои соображения по поводу пьес А. Верва, Михаил Афанасьевич посвящает глубокие, отнюдь не формальные строки и недугу, так угнетавшему Альфреда Николаевича, выражая уверенность, что эта «чертовщина» может и непременно должна пройти. Булгаковские фразы звучат так нежно и деликатно, что, пожалуй, способны не просто утешить, а и дать психологический толчок в преодолении навязчивого состояния, мучившего автора присланных пьес. Письмо датировано 1933-м годом, и необходимо подчеркнуть, что оно было отправлено по месту заключения или ссылки А. Н. Верва — в Орел. Возможно, Верв находился в печально известном Орловском «централе», где концентрировались лица, осужденные по политическим статьям. Понимая, что написанное им почти наверняка будет прочитано посторонними и имя его вновь взято на заметку, Михаил Афанасьевич адресовал свой ответ «неблагонадежному элементу». В письме приводится обратный адрес Булгакова по Большой Пироговской. В том же году, после кончины А. Верва в Орле, Булгаков написал письмо со словами глубокого сочувствия его матери в Ленинград. Он помог еще нескольким заключенным.

Нам недостаточно известен круг научного чтения Булгакова в студенческие годы. Но есть доказательства, что в дни, когда он засиживался долгими часами в публичной библиотеке вблизи Царской площади, среди выписанных им книг были и педагогические сочинения Н. И. Пирогова. Думается, к этому человеку он проявлял интерес и великий хирург являлся для Михаила Афанасьевича образцом врача.

Вот отрывок из воспоминаний Екатерины Михайловны Шереметьевой, работавшей в 30-х годах в Красном театре в Ленинграде. Шла осень 1931 г. Михаил Афанасьевич вновь переживал критический период — даже «Дни Турбиных» были исключены из репертуара МХАТа. В театральных кругах знали, что происходит вокруг писателя. Тем более импонировала ему смелая позиция театра в Ленинграде, обратившегося к нему за пьесой.

— Вы ясно представляете себе, что такое Булгаков? — спросил он в первые минуты встречи с Е. М. Шереметьевой. Но обратимся к публикации ее мемуаров.

«Неожиданно для меня выяснилось, — пишет Е. М. Шереметьева, — что Михаил Афанасьевич — врач, а так как я два

года училась на медицинском факультете….. то опять оказались какие-то интересные обоим воспоминания. Учились мы в разные годы (я уже при Советской власти), но оба продолжали любить медицину и интересоваться ею. Вспоминали и о чем-то спорили…..

П. А. Булгаков, Париж 1929 г.

«Нередко у нас возникали споры о женском равноправии, — вспоминает Е. М. Шереметьева дальнейшие беседы. — Я была восторженной защитницей его. Михаил Афанасьевич сначала иронически, потом тревожно рисовал видевшиеся ему опасности.

— Женщине надлежит быть женщиной, — говорил он. — Ведь если потерять материнство — начало всех начал, которому нет цены… — И вспоминал высказывания Пирогова.

Лет пять назад, работая над материалом о воспитании детей, я нашла эти слова Пирогова: «Пусть женщины поймут, что они, ухаживая за колыбелью ребенка, учреждая игры его детства, научая его лепетать, делаются главными зодчими общества. Краеугольный камень кладется их руками» — и снова и снова вспоминала Булгакова».

Михаил Афанасьевич прекрасно ориентировался в достижениях медицинской науки, и в следующем разделе будет дан специальный анализ этих влияний в его творчестве. Пока же коснемся чисто личных моментов. Особенно ярко эти интересы М. Булгакова предстают в письмах писателя брату, видному ученому-бактериологу Николаю Афанасьевичу Булгакову.

«Дорогой Коля, ты спрашиваешь, интересует ли меня твоя работа? Чрезвычайно интересует! Я получил конспект «Bacterium prodigiosum» (чудесная палочка. — Ю. В.), — пишет Михаил Афанасьевич 21 февраля 1930 г. — Я рад и горжусь тем, что в самых трудных условиях жизни ты выбился на дорогу… Меня интересует не только эта работа, но и то, что ты будешь делать в дальнейшем, и очень ты обрадуешь меня, если будешь присылать все, что выйдет у тебя. Поверь, что никто из твоих знакомых или родных не отнесется более внимательно, чем я, к каждой строчке, сочиненной тобой.» Конспект первой научной работы брата сохранился в архиве М. Булгакова.

13 марта 1932 г. М. Булгаков пишет в Париж: «Учение о бактериофаге» на русском языке я также получил и прочитал. Рад всякому твоему успеху, желаю тебе сил!» А 4 октября 1933 г. Михаил Афанасьевич пишет брату: «Прошу тебя, милый Николай, немедленно по получении этого письма передать профессору д'Эрел(л)ь (именно Ф. д'Эрелль предложил термин «бактериофагия». — Ю. В.), что я чрезвычайно рад буду видеть его у себя……. и вообще буду очень доволен, если чем-нибудь буду полезен… ему в Москве. Мне будет приятно повидать твоего шефа, с которым ты связан научной работой, услышать что-нибудь о тебе».

Встреча эта не состоялась. «К сожалению, профессор д'Эрел(л)ь у меня не был, и я не знал даже, что он в Москве», —

пишет М. Булгаков брату 14 апреля 1935 г. И все-таки можно представить эту беседу между писателем-врачом (свободно, к тому же, владеющим французским языком) и ученым — создателем бактериофагов.

Но невольно возникает вопрос: почему в годы гонений и бедствий, в блокаде безысходности Булгаков так и не вернулся к врачеванию, к стетоскопу и скальпелю несмотря па то, что первоначальная профессия прокормила бы его? Почему он так и не стал врачом-писателем? Высказываются различные предположения. Наверное, исчерпывающе об этом сказал сам Михаил Афанасьевич в дневниковой записи 1923 г. (эти строки найдены и опубликованы К. Н. Кириленко и Г. С. Файманом в 1989 г.): «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого».

«Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-тапк». И, наверное, знаменательно, что в Киеве, наряду с мемориальной доской в честь Мастера на старинном Андреевском спуске, где он жил, и улицей Михаила Булгакова в новом районе города, имеется и своеобразный знак времени, посвященный ему как врачу. Это образ прошлого в Музее медицины Украинской ССР — зал, посвященный земской медицине. Над ребенком, задыхающимся от дифтерии, в глубоком раздумье склонился врач. Отстоит ли он жизнь? Мы не знаем этого. Но, словно вечная заповедь врачевания, в тишине в бывшей студенческой обители Булгакова звучат его слова из рассказа «Вьюга»: «Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль — как его спасти? И этого спасти. И этого! Всех!»

Спасти всех — величайший нравственный девиз медицины, высказанный так просто и всеобъемлюще. Вспомним, что он принадлежит Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Постигая в конце трудного XX века, когда люди, быть может, более всего нуждаются в даре милосердия, значимость его творчества, его жизни и борения, не забудем и этих светлых слов.

Глава III
БЛАГОДАРЯ БЛИЗОСТИ К МЕДИЦИНЕ

«Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:

— Кризис, Бродович. Что… выживу?.. А-га» {59}.

Вздымающаяся в одышке высохшая скользкая грудь, тонкий сиплый голос, рваная завеса тумана и бреда… Разумеется, страницы «Белой гвардии» — менее всего учебник. И все же в

сцеплении деталей открывается вдруг та материя медицины, которая, быть может, составляет сердцевину подлинно врачебного объемного видения. По своей точности и вместе с тем образности с этой картиной преодоления тифозного кризиса, описанной М. Булгаковым, в чем-то сближаются строки Н. И. Пирогова из «Начал общей военно-полевой хирургии»: «С оторванною рукою или ногою лежит… (….)… окоченелый на перевязочном пункте недвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль» {60}. В этом описании клинической картины шока нет пи одного научного термина, однако оно, со ссылками на великого хирурга, по праву вошло В десятки хирургических руководств. Действительно, художественный тип мышления очень важен для врача — именно так, из частностей, формируется целостное представление о человеке. Медицина, бесспорно, развивает такие способности, и не случайно эта профессия столь мощно питает русло словесности.

Но пройдем мысленно вместе с Алексеем Турбиным мучительный путь к проблескам света после ранения, вспомним дни отчаяния, столовую в доме на Алексеевской спуске, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Турбин давно уже без сознания, он не видит и не понимает, что происходит вокруг него. И все же, прося доктора Бродовича оставаться около больного, седой профессор говорит о крайней опасности, о возможном неблагоприятном исходе очень тихо, на ухо коллеге. Характерно, что и Бродович, подтверждая, что у Турбина агония, и соглашаясь на приглашение к больному священника для исповеди, подчеркивает: ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания. Доктор все время рядом с больным, он стремится щадить его до последней минуты.

Это и есть булгаковское понимание истин деонтологии — люби, сострадай, жалей, не повреди неосторожным словом. Нестареющая заповедь! Символично, что идеи, высказанные М. А. Булгаковым в этих строках, звучат и в одном из документов Всемирной организации здравоохранения, датированном маем 1985 г., — «Обеспечение качества медицинской помощи — политика и программы»: «Отвечая за оказание помощи конкретному больному, врач обязан сделать все возможное, применяя все имеющиеся в его распоряжении средства до тех пор, пока он не убедится, что битва проиграна, т. е. до тех пор, пока он точно не установит границы невозможного для данного больного».

Что привносит писатель-врач в повествование о предмете, о

котором он судит не как дилетант? Прежде всего, правдивость, ненадуманность, точную оценку ситуаций. Такие влияния замечательно охарактеризовал А. П. Чехов. Поразительно, с какой глубиной анализа рассматривает он взаимосвязи своей врачебной профессии с уже сложившейся творческой судьбой. В 1899 г., в автобиографии, составленной по просьбе Г. И. Россолимо, Антон Павлович писал: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем. К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу; и к тем, которые до всего доходят своим умом, — не хотел бы принадлежать» {61}.

Соображаться с научными данными, быть сведущим писателем… Конечно же, Булгаков, как и Чехов, избрал свою дорогу не потому, что родником его жизненных впечатлений явилась медицина, что на ее перепутьях он впервые близко столкнулся с ужасным и вдохновляющим, с отчаянием и светом надежды, увидел мир человеческий. Сила его таланта столь необычна, что он состоялся бы как писатель и вне врачебной профессии — пусть это был бы и иной Мастер. И тем не менее подчеркнем главное применительно к предмету нашего исследования — единение между двумя его ликами поистине органично.

Несомненно, именно профессиональные впечатления доктора Булгакова, отраженные прежде всего в «Записках юного врача», легли, по сути, в основу его литературной судьбы. Хотя рассказы эти, печатавшиеся разрозненно, увидели свет позже «Записок на манжетах», «Роковых яиц», «Белой гвардии», рукопись врачебного цикла, над которой Булгаков, очевидно, начал работать еще в Никольском и Вязьме, предшествовала сочинениям писателя,

привлекшим такое пристальное внимание культурного мира. Объединенные впоследствии, в 60-х годах, в стереотипном издании библиотеки «Огонек» под названием «Записки юного врача», эти произведения впервые появились в 1925–1926 гг. в журналах «Красная панорама» и «Медицинский работник». Как отмечает Е. А. Земская, у Н. А. Булгаковой-Земской хранился подаренный братом машинописный текст этих произведений под названием «Рассказы юного врача». В письме Е. С. Булгаковой от 25 апреля 1964 г. Надежда Афанасьевна писала: «Вообще надо напечатать второе издание «Рассказов врача», вернув весь текст подлинника. На выпуски и переделки толкнуло в значительной мере изменение общего заглавия сборника: слово «Рассказы» заменено словом «Записки». Но ведь по жанру это пе записки, а именно рассказы. Подгонять текст одного рассказа к другому не было надобности. Кроме того, название «Записки» невольно заставляет пытаться отождествить автора с героем рассказов — юным врачом, 23-летним выпускником, только что окончившим медицинский факультет. В этих рассказах Булгаков не воспроизводит себя, а создает своего героя — Юного врача, на которого смотрит как старший, как бы со стороны, ставя его в разные положения на основе пережитого самим опыта» {62}. Бесспорно, такое издание, полностью следуя замыслам автора, необходимо было бы осуществить. Но отдадим должное редакциям «Красной панорамы» и «Медицинского работника» тех лет, благодаря которым эти прекрасные страницы дошли до нас. Так, журнал «Медицинский работник» стремился представить рассказы М. Булгакова ярко и броско, заголовки вырисовывались, каждая публикация иллюстрировалась. «Морфию» («Медицинский работник», 1927, № 45) предшествовала следующая заставка: «Михаил Булгаков известен нашим читателям как автор рассказов участкового врача, печатавшихся в «Медицинском работнике»» *. Это довольно заурядный и скучный профсоюзный журнал, с сугубо ведомственной тематикой, и все же именно этот ежемесячник поддержал писателя в пору, когда вокруг него уже начинало смыкаться кольцо неприятия. Ведь в это же время, в 1927 г., лидер РАППа Л. Авербах негодовал, что «некоторые интеллигентские писатели приходят к нам с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более человеческое, чем классовая ненависть пролетариата».

«Работу над циклом рассказов, первоначально называвшимся «Записками земского врача», Булгаков начал в Киеве в 1919 г., — указывает Л. М. Яновская в примечаниях к публикации рассказов (1989 г.). — Тогда же написанные страницы читал близким. В феврале 1921 г. из Владикавказа писал двоюродному брату

Константину Булгакову: «У меня в № 13 в письменном столе остались две важных для меня рукописи: наброски «Земского врача» и «Недуг» (набросок)…» 17 ноября того же года, уже из Москвы, он пишет матери: «По ночам урывками пишу «Записки земского врача». Может выйти солидная вещь. Обрабатываю «Недуг»».

Впервые публикуются эти рассказы…….после окончания работы над «Белой гвардией», и Булгаков, к этому времени уже уверенный мастер, вероятно, переписывает их один за другим. Первым — в журнале «Красная панорама» 15 августа 1925 г. — выходит рассказ «Стальное горло». Остальные — в журнале «Медицинский работник» в следующем порядке: «Крещение поворотом» — 1925, № 41, 42; «Вьюга» — 1926, № 2, 3; «Тьма египетская» — 1926, № 26, 27; «Звездная сыпь» — 1926, № 29, 30; «Полотенце с петухом» — 1926, № 33, 34; «Пропавший глаз» — 1926, № 36, 37».

Укажем, что, по воспоминаниям Т. Н. Лаппа, этому циклу предшествовал рассказ о враче, который болен. Над этим рассказом М. Булгаков начал работать еще на Смоленщине.

«…Даю обещание в течение всей своей жизни не омрачать чести сословия, в которое ныне вступаю». Как отразились эти слова во врачебной исповеди Булгакова? Вернемся еще раз в российскую деревенскую глушь в годы первой мировой войны, в эти поля и перелески, в далекое Никольское.

«Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек…

Первые публикации «Записок юного врача» в журнале «Медицинский работник»

Коллаж А. Д. Лобунца

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черпая мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна

фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии… Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки…..В сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» — из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся….. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими…

— В чем дело?

— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

— А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

… В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета… Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу… Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен. (Стоит отметить, что обращение «Ну-с» было свойственно самому Михаилу Афанасьевичу. Например, письмо брату 24 августа 1929 г. он завершает словами: «Ну-с, целую тебя, Никол, твой М. Булгаков». — Ю. В.).

— Поперечное положение, — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

— Та-ак, — протянул я, нахмурясь, — что ж, посмотрим….. Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

— Тихонько, тихонько… потерпи, — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже… Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно

серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

… А пора уже на что-нибудь решиться.

— Поперечное положение., раз поперечное положение, значит, нужно… нужно делать…

— Поворот на ножку, — не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями. Я же человек необидчивый…

— Да, — многозначительно подтвердил я, — поворот на ножку» {63}.

В рассказе «Крещение поворотом» описывается, очевидно, первый из трех акушерских поворотов на ножку, которые произвел Булгаков в Никольском. Это действительно одна из сложных и ответственных акушерских манипуляций, поскольку поперечное положение плода относится к крайне неблагоприятным положениям в родах. Чтобы спасти мать и ребенка, при таком положении нередко прибегают к кесареву сечению.

«Роженица беспокойна и возбуждена, появляется двигательная реакция. Роженица вскакивает и требует помощи» — так характеризуется в руководствах по акушерству несвоевременное распознавание поперечного положения. В строках «Крещения поворотом» это лаконичное описание крайне тревожной ситуации передано в реальных деталях. Болезненная гримаса роженицы, прилипшие ко лбу намокшие от пота пряди волос, жалобные и тяжкие стоны, боли такой силы, что женщина заламывает руки, вытягивается, комкает простыню — так описывает Булгаков состояние роженицы. Вести роды выжидательно уже нет возможности. Роль врача при этом очень ответственна, он не должен упустить момент полного открытия матки, чтобы, пока не истекли воды, приступить к операции поворота. «Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату». Очевидно, герой рассказа, как и автор, под наркозом, в который ввели роженицу, определил, что подвижность плода сохранена и начал делать комбинированный поворот. К счастью, выпадения ручки не отмечалось, с этой патологией Юный врач встретится позже, в Грищево. Но в Мурьев участковый земский врач, шесть месяцев назад окончивший университет (эти сроки, март — сентябрь, полностью совпадают со временем присвоения Булгакову звания лекаря и приездом в Никольское), осуществляет

рискованное вмешательство совершенно правильно. В рассказе приводятся точные выписки из акушерских руководств о жизненных показаниях к отказу от поворота, полностью сохраняющие свое значение и сейчас. Но вот булгаковский план действий: «… Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится (разрядка моя. — Ю. В.), осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив» {64}. Будущие медики для овладения секретами ответственной своей профессии должны знать эти строки — помня, разумеется, и весь рассказ. Причем, думается, здесь не нужны какие-либо дополнительные доказательства того, что найти такие слова мог лишь врач, наделенный талантом. Ведь это тот вид хирургического счастья, которое, как указывает академик Б. В. Петровский, связано со способностями, знаниями и честным отношением к больному.

Знаменательно, сколь близко булгаковское описание тактики врача при приеме родов к советам также прошедшего тяжелый путь земского врача профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Симферопольского и Крымского Луки) из его «Очерков гнойной хирургии»: «Осторожно обнажите весь живот и положите на него плашмя всю руку, едва касаясь кожи… Начав ощупывание столь нежно, вы скоро получите возможность значительно усилить и углубить его… Мы часто видели врачей, грубо тычущих рукой в очень болезненный живот, ничего при этом не узнающих и сразу лишающихся доверия больного». Обратим внимание, что и М. А. Булгаков и В. Ф. Войно-Ясенецкий подчеркивают — осторожно.

«… Возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять» {65}.

Эти строки отражают подлинные условия работы доктора Булгакова в земстве. «Для него было вообще естественным отправляться на помощь по первому зову, — вспоминала Т. Н. Лаппа. — Сколько раз приходилось вместо сна и отдыха садиться в сани и в стужу отправляться по неотложным делам в дальние села, где необходим был доктор. Но никогда я не видела его раздраженным, недовольным из-за того, что больные досаждали ему. Я не слышала от Михаила никаких жалоб на перегрузку и утомление».

Какое значимое свидетельство! Но вчитаемся в один из самых

удивительных рассказов Михаила Афанасьевича. Речь идет о «Вьюге».

Рассказ «Вьюга» (1926) в современных изданиях произведений М. Булгакова следует за «Крещением поворотом» (1925). Популярность Юного врача после того, как он удачно ампутировал ногу у девушки, попавшей в мялку, показал себя с лучшей стороны и в других трудных случаях, возросла до того, что он едва не погибает под тяжестью своей славы. Но это настоящий земский врач (причем, как писала Н. А. Булгакова-Земская в не опубликованном при ее жизни предисловии к «Рассказам», поразительно перекликающимся с воспоминаниями Т. Н. Лаппа, чувства, переживания, отношение к своей работе — это подлинные чувства и переживания самого автора), главным для которого, по словам известного теоретика и организатора земской медицины Д. Н. Жбанкова, является только больной, встречающий одинаковый прием и в свитке, и в пиджаке, и в платье, и в сарафане. Но доктор изнемогает от объема работы. Более восьми часов подряд длится ежедневный прием, а есть еще и стационарное отделение на тридцать человек (не коек, а человек, — пишет Булгаков!) и операции.

«Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ; писали, что, конечно, конечно… Обязательно… но только не сейчас… никто пока не едет…»

Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Ведь больше половины русских врачей находились в армии. Те, кто оставался в тылу, несли непомерную нагрузку, обеспечивая тем не менее основной принцип общественной медицины — общедоступность.

И вот выдается замечательный денек, вьюга вертит и крутит, словно черт зубным порошком балуется. Доктор месяц не мылся и решает улучить момент.

«(…) Записка вам, доктор, — пискнула Аксинья в скважину.

— Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

… «Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол… (зачеркнуто). Прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост… (зачеркнуто)… из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное,

после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен…»…

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп. (Обратим внимание на подробное профессиональное описание, которое мог сделать только разъездной врач. — Ю. В.).

… В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.

— Пульс… — шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом положил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку… Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц желтое масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами» {66}.

Рассказ «Вьюга», посвященный поездке врача из Мурьева на помощь менее опытному коллеге (оказывается, оба они «похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года»), очевидно, воссоздает историю вызова доктора Булгакова в село Высокое, входившее в Гривскую волость, вблизи которого располагался и хутор Гришково (возможно, названный в рассказе «Пропавший глаз» Грищево). В Высоком и находилось имение Шереметево (во «Вьюге» Шалометьево). Оно принадлежало графу А. Д. Шереметеву — потомку старинного дворянского рода, известного со времен Дмитрия Донского. Бабушкой его была актриса П. И. Ковалева-Жемчугова, бывшая крепостная, по завещанию которой в Москве был построен странноприимный дом (теперь в этом здании — институт им. Н. В. Склифосовского).

Во исполнение завещания матери А. Д. Шереметев открыл в Высоком больницу и богадельню. По своей инициативе он организовал здесь двухклассное училище, народную библиотеку и пожарную команду. Вспомним, что и во «Вьюге» врача в Шалометьево и обратно везет пожарный.

В ночной вьюге и происходит поединок с волчьей стаей.

Введя морфий жениху погибшей девушки, дождавшись, пока он заснул (помощь такого рода при психическом стрессе всегда необычайно важна), врач собирается обратно в свою больницу. В поле нехорошо, врача уговаривают заночевать в Шалометьево, но в больнице тяжелые больные, нуждающиеся в постоянном наблюдении.

Санки трогаются. Весь мир свился в клубок, п его трепало во все стороны. Дорога пропадает, врач с возницей находятся в поле уже около четырех часов. Доктор и пожарный меняются местами, чтобы в бешеной метели вывести уставших лошадей на дорогу. Внезапно кони дернули и заработали ногами оживленнее… «По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?.. (Выражение «гражданин», несомненно, относится ко времени после февральской революции 1917 г. — Ю. В.).

… Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму… Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне…..

— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

… Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз… Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей» {67}.

Только мужество врача спасло его и пожарного. Волнение пережитого переполняет его, на вопрос о том, удалось ли спасти девушку, доктор отвечает равнодушно. Однако на самом деле он продолжает думать о смерти в Шалометьево. Врач вынимает том хирургии, хочет посмотреть раздел о переломах основания черепа, но сон охватывает его. Да, такова эта профессия. И в этом великолепном рассказе также есть не только картина врачевания, но и образ самого Булгакова.

Подчеркнем, что перед нами действительно штрихи

непосредственно пережитого Михаилом Афанасьевичем. Вот строки из воспоминаний Н. П. Ракицкого «Встречи с М. А. Булгаковым», опубликованных в журнале «Дружба народов» (1990, № 3). Они относятся к 1916 г., когда Н. 11. Ракицкий, ученый-агроном по профессии, занимался на Смоленщине обеспечением земств фуражом для эвакуированного из западных губерний скота.

«Мы виделись с ним (Михаилом Афанасьевичем. — Ю. В.) в г. Сычевке неоднократно. Тут я узнал от него, что он был в имении Высоком (Сычевского уезда), принадлежавшем графу Шереметеву, где произошел несчастный случай с дочерью управляющего этим имением. Случай, послуживший Булгакову впоследствии материалом для рассказа «Вьюга»». «— Умерла, — сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась…»

Во «Вьюге» врач сразу же уезжает в больницу, к больным тифом. На самом деле Михаил Афанасьевич не покинул несчастных родителей погибшей девушки. «Когда дочь ее скончалась, — пишет Н. П. Ракицкий, — с матерью случился сердечный приступ, и управляющий попросил врача остаться у них хотя бы на один день».

Мы вслушиваемся во внутренний монолог автора: «У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу…… Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа… Да, да, да… Ага-га… Именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете!» {68}. Конечно же, смоленский цикл Булгакова имеет прямое отношение к медицине. «Отечественная литература испокон веку заменяла и церковь, и адвокатскую контору, и благотворительную организацию, а кабинет психиатра», — заметил писатель В. Максимов. Можно добавить, что «Вьюга», «Стальное горло», «Звездная сыпь», «Полотенце с петухом» — это и кафедра нравственности.

Бесспорно, на далеком своем участке, а до этого во фронтовом госпитале Михаил Афанасьевич как врач прошел богатейшую школу. И все же есть ли здесь прямое влияние па его творчество, в чем оно преломилось — вот вопрос, на который нельзя не попытаться дать ответ. Ведь в гряде литературных имен, отражающих вклад писателей-врачей в мировую сокровищницу культуры, произведения Булгакова — не одинокие

вершины. Среди его европейских современников медицинский путь прошли Луи Буссенар и Сомерсет Моэм, Агата Кристи и Жорж Сименон, Карло Леви и Фридрих Вольф, Владислав Ванчура и Тадеуш Бой-Желенский. Однако ясно, что сюжеты и образы, обусловленные этой гранью их биографий, для них вторичны. В сравнении с ними Булгакову неизмеримо ближе сущность медицины. Его смоленские рассказы — в определенной мере прямой отклик на участь больного, ясное и точное зеркало моральных и профессиональных проблем медицины.

И вместе с тем перед нами не просто талантливый обзор научных фактов, как, скажем, у Поля де Крайфа, — булгаковские образы, встающие из этой метельной дали, пролагают тревожную борозду в уме. Противоборство зла и добра — таков нравственный смысл произведений писателя. Описываются лишь истинные, зримые, такие знакомые любому медику истории, но как привлекательны скромные их герои, мир их чувств и идей.

В чем же заключается тайна? Представляются весьма интересными раздумья М. С. Петровского *. «Ссылка на врачебную профессию мало что проясняет, — отмечает он. — Суть и том, что чем более каждый из них был писателем, художником, тем меньшее значение придавалось наивному признаку — «это мой материал». И тем, наоборот, значительней становились общечеловеческие, нравственно-философские аспекты медицинской темы, ее связь с последней степенью экзистенциальности — с вопросом о человеческом существовании в самом резком, обнаженном, недвусмысленном виде. Образ врача, как правило, выводит на поверхность две великие проблемы: проблему бытия, жизни и смерти, «быть или не быть», как формулировал это Гамлет, и идеалы и принципы самоотверженного, бескорыстного сострадания и добра, где высшим, всемирно значительным воплощением является Дон Кихот. Для любого типа врачевателя на этой шкале, крайние точки которой обозначены этими именами, можно найти более или менее точное место. Если преобладают философские аспекты бытия, он сдвигается в сторону Гамлета, если нравственная проблематика милосердия, — то в сторону Дон Кихота».

Персонажи Булгакова, несомненно, следуют Дон Кихоту, миссия добра, линия странного и мудрого странствующего рыцаря связующей нитью проходят через его творчество. Это касается и Юного врача, в миросозерцании которого писатель воплотил свое понимание роли медицины.

Но вернемся к его медицинской страде, неотделимой от этого возвышенного гуманистического кредо. «В жизни Мих, Булгаков был остро наблюдателен, стремителен, находчив и смел, он

обладал выдающейся памятью, — отмечала Н. А. Булгакова-Земская. — Эти качества определяют его и как врача, они помогали ему в его врачебной деятельности. Диагнозы он ставил быстро, умел сразу охватить характерные черты заболевания; ошибался в диагнозах редко. Смелость помогала ему решаться на трудные операции.

В «Рассказах» описаны подлинные врачебные случаи. Все описанные операции были сделаны самим автором книги. Обморок фельдшера во время операции трахеотомии, которую производил М. Булгаков (вот этот эпизод: «Горло поднялось из раны….. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло». — Ю. В.), — подлинное происшествие» {69}.

В предыдущей главе мы упоминали об операции, спасшей девочку. Но что предшествовало ей? Приведем эти строки из «Стального горла», они также необыкновенно точны и правдивы.

«Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил…

— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: — Ты о чем же думала? О чем думала?…

— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

— Помрет, — негромко и твердо сказал я… Мать… крикнула мне нехорошим голосом:

— Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд…

— Пот что, — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничего ей не поможет, кроме одного, — операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.

— Как это? — спросила мать.

— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить…… объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслоняла руками…

… Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку…..

— Перестань, — промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна! — резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

… Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать… Она спросила у меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь» {70}.

«Труднее всего педиатрам, не имеющим детей, — пишет в очерке «Деонтология в хирургии», раздумывая о начинающих коллегах, известный детский хирург С. Я. Долецкий. — Какими бы душевными качествами они ни обладали, как бы ни старались «встать на место» родителей, им в полной мере это не удается. Обращаясь к ним, можно посоветовать в каждом трудном случае избегать обострений в отношениях с родственниками». К категории таких врачей, лишь вступающих в жизнь, принадлежат и Юный врач, и его прототип. Но вдумаемся в прочитанное. В «Стальном горле» перед нами предстает качественно другой, нежели рекомендованный опытнейшим детским врачом, вариант поведения — продиктованный высшей ответственностью, благородной силой любви к ребенку. Стремление спасти жизнь заслоняет все остальные соображения. Вот чему учит доктор Булгаков, вот каким врачом он был — исповедующим великий и такой трудный принцип: «Не повреди, но сделай во много раз больше».

О, как он устал. И все же всмотримся еще раз в его

нравственный облик, встающий в рассказе «Тьма египетская».

««Ну, нет… я буду бороться. Я буду… Я…» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед…» {71}.

Быть может, и многим сегодняшним молодым хирургам, в вечер перед трудной операцией, следовало бы, наряду с атласами и руководствами, вновь и вновь перечитывать «Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом». Хирургическая непоколебимость, уверенность и вместе с тем осторожность, умение увидеть человеческую индивидуальность в череде больных, проникнуться сопереживанием не возникают сами по себе. Помимо знаний это искусство зиждется на опорах духа, на фактах врачебного мужества — повседневного, обыденного и все-таки необыкновенного. «Записки юного врача» — поистине яркие, святые его образцы, заставляющие поступать наперекор обычным человеческим слабостям и нормам. Они перекликаются со словами Н. И. Пирогова: «Что касается до меня, то я, не раз уже видев неожиданный успех в случаях отчаянных, не отказываюсь действовать и там, где даже вижу мало надежды на успех… Но решившись на операцию, должно иметь всегда в виду обстоятельства, которые могут сделать ее опасной и даже смертельной во время самого производства, и потому должно быть всегда к ним приготовленным и в предсказании всегда осмотрительным».

Подчеркнем, однако, в этом контексте первоначальную авторскую трактовку смоленского цикла. М. Булгаков не случайно хотел дать ему название «Рассказы земского врача». Фактически перед нами ретроспективный, но одновременно направленный и в будущее обзор этого крупнейшего русского социального явления — земской медицины. Ведь в 1919 г. один из старейших земских врачей В. Г. Соболев (первый руководитель санэпидотдела Наркомздрава УССР) справедливо писал в журнале «Врачебное дело»: «От земской медицины остался скелет без плоти и души». Об этом сказано с сердечной болью, ибо ушел в прошлое великий гуманный порыв общества. Между тем именно земские врачи в большинстве своем находились на той этической высоте, на которую поставило их полное доверие населения. Пожалуй, впервые в истории России это был бескорыстный труд интеллигенции, вызванный к жизни потребностями общества. Вверенному им делу врачи служили поистине идейно, как служит Юный врач. Доктор Булгаков, и это явствует и из его биографии,

и из «Рассказов…» следовал этим идеалам. Сегодня особенно хорошо понимаешь, что первоначальное их название не было приблизительным и пробным, хотя в 20-х годах писатель вынужден был завуалировать его, удовлетворившись индифферентной формулой в «Медицинском работнике» — «Из рассказов участкового врача». Позиция журнала понятна. В силу лишь черно-белых догматических толкований, все более укоренявшихся в стране, эта важная историческая полоса организации медицинской помощи крестьянству изображалась как полулиберально-полубюрократическая акция, не принесшая народу большой пользы. «Государство помещиков, — указывается, например, в «Большой медицинской энциклопедии» (1959 г.), — полностью сохранило свое влияние в управлении земскими делами. Несмотря на ряд достижений, земская медицина не разрешила и не могла разрешить многих проблем, имеющих важное значение в деле охраны здоровья населения: вопросов родовспоможения, медицинского обслуживания детей, санитарного дела. В 40 губерниях России, где было введено земство, насчитывалось лишь 2686 врачебных участков и примерно столько же фельдшерских пунктов».

Посмотрим на историю земской медицины с истинной стороны. Под влиянием народнических идей сюда, в сельскую глухомань, на борьбу с эпидемиями и санитарным неустройством, с детской смертностью и калечеством, с голодом и невежеством выехали сотни молодых врачей. В начале XX в. земские управы ввели бесплатную медицинскую помощь для большинства крестьян (между прочим, и на Никольском медицинском участке дети, а также увечные и инфекционные больные обслуживались бесплатно, остальные платили полкопейки в день). Доктор впервые стал мужицким лекарем, и помощь его отныне превратилась не в личную услугу за счет больного и не в акт благотворения, а в общественную службу. И вот вскоре крестьяне стали обращаться к врачам на селе почти в десять раз чаще, чем раньше. Это был настоящий переворот в жизни деревни.

Можно ли не помнить об этом, когда буквально через десять лет после эпохи «Рассказов земского врача» отношение к крестьянству стало совсем иным. Дело не только в насильственном расслоении хлебопашцев, в том, что произошло отчуждение труженика от земли, что село лишилось многих прекрасных работников. Казенной стала и сельская медицина, под предлогом укрупнения деревень и деления их на перспективные и неперспективные закрылись многие участковые больницы. Чтобы получить необходимую помощь, человек должен ехать в город за десятки километров. И хотя сельские врачебные

амбулатории называют ростками нового, но сути, в главной своей особенности — приближении к больному — они возрождают традиции земской медицины. Главные идейные черты сельской медицины с великим чувством человеколюбия отразил в своих смоленских рассказах Михаил Булгаков. И в этом их непреходящая значимость и современное звучание.

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона в разделе «Земская медицина» есть такие слова: «Предписать любовь к делу и к народу нельзя, без этих качеств земский врач лишь чиновник». Юный врач у Булгакова обладает этими качествами.

Повествуя о студенческих годах писателя, мы уже упоминали о рассказе «Звездная сыпь». На нем следует остановиться подробнее. Ведь перед читателем предстает одно из немногих художественных произведений в мировой литературе, посвященных такой трудной, такой «невыигрышной» теме — борьбе с сифилисом. Убежден, что это выдающийся и еще недостаточно оцененный вклад писателя прежде всего в медицину.

Рассказ начинается со случайного обнаружения признаков сифилиса у пациента, пришедшего в участковую больницу по поводу охриплости. ««Это он — сифилис», — вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я — врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции… Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки», — отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?…

— Вот что, — сказал я, — видите ли… Гм… По-видимому… Впрочем, даже наверно… У вас, видите ли, нехорошая болезнь — сифилис…

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается…..

— Сифилис у вас, — повторил я мягко.

— Это что же? — спросил человек с мраморной сыпью… За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющегося каждый раз,

когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне» {72}.

В этом отрывке, как, впрочем, и в других рассказах земского периода, немало специальной терминологии. Булгаков смело и органично вводит ее в ткань произведений. Но профессиональные описания предстают как художественно совершенные фрагменты. Они как бы высвечиваются истинными подробностями, неприкрашенной правдой профессии, а размышления и действия врача, диагностическая и лечебная сфера становятся почти осязаемыми. Естествен, например, эпизод, когда врач боится заразиться ужасной болезнью, он обследует пациента с брезгливостью и опаской. Быть может, чье-то перо обошло бы эти детали, но не булгаковское — его талант был несовместим с дозированием истины. К слову, по воспоминаниям Т. Н. Лаппа, Михаил Афанасьевич и в жизни тщательно, однако с большой осторожностью обследовал таких больных, долго мыл руки после осмотра. Это вполне понятные меры предосторожности. Но двинемся дальше. Герой рассказа (не забудем, что и в жизни земский врач М. А. Булгаков хлопотал об открытии в уезде венерологических пунктов, о принятии эффективных профилактических мер) начинает настойчиво искать скрытые случаи заболевания… И принимает он на себя эту новую круговерть дел просто и естественно, действуя и мысля и как искушенный эпидемиолог, и как знающий клиницист. За дверью его кабинета постоянно шумит очередь, каждый день — работа, работа, работа. Казалось бы, ему ничего не стоит отступиться от невежественного, скептически настроенного, да к тому же и опасного, в силу особенностей инфекции, пациента. И все же, оказывается, этот мягкий смущающийся доктор — человек, ведомый прежде всего твердой волей и профессиональной скрупулезностью, уже не может не думать о посетителе с мраморной сыпью, ужасная проблема равнодушия целых сел к сифилису уже не оставит его.

Более того, в рассказе отражены далеко не все реальные действия Михаила Афанасьевича, хотя «Звездная сыпь» явно биографична. Булгаков боролся с сифилисом так страстно и настойчиво, как, пожалуй, мало кто другой. «Занесенные с фронтов венерические болезни быстро распространялись по селам, — вспоминала Т. Н. Лаппа. — Пораженные обращались к врачу. Михаил Афанасьевич назначал курс лечения, но его пациенты, не осознавая серьезности состояния и дальнейшей своей судьбы, самостоятельно прерывали его, ссылаясь на постоянную занятость в поле и дома. Это очень огорчало его как врача, он горячился, нервничал и сам ездил к этим больным, не

дожидаясь повторного обращения.

Обстоятельства изменились после того, как он открыл при больнице небольшое венерологическое отделение».

Этот образ Михаила Булгакова как врача, наверное, не требует комментариев. Но, раздумывая об этих фактах, о чувстве долга, безраздельно владеющим доктором, по-новому понимаешь фразу Михаила Афанасьевича: «Вычеркнуть я согласен, но вписывать! — ни за что!»

Но вот прием больного в «Звездной сыпи», во время которого врач назначает лечение.

«— Слушайте, дядя, — продолжал я вслух, — глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться — два года.

… Неужто же все впустую?..

…Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся…

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа и вновь окрыляться на борьбу.

«…А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся…» (С этим письмом в один из дней в больницу пришла молодая женщина. — Ю. В.).

… Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались…

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно неизвестно и до исследования предаваться отчаянию нельзя…

— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, — говорила она сухим измученным голосом.

— Погодите, погодите, — бормотал я, — видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло…

Это был один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

— Знаете что, — сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, — знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

— Нет? — сипло спросила женщина. — Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы…

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней… На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около девяноста процентов за благополучный исход. Прошел с лихвой первый двадцатиоднодневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.

— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.

— Ничего.

Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей на нем росой» {73}.

Эти строки буквально поражают духом деонтологии, и за ними вновь виден Булгаков как врач. Они напоминают о необходимости совершенно особого подхода при обследовании женщины. «Женщина не обращается к врачу по различным причинам: но стыдливости, по легкомысленному отношению к себе, но главное, из страха перед страшным диагнозом, который она вот-вот услышит, — писал П. А. Герцен (имеется в виду сфера онкологии, но ясно, что это относится и к венерическим болезням. — Ю. В.). Это странное поведение очень распространено. Факт обыденного наблюдения показывает…….насколько осторожно, я бы сказал — нежно, нужно подходить к уже глубоко встревоженной женщине!» Пред нами образец такого подхода!

Долгими вечерами врач вчитывается в амбулаторную книгу и находит все новые случаи сифилиса во всех стадиях, в том числе у детей и стариков, вследствие заражения бытовым путем. А когда к нему приходит женщина с двумя малышами, пораженными зловещей сыпью, доктор, движимый долгом и состраданием, открывает специальную палату во флигельке и, применяя новейшее средство того времени — сальварсан, добивается, что розеолы исчезают.

Мы знаем, что в основу «Звездной сыпи» положен личный врачебный опыт М. Булгакова. И в качестве научного комментария к этой правде жизни, поднятой в строках рассказа до высоты гуманистического обобщения, стоит привести слова выдающегося советского хирурга С. С. Юдина (ровесника М. Булгакова, окончившего медицинский факультет Московского университета в 1915 г.) о своем коллеге земском враче А. В. Иванове, работавшем в Никольской больнице под Москвой именно в тот период, когда в Никольской больнице на Смоленщине трудился Михаил Афанасьевич.

«Алексею Васильевичу, — пишет С. С. Юдин в автобиографических заметках, опубликованных в 1990 г., — в основном удалось ликвидировать бытовой и хронический сифилис на своем участке. Это было достигнуто строгим карточным учетом всех амбулаторных больных и составлением семейных карт. Все выловленные сифилитики подвергались настойчивому лечению. Алексей Васильевич говорил мне, что больше не видит тех ужасных, обширных некротических язв голени, которые попадались на амбулаторном приеме довольно часто.

Расход йодистого калия в амбулатории достигал 10 пудов в год. Зато сифилис был ликвидирован легко и надежно».[4] Не правда ли, это описание можно отнести и к М. А. Булгакову, боровшемуся с сифилисом на земском участке?

«Привет, мой товарищ!» — так завершается рассказ, который, наверное, стоило бы ввести в обязательную программу медицинских институтов и училищ — и не только потому, что по нему можно учиться основам венерологии, отнюдь не сданной в архив. Актуальность и поистине острое звучание полузабытых булгаковских строк (вторично рассказ был опубликован Л. М. Яновской в журнале «Нева» в 1981 г. — к 90-летию писателя) сегодня, на пороге 90-х годов, состоят в том, что они представляют собой врачебное пророчество, подчеркивающее бесперспективность насилия и жестокости в этой сфере медицины и необычайно злободневное для нашего времени. Речь, по сути, идет о том, что названо чумой XX века. Ибо написав «Звездную

сыпь», М. А. Булгаков завещал нам, поколению, столкнувшемуся со СПИДом, единственно приемлемую стратегию гуманности по отношению к таким больным. Ведь по степени угрозы людям СПИД напоминает сифилис в новом обличье, и как важна тут булгаковская позиция — любить значит жалеть. СПИД стремительно покидает «резервации», зоной риска становится вообще жизнь. Сочувствие к носителям ВИЧ и больным, сопереживание их боли и отчаянию, умение преодолеть страх при обследовании или лечении — вот без чего не обойтись в борьбе со СПИДом ни медицине, ни обществу. Вглядимся же, читатель, еще раз в облик врача и пациентов в «Звездной сыпи», вдумаемся в высокий альтруизм рассказа, и мы пе сможем не воскликнуть: как он видел, как он знал! Было бы неразумно продолжать считать, что рассказ, о котором идет речь, лишь блестящее литературное произведение, лишь еще одно доказательство того, что для гения не существует запретных тем. К тональности этого рассказа надо особо прислушаться обществу—в ней ключ к одной из суровых социальных медицинских реальностей конца нашего века.

…И вот приемный покой больницы, где умирает доктор Поляков. Рассказом огромной нравственной и социальной силы, мостом, переброшенным в будущее, является и «Морфий». Кстати, коснуться этой темы, возможно, намеревался и А. П. Чехов (в одном из писем А. С. Суворину Антон Павлович упоминает, что «фельдшерица жрет морфий»), однако он не развил ее. Это, в общем, не удивительно — у каждого времени свои боли. Но почему проблема наркомании так волновала Булгакова? Дело, как мы полагаем, не только в субъективных мотивах, в отражении лично пережитого Михаилом Афанасьевичем, хотя без этого «Морфин», очевидно, пе появился бы. Описание истории страдания — величайшее предвидение. На переломе 20-х годов писатель стал свидетелем небывалых социальных бурь и потрясений, небывалого смятения душ и, быть может, ему представлялось, что раньше или позже эмоциональный иммунитет против иллюзий смертельно опасных наркотических эффектов станет остро необходимым. Художественное исследование этого явления он, несомненно, считал чрезвычайно важной темой, глубоко увлекшей его.

Сопоставим два фрагмента. «Зрелище было страшное. Ребята лежали на полу. Никто ни на кого не обращал внимания. Двое самых опытных каждые пять минут делали себе уколы: они хватали иглу и дрожащими руками, плача от боли, пытались попасть себе в вену, руки в крови, в гное… Шприц никто не мыл, там в углу была лужа, в ней и споласкивали… Один парень —

ему, видно, было совсем плохо — плакал, но никто на него не обращал внимания. Он упал. Я его дотащил до кровати, он стал вырываться и что-то кричать. Потом замер».

Это признание одного из юных наркоманов было приведено в 1986 г. в популярном советском еженедельнике. Но вот предостережение, что такая опасность может появиться. Оно звучит в «Морфии» (1927 г.):

«Душная ночь. Будет гроза…

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия: «…большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания…»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать — о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки, которая бы не жаждала… Чего? Этого нельзя определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги…

Смерть — сухая, медленная смерть…

Вот что кроется под этими профессорскими словами, «тоскливое состояние» {74}.

Что представляет собой «Морфий»? М. Булгаков построил его в виде дневника врача Сергея Васильевича Полякова, заболевшего наркоманией. Записи охватывают всего лишь год с небольшим — от января 1917 г. по февраль 1918-го, когда Поляков уходит из жизни… Полагаю, что весьма широкое цитирование дневника Полякова уместно в этой книге, ибо, помимо всего прочего, «Морфий» (первоначальное авторское его название «Недуг») — ценнейший медицинский трактат.

«Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна — фельдшерица-акушерка — и фельдшер».

И вот случай, который станет фатальным, проведет роковую черту, вот губительные минуты.

«15 февраля.

…Я собирался ложиться спать, как вдруг сделались боли в области желудка. Но какие!…

Со стоном добрался до кухни….. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли… (приводится рисунок волн. — Ю. В.).

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо…..

16 февраля.

… Сумерки наступают рано… Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм».

Так в облике спасительного средства подкралась необратимая болезнь… Увы, пока Поляков рассматривает действие наркотика лишь с позиции исследователя, причем, в сущности, иллюзия опыта па себе напоминает обычное первоначальное любопытство жертв наркомании. Ведь и их, как правило, приводит к беде соблазн необычных ощущений.

«1 марта.

Доктор Поляков, будьте осторожны! Вздор…

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием…

2 марта.

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II…»

Высшая точка… Необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности… Спал глубоко и хорошо-Доктор Поляков пока во власти лишь приятных ощущений от укола морфия, что так характерно для маски этой болезни. А между тем поезд в бездну уже двинулся, возврата не будет… «19 марта.

Ночью у меня была ссора с Анной К.

— Я не буду больше приготовлять раствор… Не буду. Вы погибнете…

— Да что я, морфинист, что ли?

— Да, вы становитесь морфинистом.

… Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц — оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел — ни одной трещинки…

Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно…

…Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

— Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание…

…В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство… Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..»

Да, беспокойство и страх уже шевельнулись в душе. Однако Поляков пытается убедить себя, что это еще не морфинизм. Хотя только что пристрастие владело им, и оно уже не отпустит его. Через три недели доктор Поляков прибегает к кокаину…

«9… апреля. Черт в склянке…

Действие его таково:.

При впрыскивании… почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной ломаной и черной тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире….. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать —.не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает… Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то

таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологии, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моею кровью… Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках… а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни…»

Пробежал еще месяц. Тяготение все неотвратимее. Но Поляков пытается уверить себя, что наркотик даже помогает ему работать, что пациенты не страдают от его пристрастия. Его могут выдать только суженные зрачки, как врач, он знает об этом эффекте инъекций. Пока он без особых трудностей достает препарат. Увы, эта врачебная «привилегия» вообще порой способствует морфинизму: среди заболевших не так мало медицинских работников.

«6 мая 1917 года.

… Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив: весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил… Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке… Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться…..»

Доктор Поляков все еще остается прежде всего врачом — утешением, что морфинизм не так уж страшен, служит то, что пока он справляется со своими обязанностями и его пристрастие не причинило вреда ни одному пациенту. Но одновременно круг сужается и сужается. Поляков, наконец, осознает: нужно лечиться. Это единственный шанс спастись. Единственный шанс… Но как он труден, какие усилия нужны, как унизительно все! Нет, это свыше его сил.

«14 ноября 1917 года.

Итак, после побега из Москвы из лечебницы… я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном — о чудных божественных кристаллах…

Нет, нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же

способ и лечить без мучений!…

— Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас, — и даже голос мой жалостливо дрогнул…»

И вот завершающие страницы. Последние записи Полякова, видение смерти, рыдания по тающей жизни.

«18 ноября…

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро, и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом, старушонка с желтыми волосами… В первую минуту я ее не понял и даже не испугался… А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине — понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. (Курсив М. Булгакова характеризует особенности послеморфинной галлюцинации. — Ю. В.)… Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки — вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее…..

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация…

19 ноября.

…

Ночной мой разговор с Анной 21-го.

… Погляди на свое лицо… Слушай, Сережа. Уезжай, заклинаю тебя, уезжай…

…

1918 год. Январь.

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно… 11 февраля.

Перед тем, как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной… Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди распахнется дверь…

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

12-го ночью.

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью. (Поляков даже в дневнике стыдится своего бессилия, своих слез. Поразительно точная психологическая деталь! — Ю. В.).

1918 года. 13 февраля на рассвете в Горелове.

… Тетрадь Бомгарду. Все…»

Жизнь еще недавно прекрасного работника, талантливого человека, жизнь, обещающую так много, испепелил кристаллический божок. Наркотик привел к выстрелу. И это, увы, единственный выход, к необходимости которого Поляков приходит как врач.

Но вслушаемся в начальные такты рассказа: «… На синем дешевом конверте таял снег….. Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано: «… Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас (обратим внимание, что Поляков убежден в нерушимости врачебной тайны, вверяемой Бомгарду. — Я?. В.)… А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись?….« {75}.

Собственно, это вступление, эти слова — «может быть, моя!но спастись», предваряющие воспроизведенную выше историю жизни и смерти Сергея Полякова, звучат, словно послание автора «Морфия», обращенное к врачам наших дней. Однако почему-то именно медицина, именно врачебная корпорация пока даже и не попыталась вчитаться в волнующие эти страницы, полные острой жалости к угасающему больному, имеющие, убежден, еще недостаточно осознанный современниками непреходящий гуманный смысл и отражающие научное озарение врача-художника.

Например, современные авторы длительное время придерживались по отношению к подобным пациентам преимущественно жестких принципов. В 3-м издании БМЭ рекомендуется в качестве средства выбора одномоментное отнятие наркотика, поскольку «наркотический паек» в практике советской наркологической службы не принят. В принципе такие меры применяют во имя исцеления больного, но разве не стоит задуматься, почему шоковая терапия не дает должного эффекта.

Однозначно репрессивный тон характеризует соответствующие статьи законодательства. Так, в Уголовном кодексе УССР указывается, что если наркотические вещества изготавливаются или приобретаются без цели сбыта, для себя, то эти действия наказываются в уголовном порядке лишением свободы на срок до трех лет, а те же действия, совершенные повторно, — до пяти лет. Примерно такое же наказание за этот вид обращения с наркотиками предусмотрено Уголовным кодексом РСФСР. Следовательно, если бы сегодня Полякова и лечили, то как уголовного преступника, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ибо то, что оп доставал наркотики, пользуясь служебным положением, усугубило бы его вину.

А между тем как раз «Морфий», быть может, доказательнее, чем любое научное исследование, побуждает взглянуть на такого пациента не с позиций запрещения и обвинения, а прежде всего с болью и состраданием. Рассказ с поразительной убедительностью показывает, что же происходит с человеком, попавшим в омут наркотического пристрастия, сколь быстр и необратим переход от психического компонента морфинизма к почти молниеносно развивающейся физической зависимости, к необходимости увеличения доз наркотика. Дневник Полякова буквально вопиет о том, как безмерно трудно спасти такого больного, даже если он, наконец, желает этого, и сколь мучительны, да, видимо, и антифизиологичны общепринятые методы лечения. Быть может, и поэтому, вследствие отгораживания от больного как от личности, до сегодняшнего времени лечение часто неэффективно.

Вот слова Полякова, поистине исключительно важные для наркологии: «Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

— Что вы видите смешного в этой болезни?

Но удержался, удерж…

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному. Ничем» {76}.

Анализируя «Морфий» в профессиональном аспекте, целесообразно сопоставить записи его героя, особенно после ухода из лечебницы, с содержанием речи выдающего русского психиатра В. М. Бехтерева при открытии в 1912 г. в Петербурге экспериментально-клинического института по изучению алкоголизма. Если мы придадим содержащемуся в этом выступлении выражению В. М. Бехтерева «алкоголики» более широкое значение — «наркоманы», то, думается, разделим его мнение, что для п индивидуального (разрядка моя. — Ю. В.) лечения должны применяться все признанные современной медициной наиболее пригодными меры: «…временные убежища, амбулатории, где больной может пользоваться на ходу гипнозом и другими физиотерапевтическими и фармацевтическими средствами, лечебницы для стационарных больных». В. М. Бехтерев указывает, что в одних случаях должно действовать

внушение без усыпления, в других — так называемая психотерапия высшего порядка или даже психоанализ Фрейда. «Мы прибегаем к сочетанному лечению, — подчеркивает ученый, — применяя одновременно с психотерапией и внушением и физические, укрепляющие организм способы лечения, и в то же время пользуясь лекарственными, тонизирующими и успокаивающими средствами… По-видимому, возможна разработка лечебных мероприятий на основах биохимических исследований… Новое учреждение, — заканчивает В. М. Бехтерев свою речь, — принимает на себя задачу оздоравливать и поднимать нравственно упавшую личность и в то же время изучать и выяснять меры общественного характера, предупреждающие нравственное падение человека, обусловленное тем, что является продуктом его же культуры, продуктом его цивилизации» {77}.

О, как далека обстановка, в которой лечится Поляков, от этой единственно приемлемой организации терапевтического процесса, и как терзает его мысль, что надо опять дать подписку и месяц страдать нечеловеческой мукой, будучи окруженным не сочувствием, а лишь презрением. Наверное, и поэтому из-за бездушия к нему — к Полякову приходит уверенность, что во время лечения он погибнет и что лечиться ему не нужно. Скажем прямо, и современный уровень лечения наркоманий нередко более напоминает стиль клиники, в которой находился Поляков, чем дух бехтеревского института.

К сожалению, врачи мало знакомы с этим произведением. Впрочем, в начале 70-х годов к нему проявила интерес комиссия по наркотикам при Минздраве СССР. В Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, в фонде М. А. Булгакова, сохраняется письмо председателя комиссии Э. А. Бабаяна, касающееся рассказа «Морфий» с позиций медицины. Однако рассказ так и не используется в пропаганде против употребления наркотиков. В самом деле, ведь формально «Морфий» никак не соответствует таким положениям: не допускать информирования о названиях наркотиков и применяемых наркоманами дозах; не использовать специальные медицинские термины, касающиеся клинических проявлений наркоманий; развенчивать бытующее еще ошибочное представление о наркоманах как о лицах с творческим складом, высоким интеллектом; не освещать эффекты наркотизации с использованием слов и выражений, придающих информации позитивную окраску («эйфория», «блаженство» и др.). Между тем дневник Полякова отвечает этим профилактическим целям, причем в истинно гуманном смысле, ибо Булгаков не осуждает и

не обеляет несчастного доктора, но раскрывает правду в ее горькой противоречивости. Ведь если бы наркотики вызывали только боль и муку, кто бы ими пользовался? Лишь в мае 1978 г., с купюрами из-за малого объема газетной площади, «Морфий» вновь увидел свет в еженедельнике «Литературная Россия», вновь пришел к читателю. Вводя это малоизвестное произведение Булгакова в наше общественное достояние, Константин Симонов писал в небольшом предисловии к «Морфию»: «Это рассказ о том, как неотвратимо гибнет человек, в силу ряда обстоятельств постепенно и поначалу незаметно для себя втянувшийся в употребление наркотиков. Булгаков написал этот рассказ с великолепным знанием дела, как врач, беспощадно ставящий диагноз и причин и последствий. Позиция Булгакова как писателя бескомпромиссна. Именно потому, что он любит людей, сочувствует им, он не боится выглядеть судьей тех слабостей, которые, с его точки зрения, недостойны человека».

Так была снята пелена забвения, так с большим запозданием восторжествовал, употребляя название одного из рассказов Ю. Щербака, закон сохранения добра.

Обращаясь к мотивам социальных предвидений в произведениях М. А. Булгакова, нельзя не остановиться и на его оценках алкоголизма, на отношении писателя к этому явлению во всей его многоликости. Известно, что один из первых, не дошедший до нас, рассказ Булгакова «Огненный змий» (или «Зеленый змий») касался последствий алкогольных галлюцинаций у больного в стадии белой горячки. Больной гибнет в пламени пожара — ему привиделся огненный змий, душащий его, и он поджигает свой дом. Мы не можем судить о сущности самого рассказа, только вправе предположить, что таких больных будущий писатель мог наблюдать в клинике М. Н. Лапинского.

«Гудок» и «Красная газета», «Рупор» и «Бузотер», «Заноза» и «Красный перец»… Булгаков-фельетонист часто касается па этих страницах проблем пьянства и алкоголизма как проявлений бескультурья, хамства, мещанства. Конечно, нет нужды преувеличивать литературные достоинства этой части его наследия, для него это лишь «проходные темы», но дарование писателя, его наблюдательность, прекрасное перо публициста отразились и в малых сатирах, уже тогда выделяя их в газетном половодье.

Например, фельетон «О пользе алкоголизма», опубликованный в «Гудке» в 1925 г.

«… — Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?

— Ого-го-го-го! — закричала масса.

— Ну хорошо, пьян, — согласился представитель. — Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос: на каком основании пьян уважаемый член союза Микула?

— Именинник он! — ответила масса.

— Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он… болен…

— Да-с, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере….. Я продолжаю, товарищи…….в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд, и всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. Пей, да дело разумей, — воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как-то: «Пьяному море по колено», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись», а какие, бишь, еще?..

— Чай не водка, много не выпьешь! — ответила крайне заинтересованная масса.

— Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься!», «Курица и та пьет», «И пить умереть, и не пить умереть», «Налей, налей, товарищ, заздравную чару!..»

…Итак, — гремел оратор. — Вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, однако вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу…..» {78}.

Фельетон, на первый взгляд, не клеймит алкоголизм уничижительными словами, скорее он вызывает улыбку. Но вспомним, например, восхваление спиртного — ив тексте, и в иллюстрациях — в «Книге о вкусной и здоровой пище» (издание 1952 г.), где приводилась «руководящая» цитата: «Весело стало жить, значит и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудка не терять и не во вред здоровью». Фельетон «О пользе алкоголизма», основанный, казалось бы, на частном факте, собственно, свидетельствует о том, что попустительство это давнее, усугублявшееся беспомощной пропагандой и пошлыми сентенциями. Примечательно, что примерно такую же лекцию в 60-х годах читал один из персонажей А. Райкина.

Известно, что фельетоны такого рода Булгаков сочинял молниеносно, за пятнадцать — двадцать минут, включая и

перепечатку. Блистательный юморист, он обогатил отечественную литературу и талантливыми образцами смешного. Но есть среди его сатир повествование, где писатель как бы следует своему учителю в литературе М. Салтыкову-Щедрину, где особенно сильна муза печали. Это «Самогонное озеро» — обличение нравов 20-х годов, перекликающееся и с нашими буднями. Его коллективный герой — печально знаменитая квартира № 50.

«… Председатель ушел со словами:

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь — самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не смогу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс… гражданин жури… лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. — Я к вам.

— Очень приятно.

… Заметку бы написал… статью… Желаю открыть общество… Так и написать: «Иван Сидорыч, эксперантист (так в ранних публикациях. — Ю. В.), желает, мол…»…

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем… извини… с… я завтра.

— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену)…

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре).

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.

— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова» {79}.

«Самогонное озеро» было опубликовано в 1923 г. И осушения

его не произошло, на глазах у всех оно превращалось в море. Хотя периодически принимались антиалкогольные постановления, проходили рейды по изъятию змеевиков, скрещивались газетные шпаги. Размышляя о причинах, обращаешься к поучительной печатной дискуссии между одним из адвокатов пьянства доктором К. К. Толстым и выдающимся русским гигиенистом Ф. Ф. Эрисманом. Дискуссия проходила в 1896–1897 гг., но в словах Ф. Ф. Эрисмана, по сути, ничего не устарело. По суждениям К. К. Толстого, отмечает Ф. Ф. Эрисман, «русский народ пьет мало, даже слишком мало, потребление спиртных напитков до сих пор не нанесло ему никакого вреда, и он может смело пить больше… По официальным сведениям, приводимым д-ром Толстым, «острых отравлений спиртом» в Петербургской губернии ежегодно наблюдается на 1 млн. жителей лишь несколько десятков, тогда как в одном Петербурге еженедельно несколько сот человек поднимаются на улице в «безобразно пьяном виде»… Может быть, д-р Толстой скажет, что поднимаемые на улицах в безобразно пьяном виде не суть больные и что это состояние нисколько не вредно для здоровья… Широкое распространение таких взглядов на потребление алкоголя…….мы считали бы большим несчастьем для России» {80}.

М. Булгаков показал в таком безобразно пьяном виде лишь квартиру № 50, но это в сущности предупреждение о народном бедствии, грозящем стране, провозгласившей великие лозунги. И все же в угоду официальной статистике долгие годы считалось, что «самогона в кварталах нет», что его и не может быть. Между тем производство самогонных аппаратов превратилось чуть ли не в индустрию. Писатель, как бы подтверждая выводы основоположника русской гигиенической науки Эрисмана об отсутствии какого-либо водораздела между бытовым пьянством и алкоголизмом как эпидемической болезнью, предъявил свое обвинение около семидесяти лет назад.

Фельетоны и рассказы М. Булгакова, естественно, касались и изъянов и нелепостей в организации медицинской помощи. В последние годы по радио нередко звучит его рассказ «Летучий голландец» о злоключениях мнимого больного, попавшего в курорт-но-бюрократическую карусель и мотающегося по стране от Урала до Сочи. Рассказ актуален и в наши дни. А разве не напоминает иного современного участкового врача, порой вольно или невольно превращающегося в «скоростника», персонаж фельетона «Человек с градусником»?

«Врач завинтился совершенно. Приехал на станцию, осмотрел пять человек с катаром желудка. Одному выписал соду три раза в день по чайной ложке, другому три раза в день по полчайной

ложки, третьему — один раз в день по 1/2 чайной ложки, четвертому и пятому для разнообразия через день по ложке, шестой ногу сломал, двое страдали ревматизмом…

И тут прибежали и сказали, что в летучке один заболел. Врач только тихо крякнул и полетел к больному: «… Когда заболел? 13-го? 15-го? Ах, 16-го… Хорошо, то бишь, плохо… Сколько тебе лет? То есть я хотел спросить: живот не болит? Постой, постой, не кричи. А тут?»

— Ого-го…..

Дрезина готова, — послышалось за дверью.

— Сейчас, одну минуту… Голова болит?.. Когда заболела? То есть я хотел спросить, поясницу ломит?.. Ага! А коленки? Покажи коленку. Сапог-то стащи!

— У меня в прошлом году…

— А в этом?.. Так… Селедки не есть! Расстегни рубашку. Вот те градусник. Да не раздави, смотри. Казенный…

— Дрезина дожидается!

— Счас, счас, счас!.. Рецепт напишу только. У тебя инфлуенца, дядя. Отпуск пишу тебе на три дня. Как твоя фамилия? То есть я хотел спросить, ты женатый? Холостой? Какого ты полу?.. Фу, черт, то есть я хотел спросить, ты застрахованный?

… Вот тебе рецепт. Порошки будешь принимать…

— Дрезина…

… Через три дня на станции сидел человек в куртке с бугром под левой мышкой и рассказывал:

— Замечательный врач. Прямо скажу: выдающий врач! Ну до чего быстрый, как молния! Порх, порх… Сейчас, говорит, язык покажи, пальцем в живот ткнул, я свету не взвидел, все выспросил, когда да как…..

— Ну, что ж, вылечил? Капли, наверное, давал. У него капли есть замечательные…

— Да, понимаешь, не каплями. Градусником. Вот тебе, грит, градусник, носи, говорит, на здоровье, только не раздави — казенный!…

— И помогает градусник?

Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день полегчало. Опять же и голова…

— До чего наука доходит!» {81}.

Но вот совсем другая по сюжету зарисовка из заметок «Столица в блокноте», печатавшихся в газете «Накануне» в 1922–1923 гг. Ее название — «Гнилая интеллигенция».

«Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор, — с чувством ответил я». Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждениях сказали: «сокращение штатов».

«… Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой рассыпной».

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель: шесть студентов пятого курса и я…

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давальцы есть…

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим мы раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната? Он хихикнул.

— И комната есть….. Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: «А вы, позвольте узнать, кто, на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное». Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось!…. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых…

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писал все: гнилая интеллигенция, гнилая… Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция…» {82}.

Заметка М. Булгакова не так сиюминутна, как может показаться. Медицина немало потеряла из-за появления «железной интеллигенции», из-за того, что врачи в силу жизненных обстоятельств лишь между прочим занимались рентгеном.

«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое…» Здесь, в бывшем Румянцевском музее, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, хранятся рукописи М. А. Булгакова, его письма, книги, которыми он пользовался. И вот я перелистываю путеводитель «Крым» И. М. Саркизова-Серазини (издательство «Земля и фабрика», 1925 г.), принадлежавший Михаилу Афанасьевичу, вчитываюсь в места,

подчеркнутые им красным или синим карандашом.

«Крымское сирокко доводит нервных больных до исступления (подчеркнуты слова, которые выделил Булгаков. — Ю. В.). Люди умственного труда чувствуют ухудшение….. Неудобство комнат, полное отсутствие медицинской помощи… И не могут люди с больными нервами долго по ночам гулять… Как только мраком окутывается долина, идут они в свои комнатки и спят, тревожимые странными сновидениями».

Эта довольно мрачная характеристика не располагала к поездке писателя в Коктебель. Тем не менее он воспринял путеводитель, пожалуй, юмористически. В очерке «Коктебельская загадка» М. Булгаков буквально цитирует эти предупреждения. «Беспрерывный ветер….. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель… Отсутствие воды — трагедия курорта……. колодезная вода, соленая, с резким запахом моря…»

«Дверь открылась.

— Вам письмо. В письме было:

«Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.»

И мы поехали…» {83}.

Такова, собственно, преамбула цикла «Путешествие по Крыму». Эти очерки и сегодня побуждают взглянуть на уникальный уголок природы с позиций медицины и гигиены.

Например, накануне приезда М. А. Булгакова и Л. Е. Белозерской в Крым в Ливадии в апреле 1925 г. был открыт первый в мире крестьянский санаторий. Вот как описывает его писатель: «… Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования. Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко, лежит туман… На площадках, усыпанных таким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза… И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое зеленое, гигантскими уступами — сколько хватит глаз — падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло» {84}. Пожалуй, этот очерк можно назвать своеобразным художественным свидетельством, напоминающим об открытии первого курорта для крестьян. А в музее современной Ливадии следовало бы

вспоминать и эти слова.

«Представьте себе развороченную крупно-булыжную московскую мостовую, — пишет Булгаков о Ялте. — Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Но менее понятно, что во имя курортного целомудрия…….налеплены……. загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот…

Само собою разумеется, что при входе на пляж сколочена скворешница с кассовой дырой, и в этой. скворешнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза. («Финансовая фантазия» Остапа Бендера у Провала здесь как бы предвосхищена! — Ю. В.).

Диалог в скворешной дыре после купанья:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно?..

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал» {85}.

Этот репортаж о крымских пляжах актуален и сегодня. Уже из далека 25-го года видно: на этой береговой кромке нужны десятки курортов, разумеется, благоустроенных, отвечающих требованиям санитарии и гигиены.

«Годы испытания, когда тебе мешают работать, конечно, менее нужны, чем годы, когда тебе не мешают, но ничто не пропадает даром, — писал В. Каверин. — Булгаков, который прошел этот путь, не потерял ни одного часа». Поразителен, в частности, и тот факт, что даже в моменты заболевания, в часы и дни тифа, мысль Михаила Афанасьевича как бы запечатлевала ощущения, возникающие в таком состоянии. В этом отношении представляют интерес некоторые страницы «Записок на манжетах», являющиеся как бы эскизами и для отдельных мест в «Белой гвардии». Речь идет о пребывании Михаила Афанасьевича во Владикавказе весной 1920 г., когда он перенес возвратный тиф.

«Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть!

… Тридцать девять и пять!

Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто

инфлюенца?…

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего… И эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду!…

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса… и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

… Просвет… тьма. Проев… нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все-все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна…» {86}.

Подобный галлюцинаторный лихорадочный калейдоскоп при высокой температуре, конечно, учитывают опытные врачи. Отрывок из «Записок на манжетах» рисует именно такую картину болезненной «толкотни психических образов».

Характерно, что в 1923 г. в журнале «Врачебное обозрение» помещена статья Н. В. Краинского «О лихорадочном бреде». Описанное и обсуждаемое в этой работе (Н. В. Краинский подчеркивает, что в ее основе лежат и самонаблюдения) во многом совпадает с приведенными выше строками Булгакова.

«Психика больного, — пишет Н. В. Краинский, — живет своею особенною внутреннею субъективною жизнью в виде мучительных грез, кошмаров, бреда и причудливых видений, в которых своеобразно преломляются периодически врывающиеся туда внешние впечатления, проходящие сквозь нарушившие свою функцию органы чувств. Это состояние есть мучительное страдание, которое врач не только не должен игнорировать, но должен стремиться облегчить всеми силами своего знания. Даже в состоянии, близком к агонии, еще возможно управление со стороны врача угасающею психикою и облегчение тяжелого перехода в недра небытия. Это высокая задача и славный подвиг для врача… Исследование разбираемого состояния затрудняется еще тем, что душевный мир инфекционного больного остается замкнутым. Больной редко повествует о своих видениях и бреде, а когда приходит в себя — волшебный мир злых снов бесследно исчезает, и больной сохраняет о них лишь смутное воспоминание. Как правило — эти грезы забываются» {87}.

Очевидно, написанное М. А. Булгаковым и Н. В. Краинским возникло независимо друг от друга. Но и почти неизвестная современному читателю научная публикация, и автобиографические страницы, принадлежащие перу М. Булгакова, равно значимы для медицины!

«Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец…» Мы обращаемся к страницам «Белой гвардии», к ее турбинской линии.

«Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами… Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху, больше ничего не выйдет… Он вспомнил веселую дурацкую пословицу: «Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на дно».

И тут увидел ее…

— Офицер! Сюда! Сюда…

Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам…

«Спасла бы… спасла бы… — подумал Турбин, — но, кажется, не добегу… сердце мое». Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую РУКУ-

… Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится…

В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен»…

«Сердце-то есть? — подумал он. — Кажется, оживаю… может, и не так много крови… надо бороться». Сердце било, но трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить…

Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал:

— Слава бо… цела кость… Рвите полосу или бинт.

… Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь.

— Сзади есть? — очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.

— Есть, — она ответила с испугом.

— Затяните выше… тут… спасете.

Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени,

вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин закусил нижнюю губу.

Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь…

(….) Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. (….)

— Ох, какой жар у вас. Что же мы будет делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?

— Не надо, — тихо сказал Турбин, — доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.

… Утром, около девяти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков — мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на Спуске не было…» {88}.

В этом эпизоде все поразительно точно — и ощущения при ранении, и клиника кровопотери, и стремление выжить, и врачебный опыт Турбина, направленный на самоспасение, когда скупо отбираются лишь самые необходимые слова и движения, чтобы сохранить дух жизни. Бесспорно, перед нами и медицинская биография автора, все то, что он видел на войне и в земстве.

«… Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды… Турбин бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый, с засученными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:

— Помолчите, коллега…..

— Совсем раздевайте и сейчас же в постель, — говорил клино-бородый басом…

В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой…

— Что вы, ей богу, — сказал он, — с врача? Тут поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо…

— Нельзя, — донесся слабый голос Турбина, — нельзя в госпит…

— …Да, конечно, я сам понимаю… Черт знает что сейчас

делается в городе….. Гм… пожалуй, он прав: нельзя… Ну, что ж, тогда дома… Сегодня вечером я приеду.

— Опасно это, доктор? — заметила Елена тревожно.

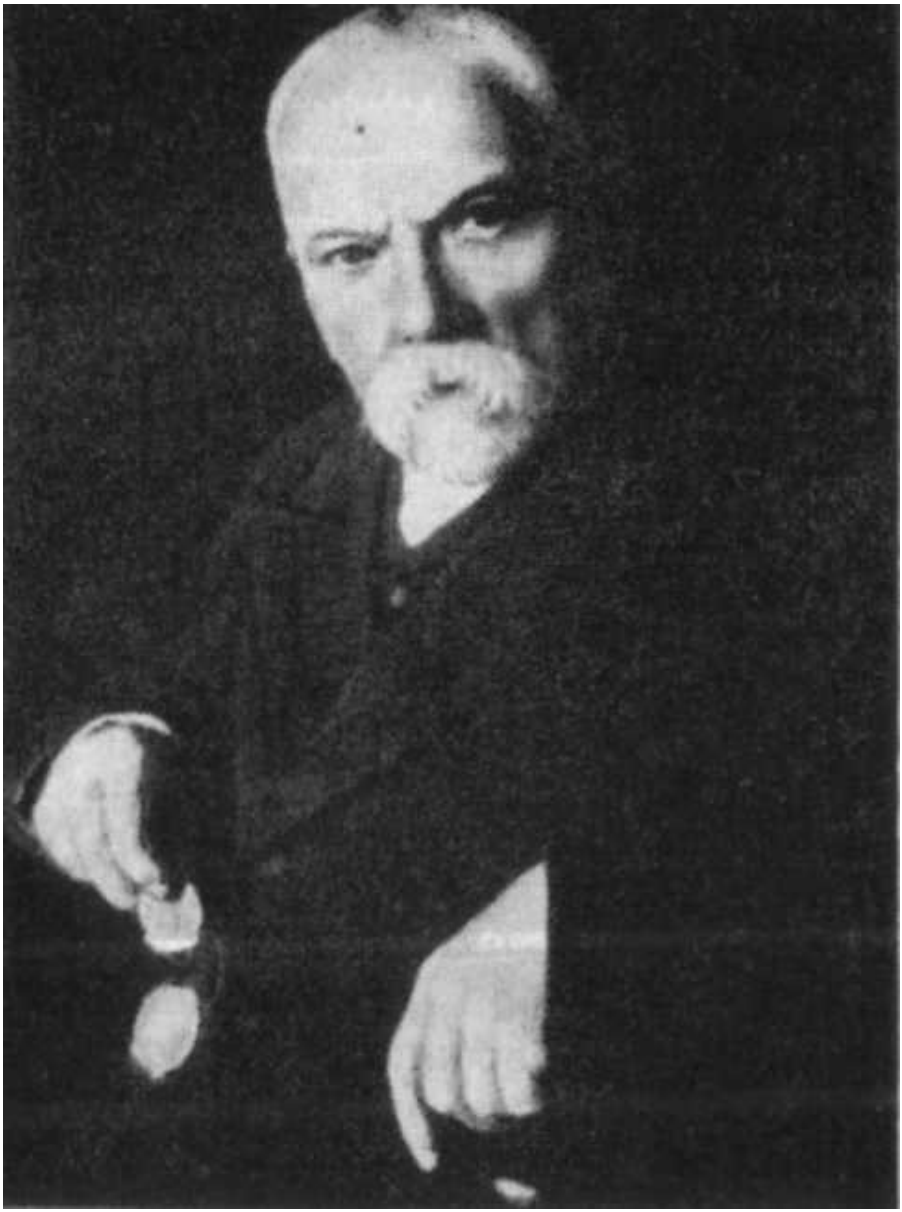
— Кость цела… Гм… крупные сосуды не затронуты… нерв тоже… Но нагноение будет… В рану попали клочья шерсти от шинели… Температура… — Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал:

— Полный покой… Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером» {89}.

В госпиталь надо… Конечно, это исключалось — в лечебных учреждениях города распоряжались петлюровцы. Не могло быть и речи о вызове знакомого семье доктора Курицкого (кстати, изучая архивные документы, мы обнаружили, что в медико-санитарном отделе департамента внутренних дел Директории числился врач с почти аналогичной фамилией. — Ю. В.). И все же выход был найден, нашлись бесстрашные, не побоявшиеся риска врачи. Булгаков подчеркивает: настоящий врач при оказании помощи должен находиться вне политики.

«— Тридцать девять и шесть… здорово, — говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. — Та-ак… Все может быть… Но, во всяком случае, практике конец… надолго. Лишь бы руку-то сохранить… а то что я без руки…

… От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар… К вечеру……ртутный столб…….выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом.



Профессор Н. М. Волкович (1858–1928)

Его имя звучало в семье Булгаковых. Возможно, он явился одним из прототипов седого профессора в «Белой гвардии» Из фондов Центрального музея медицины УССР

Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил — «пить»…

… Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты — рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать…

В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома… Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери…» {90}.

Серый ком страха, рассевшийся на одеяле… Жгучая свечка в груди, превращающаяся в ледяной ножичек… Боль в ране, выворачивающаяся из смягчающего чехла…

Формально все эти определения не относятся к медицинской терминологии, это художественное видение состояния Турбина. И вместе с тем они безошибочны для различных неотложных состояний, современному врачу полезно вдуматься в них, ибо

перед ним предстает и болезнь и больной.

Обратим внимание и на такую деталь — полковник Малышев, появляющийся в бредовых видениях раненого, не трогает самого дорогого для Турбина — врачебного диплома и карточек матери. «Цел ли мой диплом?» — запрашивал в свое время родных М. Булгаков.

В одной из редакций романа есть слова, что рана Турбина заживала сверхъестественно. Но вспомним, что перелом в течении его болезни происходит во время страстной молитвы Елены, когда в сердце ее смешиваются и страх, и радость, когда Бог как бы отвечает ей. Есть ли в этих знаменитых строках уроки и для медицины? Думается, они состоят в том, что наше сопереживание в связи со страданием ближнего, как, впрочем, и сопереживание врача, действительно необычайно важно. Быть может, в моменты такого душевного сосредоточения генерируются и определенные формы целительного взаимовлияния — от сердца к сердцу… Вот еще один из примеров, когда М. Булгаков предстает Учителем жизни.

…Войдем вслед за писателем в морг при анатомическом театре.

«— Доложить можно, — сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел, и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа и слева двери были белы… Сторож вышел и сказал:

— Зайдите сюда.

Николка вошел туда, за ним Ирина Най… Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос».

В этой фигуре узнается профессор анатомии женского медицинского института Павел Иванович Морозов. Он руководил этой кафедрой с 1918 г., и М. Булгаков в эти страшные недели, возможно, приходил к нему, на Собачью тропу, а потом и на Фундуклеевскую в анатомический театр. Картина подвала, как мы полагаем, его собственные впечатления.

«— Вы родственники? — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде.

… Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой стали на платформу (этот лифт Булгаков, очевидно, видел в действии в период учебы на медицинском

факультете, остатки устройства сохранились в здании бывшего анатомического театра до сих пор. — Ю. В.). Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеваными, в синяках…

— Вы смотрите — он? Чтобы не было ошибки…

Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди, животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови.

— Он, — сказал Николка». {91}.

Как печальны и строги эти строки, и какой жалости к погибшим полны они. Собственно, вся «Белая гвардия» — протест против убийств. Но сцена в анатомическом театре так и стоит перед глазами, призывая и нас, далеких потомков очевидцев тех событий, к человечности.

«Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Бег»… — первые великие доказательства мощи таланта Булгакова. Всмотримся пристальнее в фигуры Хлудова и де Бризара в «Беге». Грозные повороты событий в этом стане страха и жестокости предрешают психически больные люди!

Как указывает ряд исследователей, прообразом Хлудова явился белогвардейский генерал Слащов. Действительно, работая над пьесой «Бег», М. Булгаков, по воспоминаниям Л. Е. Белозерской, знакомился с его книгой «Крым в 1920 году». О мемуарах Слащова, чьи приказы звучали так: «Требую выдавать каждого преступника, пропагандирующего большевизм…» — упоминает и исполнитель роли Хлудова видный советский актер Н. К. Черкасов. Готовясь к постановке «Бега», И. К. Черкасов изучал биографию самого молодого генерала Генерального штаба царской армии, а затем соперника барона Врангеля в Крыму, способного военачальника и беспощадного временщика.

Черты Слащова и Хлудова как бы накладываются друг на друга. Тем не менее Хлудов отнюдь не копия реального белогвардейского генерала. Выскажу мнение, что, выписывая черты этого персонажа, Булгаков учитывал и работы по психиатрии, обращался к страницам руководств, с которыми был знаком еще в студенческие годы, скажем, в книге М. Н. Лапинского «Классификация психических болезней по

Крепелину». Именно такое построение образа Хлудова предопределялось и концепцией пьесы, и пережитым и увиденным автором в его тяжкой страде конца 19-го — начала 20-го годов, когда как врач он встречался с подобными маньяками лицом к лицу. Возможно, по отношению к Слащову тут есть и преувеличение, но во имя истины истории.

«… Лишь опытный и наблюдательный глаз мог бы разобрать беспокойный налет в глазах у всех этих людей. И еще одно — страх…….. можно увидеть в этих глазах, когда они обращаются в то место, где некогда был буфет первого класса. Там…….. на высоком табурете сидит Роман Валерианович Хлудов… Оп болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы. Оп морщится, дергается, любит менять интонации. Задает самому себе вопросы и любит на них сам же отвечать. Когда хочет изобразить улыбку — скалится.

Он возбуждает страх. Он болен — Роман Валерианович…»

Морщится, дергается, задает самому себе вопросы… Вслушайтесь в нервические фразы Хлудова: «Час жду «Офицера» на Таганаш… В чем дело? В чем дело? В чем дело?… Меня не любят!…»

«… Курить доктор запрещает! Нервы расстроены… Да не помогают карамельки, все равно курю и курю».

«… Вы явно нездоровы, генерал (не выходя из рамок этикета, говорит Хлудову во вспыхнувшем споре между ними главнокомандующий, когда приходит сообщение, что красные перешли Перекоп. — Ю. В.) и я жалею, что вы летом не уехали за границу лечиться, как я советовал».

«… Кто бы вешал, вешал бы кто, ваше высокопревосходительство?» — срывается Хлудов.

Этого белого лицом, как кость, человека с неразрушимым офицерским пробором, в солдатской шинели с генеральскими погонами, ни на секунду не оставляет болезненная тревога: «Чем я болен? Болен ли я?… Я болен, я болен, только не знаю чем».

Да, генерал-вешатель болен. «Уйдешь ты или нет? — обращается он к невидимому призраку…Я могу пройти сквозь тебя, подобно тому, как вчера стрелой я прошел туман. (Проходит сквозь что-то.) Вот я и раздавил тебя!…» И вместе с тем люди из контрразведки знают, что, только вступив в разговор с Хлудовым, солдат Крапилин уже обречен. Доска для виселицы с надписью «Вестовой Крапилин — большевик» готовится сразу же, пока генерал слушает его.

Вновь и вновь Хлудов беседует с видением.

«… (Обернувшись: через плечо, говорит кому-то.) Если ты стал моим спутником, солдат, ты говори со мной. Твое молчание

давит меня….. Или оставь меня!… Ты знай, что я человек большой воли и не поддамся первому видению, от этого выздоравливают!…

Голубков. С кем вы говорите?

Хлудов. А? С кем? Сейчас узнаем. (Рукою разрезает воздух.) Ни с кем. Сам с собой…»

Нет, выздороветь он уже не может. Галлюцинации не оставляют Хлудова даже в критический момент посадки на отходящие в Константинополь пароходы. Они будут преследовать его и там, в Константинополе.

«… **Хлудов**. Замолчи. (Утихает.) Ну вот! Одного я удовлетворил и теперь на свободе могу говорить с тобой. (Оборачивается через плечо.) Чего ты хочешь, чтобы я остался? Остался? Нет. Бледнеет, отходит. Покрылся тьмой и стал вдали…

Голубков. Ты болен. Хлудов, это бред! Хлудов, надо спешить, уйдет «Святитель», мы опоздаем!

Хлудов. Черт! Какая Серафима?» {92}.

Болезнь Хлудова еще более усугубляет поле нервозного напряжения и страха вокруг него. При не нарушенном в целом сознании и поведении, при сохраняющейся воле у него, несомненно, психопатологический обсессивный синдром, с не покидающими его навязчивыми представлениями, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Причем все это некорригируемые, а значит, наиболее опасные убеждения и эксцессы. «Медленно сходящий с ума палач» — охарактеризовал В. Каверин генерала Хлудова. Действительно, перед нами зловещее сочетание психического расстройства и неограниченной власти у одного человека. Конкретный персонаж пьесы, полусумасшедший Хлудов, — это как бы символ необратимого бега врангелевщины, знак краха и обреченности белых сил. Впрочем, подобная фигура чрезвычайно страшна повсюду, в любой социальной и политической ситуации. И вылепить жуткий запоминающийся образ одержимого манией диктатора, каким он навсегда вошел в литературу, Булгакову, бесспорно, помогло и его точное врачебное видение, глубокое знание психиатрии. Писатель, не являющийся врачом, просто не сумел бы передать этих оттенков и пропорций. Любопытно, что примерно так характеризовал отличия в творчестве А. П. Чехова и Э. Золя французский исследователь творчества Чехова врач А. Дюкло. Э. Золя, замечает он, затрагивая аспекты медицины, пользуется медицинским справочником, механически перенося в сюжет названия и симптомы болезней, и совсем иначе это делает писатель-врач, изображая страдания без сентиментальности, а патологию — без преувеличения. Например, Булгаков не воспользовался реальным

фактом, что Слащов являлся кокаинистом. Хлудов нестрадает наркоманией, однако его недуг, в конкретных обстоятельствах, пожалуй, более опасен для общества.

Психическим заболеванием страдает и де Бризар.

«…Последним врывается с перрона де Бризар, становится во фронт Главнокомандующему.

Де Бризар. Здравия желаю, ваше императорское величество!

Главнокомандующий. Что это?

Четвертый штабной. Маркиз де Бризар контужен в голову.

… У камина сидит неподвижно де Бризар с перевязанной головой…… входит Главнокомандующий.

Главнокомандующий. Ваша голова как?

Де Бризар. Не болит, ваше высокопревосходительство. Пирамидону доктор дал. (В этой реплике просматривается и плачевное состояние медицины в белой армии. — Ю. В.).

Главнокомандующий. Так… пирамидон, говорите? (Пауза.) Как по-вашему, я похож на Александра Македонского?

Де Бризар (не удивляясь). Я, ваше высокопревосходительство, к сожалению, давно не видел портретов его величества.

Главнокомандующий. Про кого вы говорите?

Де Бризар. Про Александра Македонского, ваше высокопревосходительство.

Главнокомандующий. Величества? Гм…..» {93}.

Де Бризар дезориентирован во времени, у него проявляется, очевидно, деперсонализация. И хотя сумасшедший командир гусарского полка в общем второстепенный персонаж, это еще более подчеркивает безысходность положения этого скопища солдат и офицеров. А рядом хлудовские подручные в контрразведке, Турин и Тихий, в обстановке хаоса творят неправые дела, доводя ради своей корысти до умоисступления невиновных людей…

Середина 20-х годов. Выходит в свет блистательная повесть Булгакова «Роковые яйца», а затем в течение января — марта 1925 г. он завершает работу над «Собачьим сердцем». Об этих поразительных произведениях в области научно-социальной фантастики мы и поведем дальнейший разговор.

Остановимся прежде всего на научной хронике эпохи. Эндокринная хирургия и технизация медико-биологических исследований, синтез новых лекарственных средств и первые попытки искусственного питания, секреты живой клетки и физические основы светолечения и лучевого воздействия — развитие этих направлений относится именно ко времени создания булгаковских творений о луче жизни и превращении животного в человека. Так, в журнале «Врачебное обозрение» за

1923 г. мы находим такие темы, как кинемоскопия, внутривенные впрыскивания крови животных, удаление надпочечников, хирургия мозговых опухолей, рентгеновский аборт, пневморадиография внутренних органов, иммунотерапия, пересадка яичек, серодиагностика рака, фармакология таллия и стронция, висмутовая терапия сифилиса, нейропатическая конституция, химиотерапия злокачественных опухолей, трофическая функция симпатических нервов, хирургия поражений лицевого нерва. Среди новых книг рекламировались руководство по биологии профессора Б. Бирукова (с 251 рисунком в тексте) и руководство по эмбриологии профессора Трииеля (со 173 рисунками в тексте). «Этюды сексуальной биологии» (произвольное изменение пола и искусственное омоложение по проф. Штейнаху). Медицинские фирмы предлагали операционную мебель и идеальные рентгеновские аппараты, микроскопы и стереоаппараты, приборы для диатермии и применения токов высокого напряжения.

Патология придатка мозга, русский способ пластики носа, новый метод хирургического лечения нефрита, зильберсальварсан, ларингопластика, лучевая терапия, стронций в качестве анальгетика, карциполизин, эманация радия, эндолюмбальная терапия — вот некоторые публикации в этом же журнале в 1924 г.

М. А. Булгаков, как мы полагаем, хорошо ориентировался в источниках научной информации. Например, опыты с «красным лучом», которым профессор Владимир Ипатьевич Персиков в «Роковых яйцах» пользуется для ускорения эмбриогенеза голых гадов, довольно наглядно отражают и определенные достижения экспериментальной биологии того времени, в частности, явления регуляции в протоплазме, открытые А. Г. Гурвичем, а также поиски в области радиационной генетики, которые развернул в 20-х годах Г. А. Надсон в Государственном рентгенологическом и радиологическом институте в Ленинграде. Например, в 1920 г. профессор Г. А. Надсон указывал, что применяемые им лучи «ускоряют темп жизни». Но наряду с этим исследования в Зоологическом институте на улице Герцена как бы смотрят в будущее, предвосхищая генную и клеточную инженерию. Блестящие коробки и аппараты, рефлектор над длинным экспериментальным столом, неведомые инструменты — эти детали лаборатории Персикова в «Роковых яйцах» можно увидеть и в любом нынешнем НИИ биологического профиля.

В институте «сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей».

Мы уже касались некоторых гипотез о возможных прототипах профессора Персикова (И. И. Косоногов и А. А. Коротнев) и аналогах его экспериментов, проистекающих из университетских воспоминаний М. А. Булгакова. Следует вместе с тем согласиться с доказательной мыслью М. О. Чудаковой, что в этом образе весьма реально отражены черты известного биолога-эволюциониста А. Н. Северцова, работавшего в Зоологическом музее. Как полагала Л. Е. Белозерская, в Персикове угадывается ее родственник Е. Н. Тарновский, представлявший собой, по ее словам, «кладезь знаний». Фамилия Тарновская встречается и в переписке между М. А. и Н. А. Булгаковыми: Михаил Афанасьевич просил брата выслать для нее лекарства. (Трогательная деталь: эти медикаменты М. Булгаков просит выслать взамен предназначавшихся для его семьи иных предметов).

Увлеченность Персикова наукой, обширность его знаний, весь склад его натуры вызывают симпатию, пожалуй, это один из лучших образов ученых в мировой литературе. Несчастье в Шереметеве, чуть было не погубившее Москву, не произошло бы, если бы не невежественность антипода профессора злосчастного Александра Семеновича Рокка — в прошлом флейтиста в кинотеатре, редактора крупной газеты в Туркестане, члена высшей хозяйственной комиссии по орошению Туркестанского края (и этот прожект звучит современно) а теперь обладателя «красного луча».

По сути, Рокк — своеобразный предшественник академика Т. Д. Лысенко и ему подобных теоретиков и экспериментаторов, сама формулировка работ которого, приводимая в «Энциклопедическом словаре» (1954 г.), — развитие мичуринского учения о наследственности и ее изменчивости, разоблачение и разгром реакционно-идеалистического направления в биологии (вейсманизм — менделизм — морганизм) — воспринимается сегодня как научный нонсенс. Быть может, если бы Рокк не перепутал яйца, то и он бы стал академиком…

Рокк является к Персикову с плотной бумагой на получение аппарата. Владимир Ипатьевич пытается протестовать, однако по телефону с ним говорят, как с малым ребенком, и он вынужден повиноваться.

Выясняется, что Рокк не зоолог и вообще никогда не ставил экспериментов. И все же из института в зимнюю оранжерею в Шереметеве (остатки этой оранжереи Булгаков, очевидно, видел в имении в Высоком. — Ю. В.) увозят три большие камеры, оставив Персикову только первую, маленькую.

«— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил

Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия. — Вот увидите… Что? Не выведу?» Невиданная величина малиновых яиц, в которых слышался беспрерывный стук, бегство птиц и лягушек, беспричинный собачий лай в округе — все это не заставляет Рокка задуматься. С беспечностью дикаря, в руки которого впервые попал динамит, он способствует появлению страшного поголовья змей-гигантов, и смертоносная армада начинает двигаться на Москву. Лишь неожиданные морозы останавливают ее…

Вещее предвидение автора повести страстно напоминает, сколь важна в науке настоящая школа, сколь необходимы устои и как опасна административная профанация знаний. Но есть и другая сторона. Заметим, что так же, как гиперболоид инженера Гарина, рожденный воображением А. Н. Толстого, можно назвать предшественником лазера, так и «красный луч» профессора Персикова (а «Роковые яйца» написаны раньше, чем «Гиперболоид инженера Гарина») — это фактически предсказание величайших возможностей лучевой энергии в биологии и медицине. Однако это и предостережение о том, что источники подобной энергии, попавшие в распоряжение рокков, могут вызвать грандиозную катастрофу. Научное открытие требует величайшей осторожности в обращении с ним, и, входя в мир неведомых физико-химических и биологических явлений, нужно привносить в эти взаимоотношения и новые этические законы и правила, ибо новая технология может нести не только добро, но и зло — такова пророческая мысль Булгакова. «…Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны… Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами… Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение. — Ведь это же чудовищно!» {94}.

«Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкапу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук». Мы попадаем в операционную профессора Преображенского в «Собачьем сердце», где вскоре будет поставлен уникальный эксперимент. Шарик станет Шариковым. Но какова научная первооснова знаменитой повести? Можно предположить, что среди специальных источников совершенно особое место занимала книга директора станции экспериментальной хирургии в Коллеж де Франс С. А. Воронова «Омоложение пересадкой половых желез». Выдающийся французский хирург Сергей Абрамович Воронов, работавший в Париже с 1910 г., был русским

по происхождению. Он один из пионеров трансплантологии. С 1912 г. он начал пересадку яичников (отметим, что обезьяньи яичники пересаживает и Ф. Ф. Преображенский. — Ю. В.), в 1914 г. пересадил щитовидную железу, а в 1915 г. осуществил пересадку суставов. В 1919 г. хирург приступил к трансплантации мужских половых желез. К октябрю 1923 г. Сергей Воронов 52 раза произвел пересадку человеку мужских половых желез обезьян. В 1923 и 1924 гг. работы С. А. Воронова были опубликованы в Харькове и Ленинграде.

…К Филиппу Филипповичу приходит очередной пациент. «Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна…

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннер — двадцать пять лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы кудесник…

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло… — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на рю де ла Пэ» {95}.

А вот документальные выписки из наблюдений С. А. Воронова, приводимые в его книге. «Наблюдение IV. Француз, 64 лет… Операция 16 ноября 1920 г… К нему вернулась та половая способность, которой он обладал лет 15 тому назад. На мои советы экономнее расходовать свои силы, он всегда повторял: «Когда я растрачу весь капитал, который вы мне дали, я попрошу вас повторить операцию, как это вы делали с вашими старыми баранами»» {96}.

«Наблюдение XXVIII. Француз, архитектор, 73 лет. Операция 15 мая 1923 г… Наиболее изумительны

изменения со стороны половой сферы, прежде совершенно инактивной. Больной испытывает состояние эротизма, чрезмерного повышения половой деятельности… Теперь прошло уже пять месяцев после операции, и половое возбуждение первых трех месяцев значительно утихло» {97}.

Разве не пациенты Воронова как бы пересажены на московскую почву, где, как знал Булгаков, некоторые хирурги, например А. А. Замков, заинтересовались этим разделом эндокринной хирургии?

Характерно, что С. А. Воронов глубоко изучал физиологию пересаженных клеток, что он был не просто модным хирургом с мировым именем, чьи операции собирали врачей из Лондона, Рима, Шанхая, Барселоны, Женевы, Брюсселя, а крупным ученым-экспериментатором. Ученым примерно такого же уровня является и Преображенский. Показательно, что в 1-м издании Большой медицинской энциклопедии С. А. Воронову посвящена специальная статья и помещен его портрет. Таковы необходимые данные, несколько дополняющие научную предысторию «Собачьего сердца».

«… Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие….. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых…

— Четырнадцать минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу…

— Трепан!

… Обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал… Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович…….ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга…

— Иду к турецкому седлу…..

На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью……. Придаток давайте!

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой («Не имеет равных в Европе… ей-богу», — смутно подумал Борменталь) он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими (опять перед нами чисто хирургическое наблюдение. — Ю. В.), ухитрился янтарного нитью его там замотать…

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!…» {98}.

Описанная выше операция по пересадке гипофиза целиком никогда не производилась, это хирургический эксперимент, вымышленный Булгаковым. Укажем, однако, что Филипп Филлипович пользуется доступом, разработанным русским хирургом Н. В. Богоявленским и принятым в отечественной нейрохирургии. Мозговой придаток (гипофиз) — действительно уникальный полифункциональный нейрогормональный орган, своеобразное сердце внутренней секреции, во многом предопределяющее деятельность всей эндокринной системы. Далекие лабиринты мозга, перекресток жизни и смерти… Гипофиз очень мал но размеру, у человека его масса составляет лишь 0,55—0,65 г, и Филипп Филиппович вживляет Шарику именно такую крохотную желёзку, надеясь на резкое омоложение и получив, однако, совершенно неожиданно совсем другой эффект — удлинение костей, выпадение шерсти, появление речи, прямохождение, возникновение человека…

Из тетради доктора Борменталя.

«22 декабря 1924 года. Понедельник История болезни.

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик… Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный…

Сердце, легкие, желудок, температура…

23 декабря. В восемь с половиной часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины…

Показания к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей… (Напомним, что термин «омоложение» мы встречаем и у С. А. Воронова. — Ю.В.).

7 января…Произносит очень много слов…..

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок.

…

Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка:

> «Слухи о марсианине в Обуховой переулке ни на чем не основаны»…» {99}.

Конечно, марсианин в Обуховом переулке — газетные небылицы. И все же, если чисто теоретически представить себе подобную трапсплантацию животному трупного консерванта человеческого гипофиза, его организм, возможно, прореагировал бы на подобную видовую замену важнейшего гормонального центра весьма неожиданными физиологическими реакциями. Однако Кентавр, безусловно, не возник бы, и «очеловечивания» ни пса, ни даже обезьяны, разумеется, произойти бы не могло. Таким образом, дневник доктора Борменталя целиком вымышлен. Но вымышлен так, что за каждой записью чувствуется высокообразованный врач, все подробности точны и реалистичны.

Отметим, например, что микрохирургическая операция пересадки мозгового придатка выполнена профессором Преображенским виртуозно. Кто же явился прообразом выдающегося хирурга? Ясно, что в определенной мере это С. А. Воронов. Однако, как мы уже отмечали, описывая комнаты знаменитого московского врача, Булгаков обрисовал квартиру, где жил приходившийся ему родным дядей Н. М. Покровский. Можно полагать, что в утверждении Преображенского — единственным способом, который возможен в обращении с живым существом, является ласка, ибо террор совершенно парализует нервную систему, — отражены черты мировоззрения врачей братьев Покровских, с чьими взглядами был так хорошо знаком

Булгаков. Отметим, что Николай Михайлович Покровский был опытным хирургом широкого профиля, а в клинике, где он трудился, успешно развивалась реконструктивная хирургия.

О близости двух этих фигур — Преображенского и Покровского — говорят и их фамилии, характерные для генеалогии выходцев из семей священников, а также упоминание Филиппа Филипповича о том, что его отец был кафедральным протоиереем. Мы знаем, что и Покровские происходили из подобной семьи. Но есть и еще один возможный прообраз. В описании Преображенского — с остроконечной бородкой, седыми пушистыми усами, золотыми ободками пенсне, в том, что он курит папиросы, — есть некоторое сходство и с внешностью Владимира Федоровича Снегирева, например, на известном портрете работы В. Е. Маковского. Кстати, у В. Ф. Снегирева также была манера напевать любимые музыкальные парафразы и во время раздумий, и на отдыхе, и даже в ходе операций. На одном из фотоснимков он сидит с гитарой в кругу учеников. Наконец, В. Ф. Снегирев — бывший московский студент, и именно это ощущение прочных нравственных устоев Преображенский считает очень важным. Доживите до старости с чистыми руками — таково его кредо.

Доктор Н. М. Покровский По словам Л. Е. Белозерской, он явился прототипом профессора Преображенского в повести М. Булгакова «Собачье сердце» Из архива А. П. Кончаковского

Однако ни С. А. Воронов, ни В. Ф. Снегирев, ни Н. М. Покровский при всем их хирургическом мастерстве не смогли бы произвести подобную операцию. Вмешательство такого типа было бы, очевидно, под силу лишь одному хирургу в Москве —

создателю нейрохирургического института, крупнейшему новатору хирургии мозга Н. Н. Бурденко, успешно осуществившему к тому времени ряд операций по поводу опухолей гипофиза. Эти тонкие смелые операции получили европейский резонанс. Кстати, Николай Нилович Бурденко, как и Филипп Филиппович Преображенский, свободно манипулировал обеими руками в хирургическом поле. Очевидно, М. Булгаков знал об операциях, произведенных Н. Н. Бурденко, и, быть может, присутствовал на них.

Во всяком случае, научные взгляды Бурденко на диапазон и границы нейрохирургии, несомненно, перекликаются с научной тщательностью и глубиной, с какой Преображенский готовится к пересадке гипофиза. «Нет ни одной операции, проделанной другими авторами, не освоенной нами, — писал Н. Н. Бурденко в одной из работ, — за исключением некоторых, от которых мы отказались, остановившись не перед технической трудностью их выполнения, а из-за принципов: анатомическая доступность, техническая возможность и физиологическая дозволенность. Первые два положения неоспоримы, последнее дискутабельно (возможно, Н. Н. Бурденко имел в виду эксперименты типа модификаций С. А. Воронова. — Ю. В.). Для нас является принципом, что операция должна идти с точностью апробированного физиологического опыта, особенно в отношении вмешательств без жизненных показаний».

Но, проведя удивительный эксперимент, профессор вскоре осознает его социальную бесплодность и даже опасность. «… Вы видели, какого сорта эта операция (говорит он. — Ю. В.). Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни… Но на какого дьявола, спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого… Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы……. создает десятками выдающихся гениев….. Мое открытие…..стоит ровно один ломаный грош…» {100}.

Рассуждая об евгенике, об улучшении человеческой породы (укажем, что в этот период издавался «Клинический архив одаренности и гениальности», посвященый этому направлению. — Ю. В.), профессор Преображенский предельно ясно выражает свои опасения по поводу подобных экспериментов; по его мнению, ужас состоит в том, что теперь у Шарикова не собачье, а именно ничтожное человеческое сердце, т. е. возник духовный монстр, и ловля котов — не худшее из того, что он

делает. Иначе говоря, взгляд М. А. Булгакова на евгенику (этот термин, введенный в науку английским ученым Гальтоном, в переводе с греческого означает — хорошего рода, породистый) отвечает трактовке этого научного направления, исследующего пути и методы активного влияния на эволюцию человека, с современных позиций. Ведь генетика человека убедительно опровергает представления о врожденной обусловленности интеллектуального превосходства одних народов, рас и социальных групп над другими. Разумеется, в рассуждениях Филиппа Филипповича нет еще недавно привычных для нас стереотипов — реакционная лженаука, база для расистских теорий и т. п. Однако сама оценка происшедшего в операционной в Обуховой переулке недвусмысленна. Она отрицает евгенику как серьезную научную сферу и вместе с тем в ней звучит предупреждение об опасности социальной селекции, номенклатурного отбора, т. е. о недопустимости политической евгеники. Вот против чего протестует писатель. Увы, в прозрение Михаила Булгакова при жизни его никто не вдумался…

Одна из линий повести — сказанное резко и прямо (причем не забудем время, когда они произнесены!) слова о том, что ученый, человек интеллектуального труда и тем более выдающийся ум достоен того, чтобы ему были обеспечены надлежащие условия для работы, ибо этого требуют «здравый смысл и жизненная опытность». Преображенский считает, что обедать надо в столовой, а оперировать в операционной, что ему нужна и библиотека. И не просто считает, но декларирует свою позицию. «…Если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха, — говорит профессор. — Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза…….в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

Но эта логичная, достаточно важная для общества мысль тогда, очевидно, представлялась чуть ли не крамольной. Во всяком случае, ни домком Швондер, ни его полуграмотные помощники, в общем зная, что Преображенский является европейской знаменитостью, что это известнейший ученый, не питают к нему и тени уважения. Для них он прежде всего «классовый паразит». К новоявленным гонителям таланта хирурга, считающим, что над обладателем семи комнат должен быть занесен меч правосудия, незамедлительно примыкает и созданный им гомункулус Шариков. Он мгновенно попадает под безраздельное влияние швондеров, полагающих, что профессора следовало бы арестовать или по крайней мере изъять у него

«лишние» аршины жилплощади.

И вот Шариков становится членом жилищного товарищества. Теперь он объявляет войну не только котам, но и Преображенскому и Борменталю, тихая собака превращается в хама, доносчика и пьяницу. Обстановка постепенно накаляется. И вот Преображенский вынужден произвести повторную операцию — по возвращению гипофиза собаки заведующему подотделом очистки. «… Из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся…

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм».

Настойчивость и упорство Преображенского в экспериментальной хирургии вызывают глубокое уважение. Собственно, вся его история взывает: талант во врачевании надо оберегать как бесценное национальное достояние. Впрочем, у нас нет уверенности, что дальнейшие научные планы его осуществятся, ибо, учитывая его происхождение, характер и прямодушие, можно предположить еще не одно препятствие на пути Филиппа Филипповича.

Л. М. Яновская указывает в комментариях к «Собачьему сердцу», что К. М. Симонов писал об этой повести в 1967 г.: «…О ней надобно сказать, что Булгаков с наибольшей силой отстаивал в ней свой взгляд на интеллигенцию, на ее права, на ее обязанности, на то, что интеллигенция — это цвет общества. Для меня профессор Булгакова, несмотря на все его старорежимные привычки, фигура положительная, фигура павловского типа. Такой человек может прийти к социализму и придет, если увидит, что социализм дает простор для работы в науке…»

Человечество само создает выдающихся гениев… К мысли о бесперспективности искусственного евгенического отбора М. Булгаков возвращается и в пьесе «Блаженство». Блаженство — это выдуманная, фантастическая цивилизация XXIII века, и вот как выглядит здесь Институт Гармонии в оценке Народного Комиссара Изобретений Радаманова: «… Институт изучает род человеческий, заботится о чистоте его, стремится создать идеальный подбор людей, но вмешивается он в брачные отношения лишь в крайних случаях, когда они могут угрожать каким-нибудь вредом нашему обществу» {101}.

Но это лишь декларация, хотя и она крайне уязвима теоретически, отражая, по сути, идеологию тоталитарного

режима. Причем Булгаков показывает, чем оборачивается генетическая Гармония, когда определенные лица оказываются опасными для Блаженства. В действие тут же вступает Послушная медицина:

> «Саввич… Слушайте постановление Института. На основании исследования мозга этих трех лиц, которые прилетели из двадцатого века, Институт постановил изолировать их на год для лечения, потому что…….они опасны для нашего общества… Эти люди неполноценны…» {102}.

Комедия «Блаженство» была закончена в 1934 г., и в ней поражает прозорливость писателя. Ведь эта терминология — «изолировать…», «опасны для общества», «слушайте постановление…» уже через три-четыре года получит распространение, страшное своей обыденностью и масштабами. Небезынтересны и научные истоки этой пьесы. Михаил Афанасьевич был знаком с биологом В. Г. Савичем — мужем дочери известного русского невропатолога Г. И. Россолимо, близкого друга А. П. Чехова. У них на даче М. А. и Е. С. Булгаковы провели в 1934 г. лето. Как рассказал нам А. В. Савич, его отец, Владимир Гордеевич Савич, был одним из ближайших сотрудников известного генетика и эволюциониста Николая Константиновича Кольцова, директора Института экспериментальной биологии, организованного им. В темы дискуссий, характерных для этого института в описываемый период, входили и аспекты евгеники, некоторыми положениями которой Н. К. Кольцов особенно интересовался и даже популяризовал. Возможно, в беседах с В. Г. Савичем у писателя возник прообраз Института Гармонии и он даже использовал его фамилию, видоизменив ее. Впрочем, в институте активно работал еще один Савич, кроме того вспомним Савву Лукича из «Багрового острова»… Радаманов и его окружение — порождение бюрократии, да и весь Институт Гармонии — пародия на отделы кадров. Тем не менее к одной из мыслей Радаманова стоит прислушаться: «… Кто, кроме Саввича, который уверен, что в двадцать шестом будет непременно лучше, чем у нас в двадцать третьем, поручится, что именно вы там встретите? Кто знает, кого вы притащите к нам из этой загадочной дали на ваших же плечах?… И, быть может, еще при нашей с вами жизни мы увидим замерзающую землю и потухающее над ней солнце!» {103}. Фактически это картина экологической катастрофы, к которой может привести бюрократизация науки, стиль командования учеными, когда лучшие изобретения объявляются секретами

сверхгосударственной важности (это выражение М. А. Булгакова), а мысли и идеи монополизируются.

Коснемся еще одной животрепещущей научной темы 20— 30-х годов, отразившейся в также долго лежавшем под спудом «Театральном романе». Это история излечения саркомы, возникшей у актера Горностаева. Следует отметить, что у саркоматина, который применяет профессор Кли для лечения Горностаева, есть реальные аналоги. В медицинской периодике 20-х годов мы обнаружили несколько публикаций, посвященных карцинолизину, полученному в Японии. Карцинолизин характеризовался как средство ферментативной природы. По данным японских онкологов, препарат способствовал рассасыванию некоторых форм злокачественных опухолей, в частности опухолей молочной железы, что, однако, не подтвердилось при повторении этих экспериментов в европейских клиниках. Такие же надежды возлагались впоследствии па американский и советский сарколизин и японский саркомицин, но и они не выдержали проверки временем. Впрочем, появление любого такого препарата, да еще под обнадеживающим названием, всегда приковывает общественное внимание.

Во время мгновенно разрешаемых Горностаеву поездок за рубеж? (в чем дважды отказали М. Булгакову) у него обнаруживают саркому легкого. И вот он оказывается в Альпах, в лечебнице профессора Кли.

> «На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркоматина, заставляет дышать кислородом, и, случалось, Кли на год удавалось оттянуть смерть… Положили Герасима Николаевича на эту веранду. Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что у Кли…появились самые неприятные предположения. Ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили вспрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше… Коротко говоря, через день еще Герасим Николаевич ходил по веранде…..»

А через некоторое время у Горностаева обнаруживают метастаз в правой почке. «Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича, как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание — и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим

Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли — нельзя ли ему в теннис поиграть!…

Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, опять на Мадейру, потом в заключение — Париж.

Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку…

— Чудо! — сказал я, вздохнув почему-то» {104}.

Этот рассказ, основанный на вранье Горностаева, в определенной степени психологический прием умного и скрытного Бомбардова, чтобы отвлечь драматурга Максудова от переживаний по поводу неудачи с постановкой его пьесы, и в скептическом «Чудо!» ощущается сдержанное отношение М. А. Булгакова к широковещательным сообщениям некоторых ученых 30-х годов о неких эпохальных открытиях в тех или иных областях медицинской науки. Такой стиль был, в частности, характерен для рекламы работ Всесоюзного института экспериментальной медицины, созданного по решению правительства СССР «в целях всестороннего изучения организма человека на основе современной теории и практики медицинских наук». Одновременно мифологизировались и достижения западных школ и клиник. Как врач М. А. Булгаков понимал, сколь многотрудны подобные задачи, и рассказ о Кли — лишь ироничная легенда. Только сегодня онкоиммунология робко приближается к определенным возможностям предотвращения метастазов после радикального вмешательства, и до результатов Кли весьма далеко.

Что касается работ по экспериментальной онкологии как таковых, то сюжетным первоисточником могли послужить исследования талантливого киевского патофизиолога Алексея Антониновича Кронтовского, работавшего в период студенчества М. Булгакова на медицинском факультете и опубликовавшего в 1916 г. в Киеве книгу «Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей», а в дальнейшем изучавшего воздействие рентгеновских лучей и токсинов бактерий на рост тканей. А. А. Кронтовский был одним из переводчиков с французского работ С. А. Воронова, и это еще более убеждает, что М. А. Булгаков мог быть знаком с его исследованиями.

«Ах, госпожа моя! Что вы толкуете мне о каких-то знатных младенцах, которых вы держали когда-то в руках! Поймите, что этот ребенок, которого вы принимаете сейчас в покленовском доме, есть не кто иной, как господин Мольер! Ага! Вы поняли меня? Так будьте же осторожны, прошу вас! Скажите, он вскрикнул? Он дышит? Он живет!» — этими словами завершается пролог романа М. Булгакова «Жизнь господина де Мольера» — «Я разговариваю с акушеркой» {105}. Поразительно, что почти те же слова мы встречаем и в рассказе «Крещение поворотом»: «Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

— Жив… жив… — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку».

Возможно, набрасывая строки: «Итак, 13 примерно января 1622 года в Париже у господина Жана-Батиста Поклена и супруги его Марии Поклен-Кресс появился хилый первенец», Булгаков вспоминал и те давние уроки медицины. Мы знаем, однако, что «Кабала святош» и «Жизнь господина де Мольера» — трагические произведения. Отправной точкой, предшествовавшей и пьесе, и роману, была сделанная Булгаковым запись слов Мольера: «Ах, боже мой, я умираю». Развязка предрешена самой жизнью. Приведем эти заключительные эпизоды — и в пьесе, и в романе. В них также чувствуется перо писателя-врача.

«… За главным занавесом шумит зрительный зал, изредка взмывают вловещие свистки. Мольер, резко изменившись, с необыкновенной легкостью взлетает на кровать, укладывается, накрывается одеялом… В музыке громовой удар литавр, и из полу вырастает Лагранж с невероятным носом, в черном колпаке, заглядывает Мольеру в лицо.

Мольер (проснувшись в ужасе).

Что за дьявол?.. Ночью в спальне? Потрудитесь выйти вон!

Музыка.

Лагранж.

Не кричите так нахально. Терапевт я, ваш Пургон!

Мольер (садится в ужасе на кровати).

Виноват. Кто там за пологом?!

Портрет на стене разрывается, и из него высовывается дю Круази — пьяная харя с красным носом, в докторских очках и колпаке.

Вот еще один! (Портрету.) Я рад… Дю Круази (пьяным басом).

От коллегии венерологов К вам явился депутат!

Мольер.

Не мерещится ль мне это?!

Статуя разваливается, и из нее вылетает Р и в а л ь. Что за дикий инцидент?!

Р и в а л ь.

Медицинских факультетов

Я бессменный президент!…

Мольер.

Врач длиной под самый ярус… Слуги! (Звонит.) Я сошел с ума! Подушки на кровати взрываются, и в изголовье вырастает М у а р р о н. М у а р р о н.

Вот и я — Диафуарус, Незабвенный врач Фома!…

Мольер.

Но чему обязан честью?.. Ведь столь поздняя пора…

Риваль.

Мы приехали с известьем! Хор врачей (грянул).

Вас возводят в доктора!!… Мольер (внезапно падает смешно). Мадлену мне! Посоветоваться… Помогите!..

В зале: «Га-га-га!..» Партер, не смейся, сейчас, сейчас… (Затихает.)

Музыка играет еще несколько моментов… В ответ на удар литавр в уборной Мольера вырастает страшная Монашка.

Монашка (гнусаво). Где его костюмы? (Быстро собирает все костюмы Мольера и исчезает с ними.)…

На сцене смятение.

Лагранж (сняв маску, у рампы). Господа, господин де Мольер, исполняющий роль Аргана, упал… (Волнуется.) Спектакль не может быть закончен» {106}.

Монашка — это образ смерти, так напоминающий ее видение в «Морфии». Известно, что описывая кончину мадам Бовари, Г. Флобер переживал глубокое волнение, буквально физически отражавшееся на его состоянии. М. Булгаков, хотя как врач он видел много смертей, также писал эти строки, глубоко сопереживая герою, и вместе с писателем хочется помочь Мольеру в трагические последние минуты.

«Два раза клялся бакалавр в верности медицинскому факультету, а когда президент потребовал третьей клятвы, бакалавр, ничего не ответив, неожиданно застонал и повалился в кресло. Актеры на сцене дрогнули и замялись: этого трюка не ждали, да и стон показался натуральным. (….)

В партере ничего не заметили, и только некоторые актеры увидели, что лицо бакалавра изменилось в цвете (значимость этого диагностического нюанса М. Булгаков подчеркивает и в «Стальном горле». — Ю. В.), а на лбу у него выступил пот…

— Вы почувствовали себя плохо? — спросил Барон.

— Как публика принимала спектакль? — ответил Мольер.

— Великолепно. Но у вас скверный вид, мастер?

— У меня прекрасный вид, — отозвался Мольер, — но почему-то мне вдруг стало холодно. — И тут он застучал зубами.

…В доме забегали со свечами и Мольера повели по деревянной лестнице наверх. Арманда стала отдавать какие-то приказания внизу и одного из слуг послала искать врача…

Внизу одна за другой загорались свечи в чьих-то трясущихся руках. Б это время там, наверху, Мольер напрягся всем телом, вздрогнул, и кровь хлынула у него из горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение и даже подумал: «Вот хорошо…» А затем его поразило изумление: его спальня превратилась в опушку леса, и какой-то черный кавалер, вытирая кровь с головы, стал рвать повод, стараясь вылезти из-под лошади, раненной в ногу.

Барон……. прыгая через ступеньку, скатился с лестницы и, вцепившись в грудь слуге, зарычал:

— Где ты шлялся?! Где доктор, болван!! И слуга отчаянно ответил:

— Господин де Барон, что же я сделаю? Ни один не хочет идти к господину де Мольеру! Ни один!» {107}.

В начале романа М. Булгаков описывает смерть матери десятилетнего Жана-Батиста Поклена — будущего Мольера. «Весною 1632 года нежная мать захворала. Глаза у нее стали блестящие и тревожные. В один месяц она исхудала так, что ее трудно было узнать, и на бледных ее щеках расцвели нехорошие пятна. Затем она стала кашлять кровью, и в обезьяний дом начали приезжать верхом на мулах, в зловещих колпаках врачи» {108}. И далее в одной из глав писатель отмечает, что с того времени, как Мольер впервые затронул в своих комедиях врачей, он не переставал возвращаться к ним, найдя в медицинском факультете неисчерпаемый кладезь для насмешек.

Медицинская корпорация отомстила ему черной ненавистью.

Поучительны причины этого конфликта, в описании которого видно глубокое знание предмета: «Что же привело Мольера к ссоре с докторами?… Мы уже знаем, что Мольер все время хворал, хворал безнадежно, затяжным образом, постепенно все более впадая в ипохондрию, изнурявшую его. Он искал помощи и бросался к врачам, но помощи от них он не получил… Мольеровские врачи в большинстве случаев лечили неудачно, и всех их подвигов даже нельзя перечислить… Словом, мольеровское время было темное время в медицине» {109}.

Надо отметить, что Булгаков весьма точно отобразил нравы и

научный уровень представителей медицинского факультета того времени. Среди множества источников, которыми он пользовался, работая над «Мольером», были, бесспорно, труды по истории медицины, в том числе французских авторов. Как мы полагаем, писатель был знаком также и со статьей своего университетского учителя М. М. Дитерихса «Амбруаз Парэ», опубликованной в 1925 г. в журнале «Новый хирургический архив». В строках М. М. Дитерихса и М. А. Булгакова, касающихся нравов этой корпорации врачей, есть несомненная близость. «Это было застывшее в своей схоластической учености, забронировавшееся в самоуверенном консерватизме учреждение, — писал М. М. Дитерихс о медицинском факультете в средневековом Париже. — Учили только знанию авторитетов и требовали только усвоения книги. Медицина была сама по себе, а больные сами по себе, диагноз ставился и назначалось лечение по виду мочи и кала, приносимого врачу родственниками или знакомыми больного, которого нередко врач и в глаза не видел. Но и теоретические лекции были своеобразного характера. Говорилось много, и все искусство заключалось в том, чтобы в то же время ничего не сказать. Почему опий снотворное? Да потому, что в нем есть снотворные свойства! Категорично, коротко, но мало понятно. Через 36 месяцев такого обучения ученик подвергался экзамену на бакалавра. Итак, эти ученые, но оторванные от живой клинической деятельности врачи, принадлежавшие почти без исключения к духовному званию, составляли как бы аристократию медицинского персонала своего времени».

Эту псевдомедицину осмеял Мольер, и ее высокомерие, самомнение, бессердечие показал спустя два с половиной века Булгаков.

Быть может, современным врачам будут полезны размышления писателя о важности учета душевного состояния больного: «После измены Расина Мольер вновь заболел, и его все чаще стал навещать его постоянный врач Мовилэн, который, по-видимому, не так уж плохо понимал свое дело. Но и Мовилэну было трудно с точностью определить болезнь директора Пале-Рояля. Вернее всего было бы сказать, что тот был весь болен. И несомненно, что, помимо физических страданий, его терзала душевная болезнь, выражающаяся в стойких приступах мрачного настроения духа.

Помогли ли лекарства Мовилэна, или справился с приступом болезни сам организм, но в конце февраля Мольер вернулся к регулярной работе в театре. В течение весенних месяцев он написал новую пьесу, назвав ее «Мизантроп, или Желчный влюбленный». Это была пьеса о честном и протестующем против

людской лжи и вследствие этого, конечно, одиноком человеке. Мольеровскому доктору следовало бы хорошенько изучить это произведение: в нем, несомненно, отразилось душевное настроение его пациента» {110}.

Душевное настроение пациента… Вдумаемся в эти слова провидца Булгакова.

«Александр Пушкин»… Среди действующих лиц пьесы Булгакова мы видим врача Даля.

«Даль. Наталья Николаевна, вам здесь нечего делать… (Берет склянку с фортепьяно, капает в рюмку лекарство.) Пожалуйте, выпейте.

Пушкина отталкивает рюмку.

Так делать не годится. Вам станет легче.

Пушкина. Они не слушают меня. Я хочу говорить с вами. Даль. Говорите. Пушкина. Он страдает? Даль. Нет, он более не страдает.

Пушкина. Не смейте меня пугать. Это низко!.. Вы доктор? Извольте помогать!.. Но вы не доктор, вы сказочник, вы пишете сказки… А мне на надобны сказки. Спасайте человека! (Данзасу.) А вы!.. Сами повезли его!..» {111}.

В этой почти бессвязной речи Натальи Николаевны Пушкиной точно отражен ее психологический стресс. Но вот слова Биткова, соглядатая, приставленного к Пушкину: «… Что это меня сосет?.. Да, трудно помирал. Ох, мучился! Пулю-то он ему в живот засадил… Да, руки закусывал, чтобы не крикнуть, жена чтобы не услыхала. А потом стих…» {112}.

Почти то же сказал и В. И. Даль: «Тяжело дышать, давит — были последние слова его. Он скончался так тихо, что присутствующие не заметили смерти его».

В нескольких фразах пьесы, впервые в Пушкиниане, написанной без роли самого Пушкина, зримо, отчетливо переданы его боль и мужество. И первоисточником избраны воспоминания врача и писателя В. И. Даля.

В марте 1941 г., через год после кончины М. А. Булгакова, зрители Ленинграда увидели его пьесу «Дон Кихот» по мотивам романа Сервантеса. Михаила Афанасьевича уже не было, а его удивительные слова впервые прозвучали на сцене Государственного академического театра им. А. С. Пушкина, долетев и до нас.

«Санчо… Сеньор Дон Кихот, что же вы не входите к себе? Куда вы смотрите, сеньор?

Дон Кихот. На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселенной, создатель музыки и врач людей! Но день клонится к ночи, и неудержимая сила тянет его вниз. Пройдет немного

времени, и оно уйдет под землю. Тогда настанет мрак. Но этот мрак недолог, Санчо! Через несколько часов из-за края земли брызнет свет и опять поднимется на небо колесница, на которую не может глядеть человек. И вот я думал, Санчо, о том, что, когда та колесница, на которой ехал я, начнет уходить под землю, она уже более не поднимется. Когда кончится мой день — второго дня, Санчо, не будет. Тоска охватила меня при этой мысли, потому что я чувствую, что единственный день мой кончается. {113}.

Единственный наш день, отпущенный нам… Какой страстный призыв ко всем и, быть может, в первую очередь к врачам завещал Михаил Булгаков: защищать жизнь, всегда и всюду осознавать, что она — величайший дар, что во вселенной так много сил, врачующих людей, что надо всеми силами, добротой и знаниями отодвигать уход нашей колесницы под землю…

И вновь мы как бы видим самого Булгакова. Слова, подчеркивающие его отношение к первоначальной его профессии и перекликающиеся с заветом из письма родным — «миг доброй воли», стоят рядом с упоминанием о музыке. Как отмечает О. Д. Есипова в статье «Пьеса «Дон Кихот» в кругу творческих идей М. Булгакова», в рабочем экземпляре текста Михаил Афанасьевич пометил: «Опыт показал мне, что музыка успокаивает взволнованную душу и дает отдых утомленному уму». Не забудем и этих слов.

«А по ночам стал писать…» Начнем наши рассуждения о медико-философских аспектах романа «Мастер и Маргарита» с выдержки из современного медицинского руководства.

«Приступ мигрени начинается с ауры, вслед за которой возникает приступообразная односторонняя головная боль (гемикрания). Характерны приступы интенсивной боли в височно-орбитальной области, повторяющиеся в виде болевых атак, с возможной иррадиацией. Больные испытывают чувство прилива крови. Иногда головная боль достигает крайней интенсивности. Серии болевых приступов продолжаются от нескольких суток до нескольких месяцев». Так описываются мигрень и связанная с ней невралгия в справочнике под редакцией Е. И. Чазова «Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь» (1988 г.). Чтобы понять, сколь тяжело это состояние и как оно влияет на человека, стоит обратиться к страницам о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова. Точность и глубина клинического описания этого страдания поистине не имеют аналогов в литературе по неврологии.

«Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах

этот начал преследовать прокуратора с рассвета…

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит пол-головы… от нее нет средств, нет никакого спасения… попробую не двигать головой…»

… Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

… Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой…

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде…..

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет» {114}.

Так со строк «В белом плаще с кровавым подбоем…» начинается знаменитая глава в романе «Мастер и Маргарита». Пожалуй, по аналогии с синдромом Агасфера, это описание можно было бы назвать синдромом Пилата.

И это не просто сильнейшая боль, в основе ее лежит расстройство вазомоторных функций головного мозга. Кстати, точный диагноз помогает установить орбитальная плетизмография, контроль состояния глаз, изменения даже цвета которых при гемикрании так точно подмечены Булгаковым. Такие приступы начинаются нередко в раннем возрасте и обычно провоцируются аллергическими факторами. Нарушение зрения, афазия, рвота, головокружение, кардиалгия — эти симптомы могут предшествовать приступу гемикрании и вместе с тем сопутствовать ему. При спазмах сосудов помогают горячие компрессы, при их параличе — холодные примочки на голову, и все это известно, очевидно, с древности. Нужны покой, тишина, затемненное помещение.

Именно такие ощущения сопровождают прокуратора. Он не выносит запаха розового масла, боится пошевелить головой, мечтает о холодной струе воды на болевую точку, хотя и знает, что это не поможет ему. Гемикрания, по сути, предопределяет поведение Пилата, а значит, в какой-то мере и ход мировой истории. «Он смотрел мутными глазами на арестованного и

некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать… «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду…»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня… Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет…

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки…

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы…

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач» {115}.

Роман писателя вызвал множество комментариев, толкований, литературоведческих работ. Пожалуй, наиболее точны слова Л. Е. Белозерской и И. Ю. Ковалевой: «Создать свою историю богочеловека и рассказать ее так, чтобы все двухтысячелетние споры были исчерпаны». Но характерно: Иешуа приданы черты опытного, проницательного врача. Причем не исключено, что в своем герое Булгаков отобразил некоторые черты своего учителя, «святого доктора», как называли его киевляне, Феофила Гавриловича Яновского, отличавшегося поразительной клинической интуицией. Следует отметить, что Ф. Яновский, если присмотреться к его портретам, особенно в молодости, очень похож на Иисуса Христа. Булгаков, всегда опиравшийся на зрительную память, не мог не запомнить этого

сходства.[5]

…Вечер после Голгофы. Гемикрания оставила прокуратора, хотя глаза его воспалены от бессонницы. Но вот Пилат узнает о последних словах Иешуа, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость, и голос его пресекается: лицо вновь судорожно подергивается, в виске усиливаются отзвуки боли, ушедшей утром благодаря доброй воле Иешуа. Лишь в полночь сон приходит к игемону. Однако пробуждение его ужасно, он вспоминает, что казнь была, и гемикрания возвращается. Неблагодарность, трусость, боязнь защитить невиновного неминуемо провоцируют и круг безысходной боли, словно воистину больной дух делает больным и тело, — таков, на наш взгляд, один из тезисов сочинения. В этом, так будоражащем умы, прочтении великой легенды христианства писатель Булгаков неотделим от лекаря с отличием Булгакова.

И вот сцены в современном мире. Москва второй половины 30-х годов, ночи тревожного ожидания непрошеных гостей в квартирах, круговая порука беззакония. Обстановка в больнице, куда привозят Ивана Бездомного, не так уж далека от этой атмосферы.

«Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин…

— Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, — присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности…

— Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? — Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах…

— Помилуйте, куда же вы хотите идти? — заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана. — Глубокой ночью, в белье… Вы плохо чувствуете себя, останьтесь у нас!

— Пропустите-ка, — сказал Иван санитарам, сомкнувшимся у дверей. — Пустите вы или нет? — страшным голосом крикнул поэт.

… Грохнуло довольно сильно, но стекло за шторой не дало ни трещины, и через мгновение Иван Николаевич забился в руках у санитаров…

Шприц блеснул в руках у врача, женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром…..

— Ванна, сто семнадцатую отдельную и пост к нему, — распорядился врач, надевая очка….. бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.

… Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет… Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы.

В кабинете за Ивана принялись трое — две женщины и один мужчина, все в белом… Исписав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель: кто умер, когда, да отчего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в таком же роде… Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какою-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты…

… Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами…

— Доктор Стравинский, — представился усевшийся Ивану…» {116}.

Читатель, конечно, знаком с этими страницами глав «Шизофрения, как и было сказано» и «Поединок между профессором и поэтом» в «Мастере и Маргарите». Отметим глубоко профессиональное описание обстановки в психиатрической клинике, точную картину поведения врача в

приемном покое. Примерно так же все происходит (или совсем недавно происходило) и сейчас.

По мнению Б. С. Мягкова, прототипом профессора Стравинского мог явиться известный московский психиатр Евгений Константинович Краснушкин. В книге Е. К. Краснушкина «Судебно-психиатрические очерки» в главе «Шизофрения» есть описание больного, поразительно совпадающее со случаем Ивана Бездомного: «23 лет… литератор, поэт. Летом 1924 года вечером у себя в комнате однажды увидел черта, который назвал себя по фамилии, вел с ним беседу».

Е. К. Краснушкин был сторонником гуманных начал в психиатрии. Клинику, описанную в романе, указывает Б. С. Мягков, следует искать там, где работал профессор. Быть может, это корпуса больницы МПС в Покровском-Глебове над речкой Химкой или же Химкинская городская больница № 1 над той же речкой — бывший особняк «Патрикеева дача».

Мы полагаем, что в описании кабинета с различными приборами Булгаков отталкивался и от воспоминаний о киевской психоневрологической лечебнице профессора М. Н. Лапинского. Как мы уже указывали, этим ученым еще в начале века было образцово поставлено техническое оснащение неврологической клиники. Возможно, что в Стравинском воссозданы черты этих двух фигур.

Сцены в психиатрической лечебнице занимают особое место в романе Булгакова. Несмотря на внешнюю гуманизацию, клиника эта названа домом скорби, а на ее окнах широкопетлистые решетки, да и сами стекла небьющиеся. И хотя формально клиническое состояние Ивана Бездомного, как и Мастера, темноволосого, с острым носом, встревоженными глазами человека примерно лет тридцати восьми, укладывается в варианты шизофрении со снижением психической активности, раздвоением личности, псевдогаллюцинаторными синдромами, вряд ли их недуг соответствует этому диагнозу. Его отрицание, собственно, звучит в самом названии главы «Шизофрения, как и было сказано». Например, Мастер, отказавшийся от своей фамилии, рассказывает Бездомному историю своего заболевания. «… Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся… Второй стадией была стадия удивления… Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем… наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом,

наступила стадия психического заболевания» {117}.

Писатель отразил в этих строках личную свою драму и запечатлел трагическое время, в которое написан роман. Людей не оставляли беспокойство и страх, чувство внутренней напряженности, порожденное обстановкой репрессий и ожиданием угрожающих жизни и достоинству событий и действий. И этот психологический дискомфорт носил весьма распространенный характер. С фактами арестов и высылки, на примерах судьбы близких друзей и знакомых, повседневно сталкивался и Булгаков. Но вдумаемся во врачебный завет Михаила Афанасьевича. Он состоит в том, что самая травматизирующая обстановка — обстановка страха, что именно на этой почве возникают наиболее неблагоприятные виды психических стрессов. К счастью, это время ушло в прошлое. Однако психическая травматизация по тем или иным личностным мотивам, вызывающая нередко фобии, продолжает играть определенную роль в жизни. Как мало — даже сегодня — занимается всем этим медицина. Между тем охрана здоровья — это прежде всего право на спокойствие. И своему второму «я» — Мастеру — писатель желает именно покоя. «Гори, страдание!» — вот прощальные слова Маргариты. Будем помнить и их, размышляя о великом романе.

…1931-й год, проблески кажущейся оттепели в судьбе писателя. Еще так далеки Хиросима и Нагасаки и тем более первые шаги в ядерном разоружении. По заказу «Красного театра» в Ленинграде Булгаков пишет пьесу «Адам и Ева» — изображение будущей войны. Это фактически первый в литературе пронзительно зоркий взгляд за край смертоносной бездны, поразительное предвосхищение целей и идеалов миротворческого движения «Враги мира за предотвращение ядерной войны» — прекратить во всех странах производство и испытания оружия массового уничтожения.

Герой пьесы академик Ефросимов изобретает антидот против такого химического сверхоружия. Человек этот странен. Он возбужден, забывчив, удивляет окружающих интонациями и жестикуляцией. Перед нами человек как бы не от мира сего. Действительно, по манерам, да и по лексике, Александр Ипполитович Ефросимов — дитя минувшего века. Но мысли и побуждения его звучат, словно пророчество. «Есть только одно ужасное слово, и это слово «сверх»… «Сверх» же будет, когда в лаборатории ничем не запахнет, не загремит и быстро подействует. Тогда старик (писатель подразумевает определенных государственных лидеров, владельцев либо руководителей оружейных концернов, военно-промышленных

комплексов. — Ю. В.) поставит на пробирке черный крестик… и скажет: «… Идеи, столкнитесь!»…

… Найдется наконец тот, кто скажет:… Нужно обуздать старичков… Требуется что-то радикальное… И полагаю, что, чтобы спасти человечество от беды, нужно сдать такое изобретение всем странам сразу» {118}.

Но замысел Ефросимова уже запоздал, да и что может предпринять, сам изобретатель? Начинается химическая война, разражается катастрофа. Булгаков воспроизводит происходящее в огромном городе глазами врача. Как отмечает А. Бурмистров, в месте действия пьесы явно угадывается центр Ленинграда и, в частности, Елисеевский магазин на Невском, где смерть скосила множество людей.

Дараган. Ко мне! Ко мне!… Кто здесь есть! Ко мне!

«Дараган бежит вниз, шаря в воздухе руками — и неверно. Он — слеп.

… Почему никто не сжалится над слепым?… Кто нибудь! Во имя милосердия! Застрелите меня!…» {119}.

На улицах хаос и смерть. Картина разительно напоминает горящие японские города после атомной бомбардировки в августе 1945 г. «На лесенке у полки мертвый продавец с сорочкой в руках… Люди умирали на улице. Трамваи еще час ходили, давили друг друга, и автомобили с мертвыми шоферами. Бензин горел».

Между тем даже чудом спасшейся небольшой группке людей чужды и непонятны гуманные устремления Ефросимова, его попытка нейтрализовать газовую атаку. Для окружающих он «неграмотный политический мечтатель, уничтожающий оружие защиты». Возникает ефросимовское дело, ученому угрожают, что оп будет отдай под суд за уничтожение бомб. Слова в его адрес — «чужой человек, пацифист» — произносятся как обвинение.

Антивоенная в своей сущности пьеса не увидела сцены, дирекции театров были вынуждены отказаться от нее. Да и как было не отказаться, если пацифизм (в переводе с латинского «умиротворяющий») расценивался как «буржуазное политическое течение, пытающееся внушить трудящимся ложную мысль о возможности обеспечить постоянный мир при сохранении капиталистических отношений».

Конечно же, Булгаков мог предполагать, что «Адам и Ева» застрянет еще при читке. Тем не менее бестрепетным пером Михаил Афанасьевич написал то, что считал нужным. Замурованную в архиве провидческую пьесу можно назвать его политическим и врачебным вердиктом в отношении войны и братоубийства.

Мысленно охватываю взглядом духовное пространство этой главы. Перед моим взором встают врач в буранном поле и несчастный доктор Поляков, Бродович и профессор в тесной комнатке Турбина на Алексеевской спуске, Демьян Лукич и Пелагея Ивановна, Анна Николаевна и Бомгард, Филипп Преображенский и Иван Борменталь, печальный анатом в холодном зале анатомического театра в Киеве 1918 г. и непрощаемый Стравинский в палате психиатрической больницы, гениальный изобретатель Персиков и умирающий Мольер.

«Я о милосердии говорю…» Тихий голос Булгакова становится все слышнее, а мировосприятие все притягательнее. Это нежное и мужественное видение жизни, быть может, особенно нужно сегодняшней медицине.

Глава IV
ЧЕХОВ, БУЛГАКОВ, ВЕРЕСАЕВ

Шубинский переулок в Москве… Совсем рядом несутся потоки машин. Невдалеке Смоленская площадь. Если прислушаться, доносится шум Киевского вокзала, а здесь, за корпусами гостиницы «Белград», тишина, и обстановка как бы переносит нас в 20-е годы. Мемориальная доска на одном из зданий напоминает, что тут жил Викентий Викентьевич Вересаев.

Эту дверь так же, как и калитку чеховского сада в Ялте, в минуты радостные и грустные не единожды открывал Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мы бывали у Вересаевых не раз, — вспоминала Любовь Евгеньевна Белозерская. — Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. Общность переживаний, связанная с первоначальной профессией врача, не могла не роднить их». Такое же сродство душ сближало В. В. Вересаева и А. П. Чехова, и, несомненно, эти же чувства

владели М. А. Булгаковым, когда в 20-х годах оп вновь и вновь переступал порог чеховского дома в Аутке. Символично, что в старом застекленном шкафу в чеховском кабинете в Ялте стоят рядом последнее прижизненное издание «Каштанки», предназначенное специально для детей и особенно нравившееся Антону Павловичу, «Записки врача» 1902 года выпуска с вересаевским автографом, и здесь же, в этом доме хранится «Дьяволиада» Михаила Булгакова с его дарственной надписью Марии Павловне Чеховой.

Как сложилась неразделимая нравственная связь, объединяющая судьбы трех выдающихся писателей-врачей? Начнем наш рассказ с начала века.

В. В. Вересаев вместе с А. М. Горьким впервые посетил Антона Павловича Чехова в середине апреля 1903 г., а затем через несколько дней вновь пришел к нему. Они обсуждали рассказ «Невеста».

Пыльная улица, очень покатый двор, по которому расхаживал ручной журавль, чахлые деревца у ограды — так описывает Викентий Викентьевич свои первые впечатления. Антон Павлович покашливал коротким кашлем. На стене было объявление «Просят не курить…» Чехов был уже очень болен, но Вересаев как-то особенно затронул его сердце, оправдав ожидания и заочные впечатления. В мае оп отправил ему из Ялты «Остров Сахалин» с теплой надписью, вскоре писатели обменялись фотографиями. А. П. Чехов упомянул об этих встречах в письмах А. С. Суворину и А. И. Куприпу, а Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, еще до личного знакомства с Викентием Викентьевичем, просил передать, что Вересаев ему очень нравится. Характерно, что «Записки врача» Антон Павлович сохранял среди наиболее дорогих ему книг в личной библиотеке в Ялте, а брошюру Вересаева «По поводу «Записок врача»» передал в городскую библиотеку в Таганроге.

Автора «Невесты» уже не стало, а Вересаев, мобилизованный в качестве врача, находился па русско-японской войне, когда в 1905 г. устои Российской Империи пошатнулись. «Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны» — так завершил Вересаев свои записки «На японской войне», созданные в трудный период безвременья, через шесть лет после «Записок врача». Эти кровавочерные волны, конечно же, видел в те мрачные месяцы и юный киевлянин Булгаков…

И вот спустя почти двадцать лет, когда оживал после засухи чеховский сад, в мемориальный дом-музей, открытый в советской Ялте «ввиду исключительного внимания к трудам и

литературным заслугам умершего писателя Антона Павловича Чехова», в числе первых десятков посетителей пришел автор «Белой гвардии».

Л. Е. Белозерская вспоминала, что Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, а какой-то ласковой, как любят умного, старшего брата. Он особенно восторгался записными книжками Антона Павловича. Письма его знал наизусть. Однажды он спросил Любовь Евгеньевну, какое из литературных произведений ей нравится больше всего. И услышав, что, по ее мнению, это «Тамань» Лермонтова, заметил: — «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано (А. П. Чехов говорит о «Тамани» как доказательстве тесного родства сочного русского стиха с изящной прозой в письме Я. П. Полонскому от 18 января 1888 г. — Ю. В.).

В квартире Булгакова на Большой Пироговской, где впоследствии в гостях у Михаила Афанасьевича неоднократно бывала и Мария Павловна Чехова, на книжных полках, в ряду собрания русских классиков — Пушкина, Лермонтова, обожаемого Гоголя, Льва Толстого, Алексея Константиновича Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Лескова, Гончарова — стояли и тома Чехова, и, возможно, именно их он раскрывал в те годы особенно часто. По словам М. Булгакова, приводимым П. С. Поповым, чеховские мотивы в творчестве писателя особенно явственно отразились в образе Лариосика в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Характерно, что после одиннадцатидневного путешествия из Житомира в Киев Ларион Ларионович Суржанский приносит с собой к Турбиным единственную ценность — завернутое в рубашку собрание сочинений Чехова. В пьесе «Дни Турбиных» в устах Лариосика в обращении к Елене Васильевне звучит чеховское: «Мы отдохнем, мы отдохнем…»

И действительно, вихрь перемен в семье Турбиных, на которых обрушились бури гражданской войны, отражает острое нервическое ощущение — смятение и усталость людей в дни раскола страны. Необходимость передышки, надежды на мир и покой — булгаковские мысли; вспомним его строки из письма, адресованного в 1923 г. родным в Киев: «Право, миг доброй воли, и вы зажили бы прекрасно». Но в «Днях Турбиных» они звучат в классической фразе из «Дяди Вани».

«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе»… Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник». Это строки из «Записок на манжетах» о владикавказском периоде жизни Булгакова, ретроспектива вечера в областной народной драматической студии 14 октября 1920 г.,

где, как извещала местная газета «Коммунист», в 1-м отделении вступительное слово «Чеховский юмор» прочтет М. А. Булгаков и актеры Минин, Аксенов, Поль и Дивов прочтут рассказы «Скорая помощь», «Хамелеон», «Хирургия» и «Дипломат», а во 2-м отделении слово «Чехов в воспоминаниях современников» произнесет Юрий Слезкин и те же актеры прочтут рассказы «Маска», «Заблудшие», «Оратор», «Канитель», «Смерть чиновника» и «Лошадиная фамилия».[6]

> «… Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается восемнадцать человек. Смутно я лелеял такое распределение:
>
> Инструктора по поэтической части:
>
> Брюсов, Белый… и т. д.
>
> Прозаики:
>
> Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович и т. д.» {120}.

Но когда Михаил Булгаков услышал имя человека, которое по праву должно стоять в этом ряду и на которого он, быть может, похож более всего «внутренней свободой и жизнью на средства своей души», — имя Чехова, когда в его жизнь вошли гусь Иван Иваныч и кот Федор Тимофеич, собака Каштанка и ее хозяин Федюшка, когда он ночами, со слезами, долго думал о горькой доле Ваньки Жукова? Несомненно, это произошло еще в до-гимиазические годы, в доме в Кудрявском переулке, в далеком-далеком детстве, где светила отцовская лампа, мерцали корешки любимых книг и звучал мамин голос. Ведь в домашней библиотеке Афанасия Ивановича Булгакова были и чеховские «Пестрые рассказы», и «Детвора», и «Каштанка» и другие издания. Чехов сопутствовал гимназисту и студенту Булгакову и дальше, когда он, сам любитель розыгрышей и сочинитель смешных сценок, конечно же, увлекался его юмористическими рассказами. «Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно, — писала К. Г. Паустовскому сестра писателя, Н. А. Булгакова-Земская. — Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова» {121}.

В названиях домашних булгаковских водевилей, например, «С мира по нитке — голому шиш», где действовали Доброжелательница солидная, Доброжелательница ехидная, Просто доброжелательница и Хор молодых доброжелателей, словно чувствуется отголосок стиля Антоши Чехонте. Да и выбирая «Хирургию» в качестве спасительного средства в

голодной владикавказской атмосфере, воссоздавая в памяти образы фельдшера Курятина «с выражением чувства долга и приятности на лице» и бедного дьячка Вонмигласова, терпящего муки в зубоврачебном кресле, Булгаков, возможно, также вспоминал Киев и, в частности, чеховские вечера, на которых выступал Павел Николаевич Скуратов — актер любимого семьей Булгаковых соловцовского театра. Упоминание об этих вечерах автор обнаружил в газете «Киевское слово», в номерах за июль 1904 г., когда в связи с кончиной А. П. Чехова газета посвятила ему ряд публикаций. Одна из статей принадлежала перу П. Н. Скуратова. Он же, в летних театрах Пущи-Водицы и Святошина, организовал концерты, где выступил с программой «Новые и старые рассказы А. П. Чехова». Гимназист Булгаков, очевидно, не мог пропустить эти выступления, ставшие событием в культурной жизни города.

А первая театральная встреча юного ученика 1-й гимназии с драматургией Чехова могла состояться, как считает автор работы «Чехов и Украина» В. Я. Звиыяцковский, 2 марта 1901 г., когда в театре Н. Н. Соловцова (ныне Академический театр украинской драмы им. И. Франко) были поставлены «Три сестры». Быть может, здесь Булгаков впервые услышал слова Вершинина, звучавшие как предгрозье и поражавшие тоской и верой: «… Чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас… Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков» {122}. В правилах антрепренера и режиссера Николая Николаевича Соловцова было бесплатно приглашать на спектакли студентов и гимназистов, и Миша Булгаков, возможно, находился в тот день на галерке. А в 1904 г. Булгаков мог видеть в этом же театре «Вишневый сад», появившийся на киевской сцене. В тот же день он, быть может также впервые, услышал слова Гаева: «Дорогой многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости…» Этот шкаф он упоминает в очерке «Антон Павлович Чехов».

С 1898 г. — на киевской сцене шел «Дядя Ваня». Думается, в огнях этой рампы М. Булгаков услышал сочувственные чеховские слова о земской медицине: «Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни…» {123}.

…И вот сбылась мечта Михаила Афанасьевича — вдохнуть воздух чеховских комнат.

«В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

… Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише за письменным столом… над диваном картина Левитана: зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина. И сам Левитан рядом.

… Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине… С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел глаза к небу. Подпись:

> «И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности…»

… Портреты Чехова. Их два. На одном — он девяностых годов — живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда». На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

… В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal…», и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье назвали насмешливо — «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду»» {124}.

«Когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет», — пишет Булгаков о своих впечатлениях от знакомства с чеховской обителью. Но определим контрапункт, выделим завязку этого дня. Лишь немногим более четырех лет назад в письме двоюродному брату Константину Булгакову он сожалел, что, быть может, безнадежно запоздал с приходом в литературу. За этот срок, вопреки труднейшим обстоятельствам, Михаил Афанасьевич свершил невозможное — его имя появилось в ряду наиболее читаемых авторов. И первыми крупными писателями, не просто заметившими его талант, но и в лучших традициях русской интеллигенции много сделавшими, чтобы дать реализоваться его дару, были В. В. Вересаев, а затем М. А. Волошин.

«Летом 1924 г., — вспоминает заведующий редакцией

издательства «Недра» П. Н. Зайцев,[7] в редколлегию которого входил и В. В. Вересаев, — после выхода в свет «Дьяволиады» в сборнике издательства, возникла мысль «перекупить» у журнала «Россия» роман «Белая гвардия».

Я быстро прочитал роман и переправил рукопись В. В. Вересаев в Шубинский переулок. Роман произвел на нас большое впечатление. Я не задумываясь высказался за его печатание в «Недрах», но Вересаев был трезвее и опытнее меня… Направленность романа, по его мнению, по идеологическим причинам нам не подходила. Может быть, Вересаев вспомнил, как был совсем недавно принят его собственный роман «В тупике»….

В один из сентябрьских дней М. Булгаков зашел в «Недра», и я сообщил ему ответ редколлегии. Наш отказ принять «Белую гвардию» резал его. За это время он похудел. По-прежнему перебивался случайными заработками от журнальчиков.

Вдруг меня осенило.

— Михаил Афанасьевич, — обратился я к нему, — нет ли у вас чего-нибудь другого готовенького, чтобы мы могли бы напечатать в «Недрах»?…

Через неделю он принес в редакцию рукопись своей новой повести — «Роковые яйца»… Прочитав повесть, я передал рукопись Вересаеву. Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного. В отступление от правил договоренности с Н. С. Ангарским (главным редактором «Недр». — Ю. В.), за которым оставалось последнее слово, Вересаев принял повесть для очередного альманаха, и мы с ним условились сразу сдать его в набор…»

В. В. Вересаев необычайно внимательно и трогательно относился к М. А. Булгакову. Известно, например, что Викентий Викентьевич дважды оказывал Михаилу Афанасьевичу денежную помощь, причем в поразительно тактичной, деликатной форме. Когда в 1925 г. в журнале «Россия» прекратилась публикация «Белой гвардии», а «Дьяволиада» и «Роковые яйца» оказались под несправедливым обстрелом критики, что побудило Булгакова принять в этих трудных условиях деньги, Вересаев написал ему. «Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем. Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит».

Примерно тогда же слова горячего одобрения по поводу первых литературных шагов Булгакова прозвучали в устах М. А. Волошина, писавшего в письме Н. С. Ангарскому в марте 1925 г. об опубликованных разделах «Белой гвардии», что «как дебют

начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютом Достоевского и Толстого», причем оценка его дошла до Михаила Афанасьевича. «Очень мне было приятно прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове, — писал В. В. Вересаев М. А. Волошину 8 апреля 1925 г. — «Белая гвардия», по-моему, вещь довольно рядовая (неодинаковая оценка тех или иных взглядов или произведений при сохраняющихся близких дружеских отношениях, была в те годы в порядке вещей. — Ю, В.), но юмористические его вещи — перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его почти беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем пал духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны… и, как выражается, обворовывает сам себя. Ангарский мне передавал, что Ваше письмо к нему Булгаков взял к себе и списал его».

И вот лето 1925 г., Коктебель. Дом поэта. В июле по приглашению Максимилиана Александровича Волошина сюда приезжают М. А. Булгаков и Л. Е. Белозерская. Напомним, что талантливый поэт и художник М. А. Волошин был одним из тех, кто лично знал А. П. Чехова. Он побывал у него в Ялте еще в 1899 г., после исключения из университета за участие в студенческих беспорядках. Знаменательны его оценки творчества Чехова. Волошин, например, с проницательностью отмечал, что Чехов является первым в России писателем европейского типа, а его театр — театр интеллигенции. В Коктебеле, возможно, и укрепилось желание Михаила Афанасьевича — непременно побывать в доме А. П. Чехова.

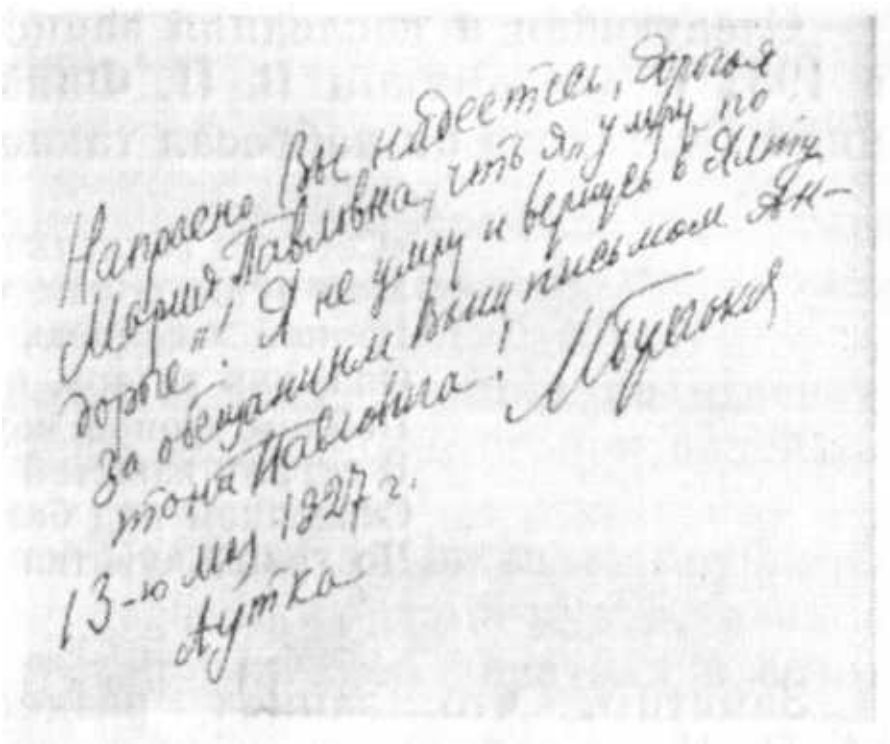
Отсюда 7 августа 1925 г. М.Булгаков с женой через Феодосию отплыл в Ялту. После приезда сюда, днем они пришли в Аутку. Группа экскурсантов уже ушла, и Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной, приглашенные Марией Павловной Чеховой в дом, оказались единственными посетителями музея.

В светлых печальных этих комнатах Булгаков в тот день проведет несколько часов. «Как странно здесь» — найдет он свои, особые слова о чеховской обители. Слова, говорящие, по сути, о том, что этот мир был и останется тайной, что Чехов непостижим…

Характерный почерк Михаила Афанасьевича… Я все держу и держу в руках альбом с его записью и пытаюсь представить его в этом доме, в этих дверях. Плотные, несколько пожелтевшие листочки. Альбом не входит в экспозицию и хранится на маленьком столике, в комнате Марии Павловны. Здесь всего несколько заполненных страниц. Вслед за строками, написанными И. Буниным, К. Станиславским, Т. Щепкиной-Куперник, С. Балухатым, следуют такие слова:

«Напрасно Вы надеетесь, дорогая Мария Павловна, что я «умру по дороге». Я не умру и вернусь в Ялту за обещанным Вами письмом. М. Булгаков

13-го мая 1927 г. Аутка».


Напрасно Вы надеетесь, дорогая
Мария Павловна, что я «умру по
дороге». Я не умру и вернусь в Ялту
За обещанным Вами письмом Ан-
тона Павловича!
13-го мая 1927 г.
Аутка

«За обещанным Вами письмом…» Запись М. А. Булгакова в памятном альбоме М. П. Чеховой 1927 г.

Из фондов дома-музея А. П. Чехова, Ялта

Следующая и последняя запись в этом альбоме была сделана в 1951 г. академиком В. П. Филатовым. Быть может, под влиянием Булгакова он набросал такие строки:

«Сегодня солнечной истомою Моя душа полна, больна, Волной весеннею, знакомою Она, как встарь, напоена. Пойдем тропой неуловимою В страну забытой

красоты! Скользнем над бездною незримою По грани чувства и мечты».

Заметим, что записи разделяют двадцать четыре года. М. П. Чехова бережно хранила заветный альбом, никому не давала листать его, для официальных посещений существовала совсем другая книга отзывов. Владимир Петрович Филатов был, очевидно, первым вне круга самых близких ей людей, кому Мария Павловна доверила прочесть булгаковские строки. А ведь это было в 1951 г., когда имя писателя продолжала окружать глухая стена замалчивания и предубежденности, в «Энциклопедическом словаре», подписанном к печати в тот же период, вообще нет его имени. Тем важнее для нас осознавать, что М. П. Чехова продолжала относиться к памяти М. А. Булгакова с искренним уважением, что, вопреки всему, она сберегла его записи. В знак особого доверительного расположения к В. П. Филатову записи были показаны именно ему. Как жаль, что мы можем лишь догадываться о содержании их беседы.

«Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря». «Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет».

Позволим себе объединить строки из очерка «В Ливадии» М. А. Булгакова и рассказа «Дама с собачкой» А. П. Чехова не только потому, что они так художественно близки по своим краскам. В них есть и отсвет самой жизни, скрещение ощущений радостного и печального в жизни. Вдумаемся в строку, написанную Чеховым в 1899 г., когда Антон Павлович из-за нездоровья был вынужден оставить любимую среднюю полосу России, — «будет шуметь так же равнодушно, когда нас не будет». В них, возможно, начальные строки чеховского реквиема.

И его глубокую грусть, его никому не показываемую боль, быть может, пронзительнее всех ощутил Булгаков — не только как писатель, но и как врач: «При выходе из пиши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаш и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать» {125}.

В этом лаконичном булгаковском абзаце, чем-то разительно отличающемся от многих нередко мажорных, трафаретных, хотя и

рожденных искренним чувством описаний дома в Аутке, объята последняя весна Антона Павловича, в них строгая совестливость Чехова, не позволявшая ему даже в дни отчаяния не отвечать на письма начинающих литераторов, его слабый огонек надежды, его прощание с Ялтой.

Очерк Булгакова «У Антона Павловича Чехова», опубликованный в 1925 г., вскоре после посещения дома-музея, явился, по сути, одним из первых портретов великого писателя в советской Чеховиане. Перед нами как бы завязь такого трогательного дальнейшего тяготения Михаила Афанасьевича к этому дому, к близким Антона Павловича. Важной вехой в этом сближении, во время повторного его приезда в Крым, стало знакомство с Михаилом Павловичем Чеховым — младшим братом Антона Павловича.

Несмотря на разницу в возрасте, они быстро сошлись. Наметились совместные творческие планы. Г. А. Шалюгину, исследователю жизни и творчества А. П. Чехова, принадлежат интересные изыскания об этих встречах. «9 июля 1927 г., — указывает он, — Михаил Павлович писал в Москву: «Отсюда уезжает Булгаков. Он хотел бы познакомиться с моей пьесой, чтобы дать совет и продвинуть ее». Вероятнее всего, речь шла о пьесе антирасистского содержания «Цветная кожа», над которой М. П. Чехов работал в Ялте летом 1926 г.

Е.М. Чехова сообщила мне также, что Булгаков предложил ее отцу совместную работу над киносценарием» {126}.

Как полагает Г. А. Шалюгин, М. П. Чехов и М. А. Булгаков намеревались посвятить свой совместный труд петрашевцам. В Ялте, куда он переселился в 1926 г., Михаил Павлович трудился над такими материалами, и в его архиве хранится первоначальный вариант сценария под названием «Дело Петрашевского». Замысел остался нереализованным, однако он еще раз свидетельствует о том, что Булгакова еще в 20-е годы влекла и историческая проблематика.

Итак, благоуханная ялтинская весна 1927 г. Булгаковы остановились вблизи Боткинской улицы в пансионате Тези. Первое упоминание имени Михаила Афанасьевича содержится в письме М. П. Чехова в Москву от 12 мая, где он сообщает жене, что «вчера за Женей и Колей (дочерью и зятем М. П. Чехова. — Г. Ш.) заехали Вася, Лизочка (содержатели пансиона В. Тихомиров и Е. Тези) и автор «Дней Турбиных» Булгаков, чтобы ехать на Учансу. Стали тащить и меня. Влезли на крепость в Исарах и там же позавтракали….. Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась в его глазах…»

Через день Булгаков опять пришел к Чеховым. Вместе с

Марией Павловной они поднялись в ее комнату на втором этаже во флигеле. За хрупким столиком, в плетеном кресле, где не раз сиживал и Антон Павлович, он перелистывал чеховские письма. Какой из подлинников так хотелось ему иметь? Мы не знаем предпочтения Михаила Афанасьевича в этом выборе. И все же можем предположить: в невесомом листочке, в следе руки Антона Павловича Булгакову виделся некий талисман. И такой отпечаток Аутки — подаренные Марией Павловной веточку из чеховского сада и перечень книг, составленный Чеховым, — он хранил.

В тот же вечер Чеховы и Булгаков были приглашены на именины к известному в Ялте зубному врачу Ванде Станиславовне Дыдзюль — другу семьи Чеховых, дочери литовского революционера Капсукаса. «Пели соло, пели под скрипку, пели хором, — писал М. П. Чехов. — … Вернулись домой в 3 ч. утра, чего я здесь не припомню. Даже Маша (М. П. Чехова. — Г. Ш.) досидела до такой поры и плясала…» {127}.

А зимой 1928 г. Михаил Афанасьевич направил в Ялту, на Аутскую улицу, «Дьяволиаду» 1926 года издания. Г. А. Шалюгин полагает, что вручить этот его подарок Марии Павловне Булгаков попросил Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову. «Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой искренне Михаил Булгаков 21.11.1928 г.», — написал он на обложке. Отметим, что впоследствии М. П. Чехова вынуждена приписать, что просит не давать «Дьяволиаду» в пользование кому-либо постороннему, книгу нельзя читать. Она хорошо понимала, что наличие у кого-либо «Дьяволиады» и просто разговоры о ней могут вызвать «дьявольские неприятности». Но все же много лет, несмотря ни на что, Мария Павловна свято сохраняла и эту реликвию.

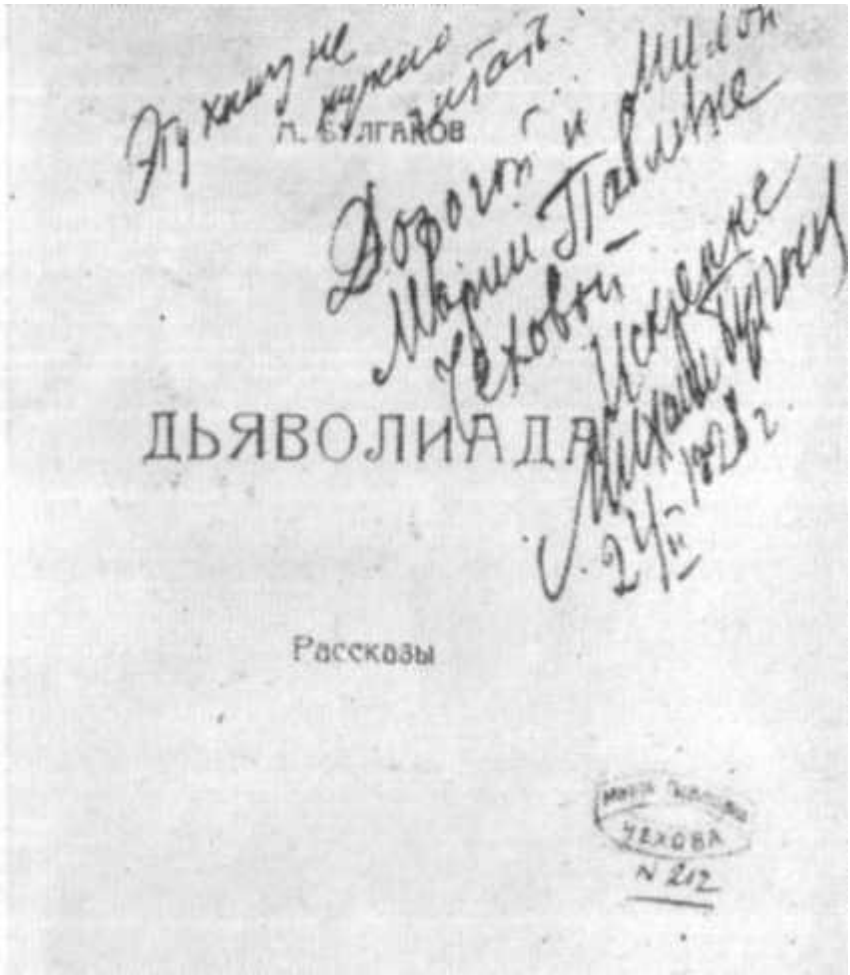
Изъятие рукописей, запрещение произведения, вызовы на допрос…

Через некоторое время, в 1929 г., пьесы Булгакова исчезли из репертуара, его положение становилось невыносимым. И вот в один из дней домой к Михаилу Афанасьевичу, на Пироговскую улицу, пришел Вересаев. Имеется сделанная А. Л. Лессом запись рассказа Елены Сергеевны Булгаковой об этом, достоверность которой она подтвердила в беседе с М. О. Чудаковой.

«Как-то открывается дверь — входит Вересаев.

— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, — сказал Вересаев глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету «сверток. — Вот возьмите… Здесь пять тысяч… Отдадите, когда разбогатеете…

И ушел, даже не выслушав слов благодарности» {128}.



«Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой…» Надпись М. А. Булгакова на книге «Дьяволиада» 1928 г.

Из фондов дома-музея А. П. Чехова, Ялта

Возможно, в этот вечер он спас Булгакова. Так в поступке замечательного русского писателя-врача как бы отозвались слова А. П. Чехова, сказанные о Н. М. Пржевальском: «Читая его биографию, никто не спросит: зачем? Почему? Какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

«Сроков людских нам знать не дано, — писал М. А. Булгаков В. В. Вересаеву 6 декабря 1925 г., — но я верю и совершенно

искренно, что я буду держать в руках Вашу новую книгу и она так же взволнует меня, как много лет назад меня на первом пороге трудной лестницы взволновали «Записки врача»» {129}. В этих строках чувствуется та же нежность и любовь, что и в словах Михаила Афанасьевича в заветном чеховском альбоме. Булгаков, бесспорно, еще с гимназических лет интересовался творчеством Вересаева. Его привлекал образ героя повести Вересаева «Без дороги» — земского врача Дмитрия Чеканова, в судьбе которого отразилось мужественное поведение самого Викентия Викентьевича во время холерной эпидемии, когда он едва не погиб в поединке с теми, чьих родных и близких спасал. Студенту-медику Булгакову как личности, испытавшей тяготение к литературе, импонировали первые строки «Записок врача»: «Единственное мое преимущество, — что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь».

В. В. Вересаев. 30-е годы

Книга эта, прочитанная «на пороге трудной лестницы», очевидно, всегда жила в памяти Булгакова. Не случайно через некоторое время после того, как Михаил Афанасьевич приехал в

Москву, он воспользовался первой же возможностью, чтобы увидеть Вересаева, побывать на диспуте по поводу «Записок врача». Присутствуя па «суде» над «Записками» в здании бывших Женских курсов на Девичьем поле, Михаил Афанасьевич вглядывался в Вересаева, вслушивался в его «низкий голос». «Говорит он мало, но когда говорит, как-то умно и интеллигентно у него выходит», — отметил Булгаков {130}. В 1923 г. Булгаков, желая побеседовать с автором «Записок врача», пришел к нему домой. Со слов Е. С. Булгаковой, Викентий Викентьевич встретил его сдержанно. Они несколько минут стояли в прихожей. Из-за глухоты Вересаев довольно плохо слышал посетителя. Выразив восхищение «Записками врача», смущенный Михаил Афанасьевич, снова надевая калоши, начал прощаться. И лишь уже в дверях расслышав, что перед ним автор «Записок на манжетах», Вересаев переменился, проявив живейший интерес к Булгакову. «Заходите, милости прошу!» — радушно пригласил он Михаила Афанасьевича. Так состоялась первая их личная встреча.

«С огромными надеждами» написал Вересаев на «Гомеровых гимнах», подаренных Булгакову. Говоря словами гимна к Асклепию, Викентий Викентьевич стал для него «злых облегчителем страданий». Около пятнадцати лет они не только встречались, но и переписывались, и старый русский писатель бережно хранил письма Булгакова. Последнее из них было написано Михаилом Афанасьевичем 11 марта 1939 г., за год до его кончины. «Хотелось бы повидаться с Вами. Бываете ли Вы свободны вечерами?» — писал он. Многие часы два писателя-врача провели в беседах в тиши вересаевского кабинета.

Завершилась Великая Отечественная война, старейшине русской литературы посчастливилось встретить День Победы, осознать, что окончились страшные сражения. В конце мая 1945 г., незадолго до смерти, указывая, как распорядиться его архивом, В. В. Вересаев особо подчеркнул значение писем М. А. Булгакова. Как рассказали мне хранители творческого наследия писателя, авторы ряда работ о нем, Валерия Михайловна Нольде и Евгений Андреевич Зайончковский, Викентий Викентьевич хранил эти письма в отдельной папке и завещал опубликовать их, но лишь в том случае, если это можно будет сделать без купюр.

Вересаев сравнивал дарование Булгакова с талантом Гоголя и в беседах с В. М. Нольде и Е. А. Зайончковским (племянница писателя В. М. Нольде долгие годы была его неизменным литературным секретарем) всегда с исключительным теплом говорил о Михаиле Афанасьевиче. Его письма он рассматривал как ценные исторические свидетельства и весьма важный литературный памятник, веря, что время их публикации придет.

Попытки наследников Викентия Викентьевича обнародовать письма в точном соответствии с его завещанием несколько раз оказывались неудачными, хотя часть их была известна в списках, а на некоторые строки ссылались в своих печатных работах исследователи творчества Булгакова. В 1987 г. к В. М. Нольде и Е. А. Зайончковскому обратилась редакция журнала «Знамя», уведомив их о том, что в ее распоряжение поступили письма М. А. Булгакова В. В. Вересаеву Очевидно, это была одна из копий многострадального собрания, снятая во время редакционного «хождения по мукам» части булгаковского эпистолярного наследия. После сверки писем с оригиналами из личного архива Вересаева они в начале 1988 г. были опубликованы в журнале «Знамя». Так спустя более четырех десятилетий сбылась заветная мечта автора «Записок врача».

«Дорогой Викентий Викентьевич, я был у Вас, чтобы без всякой торжественности поздравить Вас, — пишет Булгаков Вересаеву в декабре 1925 г. в связи с тем, что в эти дни отмечалось сорокалетие литературной деятельности старейшего русского писателя. — Вчера, собираясь послать Вам парадное письмо, я стал перечитывать Вас, письма так и не написал, а ночью убедился, насколько значительно то, что Вы сочинили за свой большой путь…»

В этих строках чувствуется еще какая-то дистанция между Вересаевым и Булгаковым. Но вот следующее письмо Михаила Афанасьевича, написанное в августе 1926 г. Бытовые условия его жизни остаются трудными, и он обращается к Викентию Викентьевичу за помощью в решении жилищного вопроса. Мнение Вересаева как председателя Всероссийского Союза писателей могло бы, как полагал Булгаков, сыграть определенную роль в рассмотрении его ходатайства в Кубу — комиссию по улучшению быта ученых, оказывавшую содействие и литераторам.

> «Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего о том, что такое излишек площади (я лично считаю излишком все лишь сверх 200 десятин, — пишет Булгаков, — толкнуло меня на подачу анкеты в Кубу. Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, пе черкнете ли квалифицированной даме… «…..или мне (не упоминая об отрицательных сторонах моего характера) Ваше заключение обо мне.
>
> Как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?
>
> Советом крайне обяжете!

Когда собираетесь вернуться? Как Ваше здоровье? Работаете ли над Пушкиным? Как море? Если ответите на все эти вопросы — обрадуете. О Вас всегда вспоминаю с теплом».

18 ноября этого же года Булгаков пишет, что посылает Викентию Викентьевичу (для него и Марии Гермогеновны) два билета на «Дни Турбиных». «Кроме того посылаю 50 рублей в уплату моего долга Вам…

Посылаю Вам великую благодарность, а сам направляюсь в ГПУ (опять вызвали)».

Вокруг Булгакова змейкой поползли темные слухи. «Нищета, улица и гибель» приближались. И одним из немногих, пришедших ему на помощь, был В. В. Вересаев. Благородный его порыв выходит за рамки каких-то личных отношений. Описанные минуты на пороге квартиры Михаила Афанасьевича, когда однажды вечером сюда со свертком, в котором были деньги, пришел Викентий Викентьевич, по сути, общественный подвиг старейшего писателя.

Следующее письмо Булгакова Вересаеву отражает значительные перемены в его судьбе, которыми он считает необходимым поделиться при встрече:

«Дорогой Викентий Викентьевич, у меня сняли телефон и отрезали таким образом от мира. Зайду к Вам завтра (2-го) в 5 часов вечера. Удобно ли это Вам?…

Ваш М. Булгаков (бывший драматург, а ныне режиссер МХТ)».

По мнению публикаторов В. М. Нольде и Е. А. Зайончковского, письмо написано 1 июня 1930 г.…. Проходит еще один очень трудный год. 29 июня 1931 г. Булгаков вновь пишет Вересаеву большое откровенное письмо. В нем и тревога в связи с ухудшившимся здоровьем.

«Дорогой Викентий Викентьевич!

К хорошим людям уж и звонить боюсь, и писать, и ходить: неприлично я исчез с горизонта, сам понимаю.

Но, надеюсь, поверите, если скажу, что театр меня съел начисто. Меня нет. Преимущественно «Мертвые души»…..

МХТ уехал в Ленинград, а я здесь вожусь с работой на стороне (маленькая постановка в маленьком театре). (Речь идет о режиссерской работе в Передвижном театре Института санитарной культуры над постановкой пьесы

Н. А. Венкстерн «Одиночка». — 10. В.)

Кончилось все это серьезно, болен я стал, Викентий Викентьевич. Симптомов перечислять не стану, скажу лишь, что на письма деловые перестал отвечать. И бывает часто ядовитая мысль — не свершил ли я, в самом деле, свой круг? По-ученому это называется нейростепия, если не ошибаюсь.

А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал (в примечаниях указывается, что речь идет об «Адаме и Еве». — Ю. В.).

Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?

Видел позавчера сон: я сижу у Вас в комнате, а Вы меня ругаете (холодный пот выступил). Да не будет так наяву!

Марии Гермогеиовне передайте и жены моей и мой привет. И не говорите, что я плохой. Я — умученный…..»

Следует отметить в этой связи, что в письмах к другим адресатам М. А. Булгаков весьма скупо пишет о своем недомогании, разительно напоминая в этом отношении А. П. Чехова. «Если собрать все мемуарные свидетельства и многочисленные высказывания Чехова в письмах о своей болезни, то становится ясно, что о ней он знал, а все отговорки…….лишь для родственников и друзей, — замечает в книге «Антон Павлович Чехов» А. П. Чудаков. — Знал, но считать себя больным не хотел. И лечиться он начал только тогда, когда состояние стало катастрофическим». В определенной мере это и черты Булгакова. Лишь Викентию Викентьевичу он писал абсолютно обо всем, веря в его благожелательность и зная врачебную опытность и мудрость.

«В самом деле: почему мы так редко видимся, — пишет Булгаков через месяц. — В тот темный год, когда я был раздавлен и мне по картам выходило одно — поставить точку, выстрелив в, себя, Вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность!»

Запомним эти слова, эту мысль — умнейшая писательская нежность. Булгаков полагал, что это важнейшая категория в человеческих взаимоотношениях. Показательно, что в сохранившихся отрывках из дневника писателя, приводимых М. О. Чудаковой в «Жизнеописании Михаила Булгакова», где он отмечает, что смерть В. Г. Короленко не нашла слишком

широкого освещения в прессе, Михаил Афанасьевич с горечью добавляет: «Нежности…»

«Но не только это, — продолжает Булгаков. — Наши встречи, беседы, Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны!

За то, что бремя стеснения с меня снимаете — спасибо Вам.

Причина — в моей жизни. Занятость бывает разная. Так вот моя занятость неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен бы заниматься, полной безнадежности, нейростенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло…..

Вы думаете, что я не пытался Вам писать, когда, чтобы навестить Вас, не выкраивалось время из-за театра? Могу уверить, что начинал несколько раз… Я боюсь писать! Я жгу начала писем в печке».

К этому прерванному письму Булгаков возвращается 25 и 26 июля. 27 июля он пишет: «Продолжаю: один человек с очень известной фамилией и большими литературными связями…….сказал мне тоном полууверенности:

— У вас есть враг.

Тогда еще эта фраза заставила меня насторожиться. Серьезный враг? Это нехорошо. Мне и так трудно, а тогда уж и вовсе не справиться с жизнью. Я не мальчик и понимаю слово — «враг»… Я стал напрягать память. Есть десятки людей в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мирке литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан…..

И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии. Это — Л. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами».

Тогда выходит, что мой главный враг — я сам».

28 июля, продолжая эти раздумья и говоря о письме, отправленном Сталину, Булгаков пишет: «Но поток потух. Ответа пе было. Сейчас чувство мрачное. Один человек утешал: «Не дошло». Не может быть. Другой, ум практический…….подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен. «Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Кто поверит?» И так далее.

Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?» Там, где это «кто поверит?», я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я — писатель?»…»

В этом письме, в страстных строках — «Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?»» — утверждается чрезвычайно глубокая мысль, важная не только как самохарактеристика натуры Михаила Афанасьевича, но звучащая и призывом ко всем нам, — верить друг другу свято, полагаться на человека, считая вообще, что лучшее в нем является основой. Без этой нравственной нормы трудно жить, вне ее невозможно развитие любой сферы деятельности и особенно медицины с ее узлом профессиональных взаимоотношений, с необходимостью для врача безбоязненно брать на себя высокую ответственность, немыслимую без такой же веры.

И вновь именно Вересаев обращается к Булгакову с мудрым призывом, показывающим, как глубоки и не формальны его раздумья о Михаиле Афанасьевиче. Строки из этого письма, написанного в августе 1931 г., приводит М. О. Чудакова в послесловии к «Воспоминаниям о Михаиле Булгакове». «Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжко больны и как у Вас все смято в душе, — писал Викентий Викентьевич. — Совет?… Продолжаю думать, что надежда на заграничный) паспорт — надежда совершенно безумная. Да, вот именно — «кто поверит?»…

Трудно человеку в Вашем положении давать советы, и все-таки мне настоятельно хочется Вам дать один. Скажем, объявили человеку: «у вас не может быть детей…»».

И далее, скорее как врач врачу, чем как писатель писателю, замечает М. О. Чудакова, Вересаев пояснял, что, с его точки зрения, «писательская потребность для художника» не слабее физиологических: «И разве может он, на изломе всего своего существа, сказать себе: «меня не печатают — бросаю писать». Это глубокая ошибка». Он уверял Булгакова: «для меня совершенно несомненно, что одна из причин вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».

Можно полагать, что эти вересаевские строки помогли Булгакову преодолеть душевный кризис. Ведь только Викентий Викентьевич, как врач и психолог, был способен найти эту единственно приемлемую для Михаила Афанасьевича линию духовного противостояния обстоятельствам. Какой бесценный дар дружбы, образец настоящего отклика на чужую боль перед нами…

15 марта 1932 г. М. Булгаков пишет Вересаеву:

> «Дорогой Викентий Викентьевич!
>
> Все порываюсь зайти к Вам в сумерки, поговорить о литературе, да вот все репетиции…
>
> А между тем иногда появляется мучительное

желание поделиться.

Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу… Мои ощущения?

Первым желанием было ухватить кого-то за горло, вступить в какой-то бой. Потом наступило просветление…

И мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеется и скажет: «Ну, ну, побарахтайся, побарахтайся…» Нет, нет, немыслимо!

Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя…..»

Ко времени написания этого письма «Дни Турбиных» вновь появились в репертуаре Художественного театра. Известна оценка этого события М. А. Булгаковым: «Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце…» Речь, думается, не идет лишь о тяжком состоянии неврастении. Можно полагать, что фон нездоровья писателя — ревматический процесс, о котором он упоминает с 20-х годов. И все же произошли изменения, возвратившие автору пьесы «часть его жизни».

«Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату, — пишет Ф. С. Михальский об этом дне. — На диване полулежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте, рассказывайте!» Я несколько раз повторяю рассказ о звонке А. С. Енукидзе и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается… «Едем, едем!»…»

Однако кольцо тягот пока не разомкнуто. Перечеркнуты надежды на постановку пьесы «Мольер» в Ленинграде и, следовательно, на соответствующее вознаграждение и ускорение квартирных перемен, а в Художественном театре репетиции «Мольера» движутся почти безнадежными темпами…

«… И наступила знакомая мне жизнь в мертвом театральном сезоне, — пишет Булгаков Вересаеву из Москвы 2 августа 1983 г. — Елена Сергеевна через Всероскомдрам шлет телеграммы и выцыганивает малые авансы, а я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьется своего и я, вернув Вам мой остающийся долг, еще раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич…

Я…….просидел две ночи над Вашим Гоголем. Боже, какая фигура! Какая личность!

В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за

страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман…..»

Так началось воссоздание «Мастера и Маргариты». О возобновлении грандиозной работы Михаил Афанасьевич сообщает именно Вересаеву.

Весной 1934 г. Булгаковы, наконец, покидают полуподвальные комнаты на Большой Пироговской и переезжают в новую квартиру. Вересаев один из первых, кому Михаил Афанасьевич пишет об этом: «6 марта 1934 года. Дорогой Викентий Викентьевич!

Адрес-то я Вам не совсем точный дал. Надо так: Москва, 19, Нащокинский пер., д. 3, кв. 44… Я искренно опечален тем, что Вы сообщили о Вашем доме. Подтверждается ли это? Я от души желаю Вам, чтобы Ваше новое пристанище, в случае, если придется уезжать, было бы хорошо.

А об этом кабинете сохраню самые лучшие воспоминания. Я становился спокойнее в нем, наши беседы облегчали меня…»

26 апреля 1934 г.: «Дорогой Викентий Викентьевич! На машинке потому, что не совсем здоров, лежу и диктую. Телефон, как видите, поставили, но пока прибегаю не к нему, а к почте, так как разговор длиннее телефонного… Все дни, за редкими исключениями, репетирую, по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу (речь идет о пьесе «Иван Васильевич». — Ю. В.), которую задумал давным-давно…

Прочитал в Сатире……. говорят, что начало и конец хорошие, но середина пьесы совершенно куда-то не туда. Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург!… Бросить это дело нельзя: очень душевно отнеслись ко мне в Сатире. А поправлять все равно, что новую пьесу писать. Таким образом, не видится ни конца, ни края…..»

Мы видим, что и в театральных делах, так же как и в медицине, Михаил Афанасьевич остается человеком долга, человеком неизменных моральных обязательств. Он очень ценит доброе, искреннее отношение к себе и платит тем же. К сожалению, по отношению к нему самому далеко не все поступают честно и порядочно. Конечно, существовали непреодолимые обстоятельства, тайные и явные действия высших инстанций, препятствовавшие успеху новых и новых творческих его начинаний. Но нельзя не сказать и о другом — о равнодушии, трусости, конъюнктурных соображениях, вследствие чего режиссеры, театры, киностудии, даже известные композиторы слишком легко отказывались от произведений Михаила Афанасьевича.

Вернемся, однако, к содержанию того же апрельского письма. Несколько летних недель Булгаков вместе с Еленой Сергеевной и Сережей Шиловским проведет на даче близ Звенигорода, принадлежавшей дочери и зятю профессора Г. И. Россолимо. Мы уже упоминали об этих днях, однако уместны и дополнительные сведения. Как рассказывал нам внук Григория Ивановича Россолимо, Алексей Владимирович Савич, он был свидетелем этого пребывания семьи Булгаковых в Подмосковье — с Сережей Шиловским они были сверстниками и подружились. Обратим внимание на тот факт, что на даче, по воспоминаниям А. В. Савича, сохранялась библиотека Г. И. Россолимо, где имелась фотография Антона Павловича с надписью Григорию Ивановичу и подаренные им книги. (Напомним, что Россолимо как невропатолог упоминается в повести «Роковые яйца». — Ю. В.). В семье были живы воспоминания о встречах А. П. Чехова и Г. И. Россолимо.

Дача, где Булгаков как бы вновь прикоснулся к Чехову, была снята при деятельном участии Вересаева. Поводом к соответствующим хлопотам с его стороны явилась просьба Михаила Афанасьевича — просьба, быть может, и не очень обременительная, но с которой можно было обратиться лишь к человеку, в чьем дружеском расположении не сомневаешься.

«Вот что я хотел Вас спросить, Викентий Викентьевич, — пишет Булгаков. — В Звенигороде, там, где вы живете, есть ли возможность нанять дачу? Если Вам это не трудно, позвоните или напишите мне об этом: у кого, где, есть ли там купанье? Вопрос идет главным образом о Сереже. Но Елена Сергеевна, конечно, и меня туда приладит…»

В дальнейших строках, а затем в следующем письме Булгаков касается одного из самых драматичных моментов его жизни в этот период — отказе в просьбе о заграничной поездке.

«Вот уже около месяца я в Ленинграде, где, между прочим, лечусь электричеством и водой от нервного расстройства. Теперь чувствую себя получше, так что, как видите, потянуло писать письма.

Во время своего недуга я особенно часто вспоминал Вас, но не писал, потому что не о погоде же писать…

Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях.

К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества…

… Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают…

Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь

на два месяца во Францию и в Рим…

— И вам, конечно, отказали, — скажете Вы, — в этом нет ничего необыкновенного.

Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали… 17 мая….. Звонок по телефону….. «Вы подавали? Поезжайте в ИНО Исполкома, заполняйте анкету вашу и вашей жены»…

Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики… Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет… Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта раскрыть, как я уже взялся за сердце.

Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М. А. Булгакову отказано.

Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было…

Впечатление?… Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос!» {131}.

«Как чудесно в Пушкине соединяется гений и просвещение! Но, увы, у него много завистников и врагов». Это слова из совместной пьесы М. А. Булгакова и В. В. Вересаева «Александр Пушкин» («Последние дни»), где впервые слились их творческие замыслы. Они приступили к этой работе в 1934 г., решив приурочить драму к 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина.

18 октября 1934 г. Е. С. Булгакова записывает в дневнике: «Днем были у В. В. Вересаева. М. А. пошел туда с предложением писать вместе с В. В. пьесу о Пушкине, т. е. чтобы В. В. подбирал материал, а М. А. писал. Мария Гермогеновна встретила это сразу восторженно. Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М. А. В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о том, что Нат(алья) Ник(олаевна) была вовсе не пустышка, а несчастная женщина. Сначала В. В. был ошеломлен — что М. А. решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарно), но, подумав, согласился…» {132}.

В. В. Вересаев, автор фундаментальных исследований о поэте, взял на себя разработку исторического фона, а М. А. Булгаков — драматургическую сторону. Однако через некоторое время между ними возникли серьезные разногласия. В конечном итоге Вересаев отказался подписать завершенную работу, потребовавшую от него много сил и времени. По согласованию между авторами, на титуле значилось лишь имя М. Булгакова, хотя Михаил Афанасьевич позаботился о разделении гонорара поровну.

И тем не менее творческий конфликт не повлиял па дружеские взаимоотношения Булгакова и Вересаева. Собственно, так вообще поступают порядочные люди. Но быть может, в переписке этого периода между Михаилом Афанасьевичем и Викентием Викентьевичем как-то особенно сказалось и понимание обоими необходимости душевного щажения друг друга, как, впрочем, и кого бы то ни было, что так характерно для этики врачей земской школы. Отстаивая нерушимость своих позиций, и Булгаков и Вересаев оставляют эти разночтения за рамками личного взаиморасположения — такая позиция в серьезном принципиальном споре заслуживает всяческого уважения.

> «… Что еще нужно для Вашего успокоения? — пишет Вересаев 4 сентября 1935 г. — Отказ мой от «борьбы»? Но не поняли и Вы ее в том смысле, что я, например, собираюсь поднять в печати кампанию против Вашей пьесы или сделать в репертком донесение о ее неблагонадежности. Желательно Вам, чтобы я на репетициях молчал? Или чтобы пьесу я впервые увидел на премьере? Сообщите, что нужно, чтобы прекратились Ваши огорчения…» (разрядка моя.—Ю. В.).

> «Милый Викентий Викентьевич! Могу Вас уверить, что мое изумление равносильно Вашей подавленности (разрядка моя. — Ю. В.)… — пишет М. А. Булгаков в одном из писем этого периода. — … Перо не поднимается после Вашего письма, но я… все-таки питаю надежду, что мы договоримся. От души желаю, чтобы эти письма канули в лету, а осталась бы пьеса, которую мы с Вами создавали с такой страстностью».

Однако их видение одного и того же диаметрально противоположно. И вот Вересаев принимает, на первый взгляд, поразительно странное, а на самом деле мудрое решение, проникнутое заботой о Булгакове, продиктованное высоким уважением к его литературному своеобразию. «Дорогой Михаил Афанасьевич! Не пугайтесь, — письмо мое самое миролюбивое. Я все больше убеждаюсь, что в художественном произведении не может быть двух равновластных хозяев… Вы назвали «угрозой» мое предложение снять с афиши мое имя. Это не угроза, а желание предоставить Вам законную свободу в совершенно полном выявлении себя… Я считаю Вашу пьесу произведением замечательным, и Вы должны выявиться в пей целиком, — именно Вы, как Булгаков, без всяких самоограничений… Все это

вовсе не значит, что я отказываюсь от дальнейшей посильной помощи, поскольку она будет приниматься Вами как простой совет, ни к чему не обвязывающий… Вообще — весь останусь к Вашим услугам. Ваш Вересаев» {133}.

Так, понимая как никто другой душу и талант Булгакова, Вересаев совершил поступок, по сути, беспрецедентный в писательском мире — он пожертвовал громадой своего труда ради чужого успеха. Собственно, благодаря его человеческой прозорливости и нравственному бескорыстию спустя почти восемь лет после этого благородного выбора Викентия Викентьевича, «Последние дни» как пьеса Булгакова еще при жизни Вересаева увидела свет. Перед нами пример истинного интеллигента, для которого так органичен отказ от своих интересов ради высшей пользы.

Между тем начался новый виток неудач Булгакова — весной 1936 г., после появления статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание», МХАТ прекратил постановки пьесы «Мольер». Сам нестерпимо долгий процесс выпуска спектакля, расхождении между К. С. Станиславским и М. А. Булгаковым в ходе репетиций, попытки заставить автора «улучшить» роль Мольера, сделать его «политически более значительным» вызывали у Булгакова волнение и горечь. И все же, как следует из книги П. М. Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» (1950 г.), где решение изъять пьесу из репертуара преподносится как некий ее провал и «суровый урок драматургу», Михаил Афанасьевич, вопреки давлению на него, заявил, что, по совести, его авторская работа закончена и дальнейшая судьба произведения находится в руках актеров…

Вокруг молчание… Лишь Вересаев, один среди немногих нетрусливых (хотя он понимает, что переписка может перлюстрироваться), направляет Булгакову сочувственное письмо, и 12 марта 1936 г. Михаил Афанасьевич отвечает ему: «Сейчас, дорогой Викентий Викентьевич, получил Ваше письмо и был душевно тронут! Удар очень серьезен. По вчерашним моим сведениям, кроме «Мольера», у меня снимут совсем готовую к выпуску в театре Сатиры комедию «Иван Васильевич». Дальнейшее мне неясно…»

«… Из Художественного театра я ушел, — пишет Михаил Афанасьевич Вересаеву 2 октября этого же года. — Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера»…

Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто!»

В эти месяцы Викентий Викентьевич и Михаил Афанасьевич продолжают встречаться, преимущественно в доме в Шубинском

переулке. Иногда Вересаев провожает Булгакова, они вместе пересекают Смоленскую площадь. Ведь Булгаков все еще не преодолел неврастенической болезни пространства, и нужно помочь ему — тактично и ненавязчиво…

> «Недавно подсчитал, — пишет Булгаков Вересаеву 5 октября 1937 г., получив в этот день письмо от Викентия Викентьевича. — За 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, и та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдет 17-я или 18-я.
>
> Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии».

Весна 1939 года. Еще одно письмо, после значительного перерыва.

> «Дорогой Викентий Викентьевич!
>
> Давно уж собирался написать Вам, да все работа мешает. К тому же хотел составить наше соглашение по «Пушкину». Посылаю его в этом письме в двух экземплярах. Если у Вас нет возражений, прошу Вас подписать оба и вернуть мне один.
>
> У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль все время устремляется к одной мрачной теме о моем положении, а это утомительно для окружающих. — …
>
> Одним из последних моих опытов явился «Дон Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них, и будет лежать…. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит, и если не предвидится крупных, и за то уже благодарен от души.
>
> Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.
>
> Все-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог…»

На следующий день В. В. Вересаев направил М. А. Булгакову

подписанное соглашение, приложив к нему письмо: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Посылаю Вам один из экземпляров нашего соглашения. Недоумеваю, для чего оно теперь понадобилось. Или явилась надежда на постановку?

15. III я, вероятно, на месяц уеду в санаторий. Но вообще мне, конечно, было бы приятно встретиться с Вами, и мне не нужно в этом заверять Вас, Вы должны это чувствовать сами. Крепко жму Вашу руку. Ваш В. Вересаев» {134}.

О чем говорили Булгаков и Вересаев в тихом кабинете у стола со скромным письменным прибором из уральского камня? Можно высказать предположение, что в их беседах вставал и Киев. В последние годы Вересаев нередко приезжал сюда, здесь им в 1939 г., в частности, написаны очерки «Книгоиздательство писателей в Москве» и «Коктебель». Как рассказывал нам врач и писатель Павел Ефимович Бейлин (1910–1988), он присутствовал на обсуждении «Записок врача», проходившем в те дни в здании нынешней филармонии. По многолюдью этот вечер на поминал «суд» над знаменитыми «Записками» на Девичьем поле в Москве. П. Е. Бейлину, в то время сотруднику хирургической клиники А. П. Крымова, запомнилась глубокая эрудированность Викентия Викентьевича и в области современной медицины. Во время этой встречи Вересаев говорил, с позиций этики, и о проблемах возможной пересадки органов, и о возможностях фармакологического управления психикой, и о границах вивисекции, быть может, вспоминая коллизии недоступного тогда читателям «Собачьего сердца».

Приезды В. В. Вересаева в Киев хорошо помнит Мария Ивановна Вязьмитина, в прошлом археолог и искусствовед. В 1988 г. она поделилась со мной воспоминаниями об этих встречах. Обычно Вересаев останавливался в гостинице «Континенталь», а свободные вечера проводил у своего друга, историка искусств, автора исследований о художественном наследии Т. Г. Шевченко академика АН УССР Алексея Петровича Новицкого, с семьей которого была дружна и Мария Ивановна. В 1944 г., после освобождения Киева, М. И. Вязьмитина посетила В. В. Вересаева в Шубинском переулке — наверное, это был последний привет из города, который так ему полюбился.

…А пока был май 1939 г., цвели киевские каштаны, и вечерами Вересаев и его спутники шли то на Владимирскую горку, то углублялись в аллеи парков над Днепром — бывших Царского и Купеческого садов, столь хорошо знакомых Булгакову. Это были места, куда Михаил Афанасьевич вновь и вновь возвращался воображением. И знаменательно, что связующим духовным звеном между Москвой и нежно любимым родным

Киевом для Булгакова в этот трудный год, возможно, стал Вересаев.

«Я прочитал ваш роман…..» Остановимся, в рамках данного исследования, на духовных и творческих сближениях в творчестве М. А. Булгакова, А. П. Чехова и В. В. Вересаева. Разумеется, я не ставил своею целью литературоведческий анализ их произведений. Это лишь заметки читателя-врача.

«Чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах…», — пишет М. А. Булгаков в октябре 1924 г. в автобиографии. Примерно так же обозначает свой исходный литературный рубеж А. П. Чехов: «Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах…» Открою сравнительный обзор с их своеобразных репортерских путешествий по Москве, с совпадений, несмотря на разрыв во времени почти в полвека, во взглядах двух писателей-врачей на картины ее жизни.

> «… Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно и родился тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом (автор, как мы полагаем, указывает на наличие сифилиса у многих нищих. — Ю. В.) и сел на всех перекрестках, заныл у подъездов, заковылял по переулкам, — пишет Булгаков в одной из зарисовок, вошедших в серию корреспонденции «Столица в блокноте» (1922–1923 гг.),—….. бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами, а в будке на Страстной площади торгует журналами… неграмотная баба!…
>
> Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба действительно неграмотная.
>
> Москва — котел: в нем варят новую жизнь…
>
> Боже мой! Препятствие-то, препятствие… Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка, и он застыл, подняв ее верх…..милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже не свойственное констеблям и шуцманам, ласковое:
>
> — Давай! — извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных» {135}.

Мы уже упоминали о фельетоне «Гнилая интеллигенция» из этого цикла. Хотя речь идет о судьбе врача, здесь, по сути, звучит особое мнение Булгакова об истинной социальной роли этой части общества, названной через некоторое время «прослойкой». Но это лишь одна из тем. Булгаковский «Московский

калейдоскоп», запечатленный в периодических изданиях того времени, включает разнообразные блики бытия. Тут рассказ «о сверхъестественном мальчике», который «уже не торгует папиросами и не просит милостыню в трамваях, а идет в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я, и на спине у него р-а-н-е-ц», и сатира о сценической биомеханике в театре ГИТИС. О вреде вульгаризаторства любого рода, и в том числе в медицине, предупреждает юмореска «Неделя просвещения». Но, пожалуй, особенно характерна для позиции Булгакова зарисовка «Золотой век». Это срез времени, сделанный с точки зрения социального гигиениста. Писатель развенчивает заполнившее в 20-е годы города и железные дороги воинствующее «семечковое» бескультурье. «Золотой век, — пишет Булгаков, — …….наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногсшибательных фильмов, но… просто-напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе…

Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и все к черту» {136}.

И еще булгаковские строки: «О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет…….наполнять знанием стриженые головенки советских ребят» {137}.

Утомительная работа, сплошь и рядом впроголодь, в нетопленой комнате, после того как пешком, в прохудившейся обуви исхожена вся Москва. «Волосы встанут дыбом от тех фельетончиков, которые я там насочинял…» Тем не менее и здесь булгаковский неповторимый стиль, юмор, темп. Но в чем корни своеобычности и живой силы его пера и в этом жанре, в чем секрет почти стереоскопического охвата противоречивой действительности? Бесспорно, этому способствовала и близость Булгакова к медицине, которая, как никакая другая профессия, учит пристальному вниманию к деталям, вводит в подробности быта, заставляет быть физиономистом. Кстати, некоторые сравнения и выражения, в частности, «эпидемически быстро растут трактиры» в рассказе «Сорок сороков» или «словно везли

не здоровых москвичей, а тяжко раненных» в «Красной палочке», «…съест туберкулез…» в «Школе имени 3-го Интернационала», «тропический триппер», «спасибо за карболку», «семьсот лихорадок и сибирская язва» в «Багровом острове», «санитарный наблюдающий» в «№ 13.— Доме Эльпит-Рабкоммуне», «круглая язва» в «Паршивом типе», «лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат» в «Воспалении мозгов», «Status praesens» (лат. настоящее положение) в «Киеве-городе» — отражение профессионального врачебного лексикона, органичного для Булгакова.

Тяготея к классическим образцам, Булгаков не мог не всматриваться в опыт молодого Чехова в газетном и журнальном потоке и вряд ли прошел мимо чеховской публицистики. Во всяком случае, совпадения в выборе тем двумя писателями-врачами в этой сфере, на мой взгляд, совершенно доказательны.

Возьмем, например, фельетоны А. П. Чехова «Осколки московской жизни», публиковавшиеся в 1883–1885 гг. Это также широкая медико-социальная панорама. Канитель московских похорон, заставляющая перестать «удивляться тем госпитальным солдафонам и «скубентам», которые мертвецов режут и в то же время колбасу едят…» {138}, погибающий из-за пренебрежения толстосумов зоологический сад, грязь в банях и на съестных предприятиях, тараканы в пекарнях, нищие на улицах города («Москвич не может жить без нищих… Он наймет людей в нищие, если только наука и время похерят пролетариат», — замечает Чехов), тюремный корпус на территории 2-й Градской больницы, опасность возникновения холеры, антисанитарное состояние ночлежных домов, нехватка чистой питьевой воды… Ракурсы и эпохи, разумеется, разные, но так же, как и Булгаков, Чехов подходит к увиденному и анализируемому как медик. «Умираем мы не от «труса, огня, меча»… а просто так, от нечего делать, словно подряд взяли на доставку Эрисману эффектных цифр», — пишет он в одном из фельетонов.

«Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель» — эти слова А. П. Чехова из рассказа «Жена» отражают картину голода, охватившего Россию в начале 90-х годов прошлого столетия. Зимой 1892 г. Чехов разворачивает активнейшую деятельность по спасению крестьян Нижегородской и Воронежской губерний от голодной смерти. Несмотря на лютые морозы, он ездит по глухим деревням, собирает пожертвования для голодающих. 22 января Антон Павлович сообщает А. С. Суворину о своем намерении написать о голоде, который «газетами не преувеличен». Вскоре писатель

подготавливает письмо о голоде для газеты «Русские ведомости».

А вот слова М. А. Булгакова из очерка «Москва краснокаменная», опубликованного в 1922 г., когда страна вновь жестоко голодала: «Ив пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься. Представишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо, не оглядываются…» {139}.

Знаменательно, что, сотрудничая в это время в Лито (литературном отделе) Главполитпросвета, М. Булгаков непосредственно включается в «голодную работу». Он участвует в подготовке лозунгов для агитационного поезда, рецензирует художественные материалы, призывы, обращенные к населению. Одно из таких четверостиший на листе, подписанном Булгаковым, как пишет Р. М. Янгиров в исследовании «М. А. Булгаков — секретарь Лито Главполитпросвета», звучит так:

«Волга все долги запомнит,
Все вернет с лихвой.
Так скорей спеши на помощь
Щедрою рукой».

Не исключено, что эти строки принадлежат Булгакову. Кроме того, указывает Р. М. Янгиров, сотрудники Лито участвовали в подготовке к изданию двух литературно-художественных сборников. Первый, под названием «Голод», составлялся из произведений Л. И. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. М. Горького. Сборник «На голод» должен был состоять из произведений современных писателей. Быть может, думая над этими сборниками, М. А. Булгаков вспоминал строки письма А. П. Чехова к Л. А. Авиловой, где Антон Павлович высказывал мнение по поводу идеи создания подобного сборника в пользу раненных на японской войне: «Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25–40 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и проч.), насчет раненых, сострадания к ним, помощи и проч., что только найдется у авторов подходящего. Это и интересно, и через 2–3 месяца можно уже иметь книгу и продастся очень скоро».

Думается, что врачебные побуждения А. П. Чехова и М. А. Булгакова в описываемых обстоятельствах были весьма сходны.

«Не считая судебных отчетов, рецензий, фельетонов, заметок, всего, что писалось изо дня в день для газет…, — отмечает Чехов в автобиографии, — мною… было написано более 300 печатных листов повестей и рассказов. Писал я и театральные пьесы». Перед нами и булгаковский литературный круг! Остановимся на одном из таких отчетов — «Дело Рыкова и комп.», посвященном суду над управляющим банком Г. И. Рыковым и несколькими его помощниками, растратившими одиннадцать миллионов рублей. Он был опубликован в 1884 г. в «Петербургской газете».

Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной, пишет о Рыкове Чехов в манере, напоминающей точность Скорбного листа. «Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних лет 5—10: на вид он старше. Большое упитанное тело облечено в просторную арестантскую куртку и широкие безобразные панталоны. Он бледен и смущен, до того смущен, что прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдыханий. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают но зеленому сукну судебного стола.

Этот «Иван Гаврилов», одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства» {140}.

Судебный очерк, посвященный делу маньяка-убийцы Комарова, сохранился и в творческом наследии Булгакова. Кстати, о нашумевшем процессе поет в булгаковском рассказе «Воспаление мозгов» даже беспризорный мальчишка: «У Калуцкой заставы жил разбойник и вор — Комаров!» Приведем портрет Комарова, отличающийся, пожалуй, таким же острым видением, как у Чехова: «Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей… Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле… И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!……отправленные большими городами» {141}.

Сопоставление этих страниц, думается, очень важно: оно позволяет более отчетливо представить, чем помогли Булгакову врачебные знания уже на первых этапах литературного пути, как вольно или невольно они входили в его писательскую плоть и кровь. «Подобно Чехову, — отмечает В.Я. Лакшин, — Булгаков пишет об отвращении к литературной поденщине, но, как и Чехов, он не вполне справедлив к себе и своим ранним трудам. И дело не только в том, что Булгаков, что называется, набил руку на этой «скорописи», растормозил свой творческий аппарат, что

всегда важно начинающему… Существеннее, пожалуй, что, досадуя па спешную ремесленную работу…..Булгаков в то же время черпает в приемах фельетона нечто значительное для формирования своего зрелого стиля.

И второе — тяготение к точности предмета, репортерской конкретности в описании времени и места… Это тоже идет от практики газетчика, репортера и поддержано, с другой стороны, навыками медицинского образования и врачебного опыта. Булгаков смело вводил в литературу то, что считалось «грязной», низкой или запретной для описания стороной жизни, по находил для этого изящные формы…» {142}.

Заслуживают внимания и слова А. П. Чудакова: «Что бы ни писали авторы статей и книг «Чехов-врач», «Чехов и медицина», главные его интересы с ранней молодости лежали в другой сфере. И его медицина оказалась важной прежде всего для мировой медицины. Но для того, чтобы так случилось, это должна была быть не любительская, а настоящая медицина» {143}.

В воспоминаниях В. П. Катаева о Булгакове, встающих в беседах с ним М. О. Чудаковой, есть фраза: «…С виду был похож на Чехова…» Наверное, это отраженное и в облике, и в поведении удивительное внутреннее, нравственное сопряжение между ними — в несуетной скромности натуры, профессиональной сосредоточенности, в вере в принцип, что «правду говорить легко и приятно». Собственно, такие черты, привносимые медициной, отмечал и сам Чехов, писавший, что «знакомство с естественными науками кладет на словесников какой-то особый отпечаток, который чувствуется и в их методе, и в манере делать определения, и даже в физиономии». Медицина и литература: питающие ручьи… Значимость таких взаимосвязей, видимо, столь велика, что она не случайно подчеркивается в автобиографиях Чехова и Булгакова, и о них же пишет и Вересаев.

«… Выбрал медицинский факультет — не помню по каким причинам, но в выборе потом не раскаялся», — указывает Чехов. Эта выдержка из его письма Г.И. Россолимо, являющегося единственной автобиографией Антона Павловича, была опубликована в 1900 г., но Чехов и раньше подчеркивал роль медицинского образования для себя как для литератора. «Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи», — пишет он А. Н. Плещееву 9 октября 1888 г.

«Учился в Киеве и в 1916 г. окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием» — вот слова Булгакова. Знаменательно, что врачебное прошлое подчеркивается Михаилом Афанасьевичем в его обеих

автобиографиях (1924 и 1937 гг.).

«Меня давно не удовлетворяли исключительно гуманитарные науки, хотелось наук точных и точных методов, знаний реальных, — указывает в «Воспоминаниях» Вересаев. — Потом: хотел в какой-нибудь области иметь знания прочные и всегда нужные, чтобы с ними во всех обстоятельствах жизни чувствовать себя независимым…

И, наконец, была еще одна причина, самая главная… Я мечтал стать писателем и именно беллетристом. А писатель, изучая человека, должен быть совершенно ориентирован в строении в отправлениях его тела, во всех здоровых и болезненных состояниях как тела его, так и духа. И потом, я туго и трудно сходился с людьми и надеялся, что профессия врача облегчит мне такое сближение, даст возможность наблюдать людей в таких интимных проявлениях, в каких сторонний человек никогда их не сможет увидеть» {144}.

Хотелось наук точных и точных методов… Думается, интерес и симпатии Чехова к Вересаеву основываются и на этих созвучных ему как естественнику особенностях творчества Викентия Викентьевича. Но, конечно же, поистине ярчайшим образцом слияния гуманистической врачебной и общечеловеческой психологии, точных медицинских знаний о теле и духе человека и великого литературного мастерства предстает весь путь Чехова. В 1912 г., после кончины писателя, благодаря трудам Марии Павловны Чеховой, начали публиковаться его письма и, таким образом, раздвинулась завеса и над его подлинной врачебной биографией. Возможно, студент, а затем молодой врач Булгаков в той же комнате, где он запечатлен на фотоснимке «Доктор», снова и снова вдумывался в чеховские строки. Можно полагать, что, открывая чеховский врачебный мир, они имели для него особое значение.

> «У соседа родит баба. При каждом собачьем взлае вздрагиваю и жду, что пришли за мной. Ходил уже три раза…»
>
> «Бывают дни, когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина…»
>
> «… В 30 верстах от нас холера, и я не могу оставить своего пункта…»
>
> «Способ лечения холеры требует от врача прежде всего медлительности, т. е. каждому больному нужно отдаваться по 5 —10 часов, а то и больше… На 25

деревень только один я, если не считать фельдшера… При единичных заболеваниях я буду силен, а если эпидемия разовьется хотя бы до пяти заболеваний в день, то я буду только раздражаться, утомляться и чувствовать себя виноватым.

Конечно, о литературе и подумать некогда…»

«Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент…»

Как вспоминает Н. А. Булгакова-Земская, «читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания»… Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.

Читали декадентов и символистов, спорили о них….. Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистах, об украинском вопросе, о Балканах, о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке, читали Ницше.

Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще всех нас» {145}.

Эти воспоминания относятся к студенческой поре Булгакова. Отметим, что в ряду литературных пристрастий семьи, определяемых во многом старшим братом, Чехов стоит рядом с Гоголем И Салтыковым-Щедриным, что именно Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался. Испытывая равновеликое притяжение литературы и медицины, Михаил Афанасьевич, быть может, благодаря этим письмам, воочию увидел, чем являлась для Чехова медицина. В годы первых проб пера Булгаков, несомненно, сопоставлял подробности доселе неведомых врачебных будней любимого писателя со строками «Жены», «Ионыча», «Врагов», «Попрыгуньи», «Дамы на охоте», «Палаты № 6», «Дяди Вани». Ощущение непосредственной связи между мировосприятием, даваемым врачебной профессией, и чеховскими художественными образами, возможно наряду с другими причинами, побуждало юного Булгакова, как бы вглядываясь в себя из литературной дали, чрезвычайно серьезно относиться к курсу клинических дисциплин.

Так, Булгаков пе мог не обратить внимания, что в ранней юмористике Чехов широко использует медицинскую терминологию, вводя в сюжет названия лекарств, диагнозов, симптомов, применяя при описании внешности анатомические и другие специальные термины. Это рассказы «В аптеке», «Сапоги»,

«Утопленник», «Мои жены», «Индейский петух», «Средство от запоя». Казалось бы, для писателя-врача тут почти готовый набор метафор, коллизий, композиционных клише. Чехов одним из первых в юмористике использовал это поле фактов, терминов, наблюдений. Собственно, и булгаковские «Человек с градусником» и «Летучий голландец» написаны примерно так же. Но будущий создатель «Мастера и Маргариты» не мог не задумываться и над другим: чем явственнее росло искусство Чехова, тем более преобладающими становились социальные мотивы в его творчестве, в том числе и в видении соприкосновений жизни и медицины. Можно полагать, что именно эти идейные уроки Чехова во многом предопределили тональность и гуманистический смысл «Записок юного врача».

Воссоздавая хронику тревог и усилий, утрат и озарений своего героя, Булгаков подчеркивает, что нужда и невежество, царящие в деревенском быту, часто просто перечеркивают старания Юного врача. И пусть он рисует подобные жизненные столкновения лишь штрихом, за небольшим эпизодом встает повседневная тяжкая картина.

«Но вот однажды, это было в светлом апреле…….ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой… И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли…

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

— Свекор лошади пе дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять…» {146}.

…Уже через несколько минут опять человеческий крик, и более двух часов доктор возится с переломленной ногой у мальчишки, накладывая гипсовую повязку. Обычные моменты жизни сельского врача… Но вдумаемся в мелькнувшее воспоминание. Как близка сущность причин и следствий («лошади не дал…») к чеховским строкам о доле крестьянки, к социальному портрету старой деревни в рассказе «Дом с мезонином».

«… Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и

больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку…» {147}.

«Чувства, переживания, отношение к работе — это подлинные чувства и переживания самого автора», — пишет в подготовленном ею предисловии к «Запискам юного врача» Н. А. Булгакова-Земская. Именно такой и должна быть наша оценка юного по возрасту, но уже умудренного медициной и жизнью доктора из Мурьева, оценка земских его будней, бесконечных мучительных дорог в свистящих вьюгах, в сатанинской вертящейся мгле. Да, Булгаков возвращается к нам. Вглядимся же и во врачебный облик — его самого и его героя, вслушаемся в мысли о медицине.

> «Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйи. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание» {148}.

> «… Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. — Останьтесь, переночуйте…
>
> — Нет, не могу… У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть» {149}.
>
> «… Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его» {150}.

Перед нами вызывающий благодарные светлые чувства портрет сельского врача, его труды и дни в маяте одиноких борений. Но все же он восклицает: «Учи меня, глушь, учи меня, тишина деревенского дома!» И разве не являются чеховские земские врачи Вознесенский и Соболь (рассказы «Драма на охоте» и «Жена») как бы прямыми прототипами несчастного и счастливого булгаковского доктора?

> «Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой

рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками…, его белый галстук вечно сидит не на месте… Но вы не подумайте, что он неряха… Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он… Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах — этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета» {151}.

«По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем…

— Две ночи не спал! — говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь. — Одну ночь с роженицей, а другую, всю напролет, клопы кусали, у мужика ночевал…

— Целый день то в больнице, то в разъездах, — рассказывал он… Десять лет ничего не читал!… Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить Ивана Иваныча: табаку купить иной раз не на что» {152}.

Целый день то в больнице, то в разъездах… Наряду с чеховскими строками, Булгаков, пожалуй, мог бы предпослать в качестве эпиграфа к своему смоленскому циклу рассказов и строки из воспоминаний В. В. Вересаева, связанные с такой же трудной работой на земском поприще.

«Увожу отсюда много драгоценных наблюдений…….сознание, что прожил эти два месяца пе напрасно и, кроме того, сознание, что я… хороший человек и могу делать дело…» {153},— писал Викентий Викентьевич, покидая холерный барак на донецкой шахте. Представляется глубоко закономерным, что «Записки юного врача» как бы перекликаются и с творчеством В. В. Вересаева, причем не только с «Записками врача».

Мы уже упоминали о повести Вересаева «Без дороги», вышедшей в 1894 г. Повесть основана па биографических впечатлениях Викентия Викентьевича и так же, как и «Морфий», написана в форме дневника. Судьба ее героя врача Чеканова драматична. Совсем недавно он переболел тифом, заразившись во время голодной эпидемии. И вот снова предстоит сделать выбор — встать на борьбу с холерой. Казалось бы, любой честный человек не может поступить иначе. Однако в критический момент

многие медики предпочитают отойти в сторону — и не только потому, что врачебное пребывание на эпидемии вообще требует от каждого чрезвычайного напряжения сил. Пожалуй, никогда еще миссия земского врача не была такой неблагодарной и опасной. Массы крайне враждебно и неприязненно относятся к действиям медицины. Ходят слухи, что дезинфекция якобы делается для того, чтобы морить людей. Совсем недавно толпа до полусмерти избила доктора Чубарова, приписав ему отравительство…

И все же Чеканов принимает на себя заведование холерным бараком. Начинаются врачебные будни. «Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизсматик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо… Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз» {154}.

Работы больше и больше. Вот первый больной с подозрением на холеру — слесарь Черкасов, потом медник-литух Иван Рыков, слесарь-замочник Жигалев, ломовой извозчик Игнат Ракицкий… Случаи подтверждаются бактериоскопически. Благодаря бессонной героической работе, многих удается спасти. «Я уже давно не писал здесь ничего, — отмечает Чеканов. — Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день».

Но чемеровцы не оценивают этого бескорыстного подвига. Пьяные мастеровые избивают фельдшера и вот-вот ворвутся в дом доктора. Чеканов шагнул навстречу толпе, начал объяснять — сколько народу в больнице выздоровело. «Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза… Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки… Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, я без сознания упал на землю».

Очевидно, Михаил Афанасьевич и Викентий Викентьевич не раз говорили о земской службе, особенно в пору публикаций медицинских рассказов Булгакова. «Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу… Так жить всегда — невозможно, — писал Вересаев в «Записках врача». — И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так,

как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность… Я держусь….. мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь делать все, что могу, но — с глаз долой, и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь; нужно съездить к больному; я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном; но, возвратившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. «Больной», с которым я имею дело как врач, — это нечто совершенно другое, чем просто больной человек, — даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания; по отношению же к первым способность эта все более исчезает, и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, с совершенно искренним изумлепием спрашивает его:

— Чудак, чего же ты кричишь?» {155}.

Булгаковский Юный врач — любым своим поступком, любым действием, повседневным строем жизни — доказывает: душевная ржавчина, которую так безбоязненно описывает Вересаев, но коснулась его. И мы вправе сказать, что, как и А. П. Чехов, В. В. Вересаев стал одним из идейных наставников и литературных вдохновителей Михаила Булгакова но только «па пороге трудной лестницы», но и в дни врачебной сельской работы, а затем в часы писательских раздумий о медицине. Характерно, что в удостоверении, выданном Булгакову 18 сентября 1917 г. Сычевской земской управой и свидетельствующем о его безукоризненных профессиональных качествах, слово Врач пишется с прописной буквы. Такими же настоящими Врачами были А. П. Чехов и В. В. Вересаев. И это, говоря словами Ю. Трифонова, сказалось «в той силе воплощения», с которой отображен в их произведениях героизм врачевания.

Однако в художественном отображении кульминационных моментов в медицине, в своеобразной ее «интроскопии» Булгаков достигает высот, равных которым, пожалуй, нет. Безусловно, на этом новом взгляде, на талантливой литературной интерпретации чисто клинических подробностей работы и психологических переживаний врача и пациента сказалось и движение времени, дыхание XX века. Но кто-то первым открывает дверь. И именно Булгаков наиболее отчетливо выразил эти веяния, придав отныне, казалось бы, частному медицинскому описанию новые п вместе с тем классические черты. Читая некоторые его строки, убеждаешься, что писать о медицине иначе в художественных произведениях сегодня просто нельзя, а

лучшие современные страницы о ней так или иначе несут след уроков Булгакова.

Сравним эпизоды борьбы с дифтерией, которых касаются и Чехов, и Вересаев, и Булгаков.

«— Вот что… Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь… мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым…» — так завершается в рассказе Чехова «Попрыгунья» жизнь и судьба доктора Дымова.

«…—у него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-по-настоящемупод суд отдавать надо, — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки…» {156}.

Мы ясно представляем доктора Дымова в эти минуты. Однако каких-либо медицинских подробностей, хирургических деталей Чехов избегает — и здесь, и в ряде других произведений. Хотя мы знаем: в земских больницах ему, видимо, не раз при оказании неотложной помощи доводилось и отсасывать дифтеритную слизь, и производить трахеотомию — так же, как, например, на Сахалине, когда потребовалось хирургическое вмешательство и Антону Павловичу пришлось вскрыть абсцесс у мальчика.

Обращаясь в «Записках врача» к той же теме, Вересаев останавливается на «технологии» лечения и притом в беспощадном для себя свете.

«С первым же разрезом, который я провел по белому, пухлому горлу девочки, я почувствовал, что не в силах подавить охватившего меня волнения; руки мои слегка дрожали.

… Я наконец добрался зондом до трахеи, торопливо разрывая им рыхлую клетчатку и отстраняя черные, набухшие вены… Гладкие, хрящеватые кольца трахеи ровно двигались под моим пальцем вместе с дыханием девочки; я фиксировал трахею крючком и сделал в ней разрез; из разреза слабо засвистел воздух.

— Расширитель!

Я ввел в разрез расширитель. Слава богу, сейчас конец! Но из-под расширителя не было слышно того характерного шипящего шума, который говорит о свободном выходе воздуха из трахеи.

— Вы мимо ввели расширитель, в средостение! — вдруг нервно крикнул Стратонов… Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро вытирала ватным шариком; на дне воронки кровь пенилась от воздуха, выходившего из разрезанной трахеи…

Сестра милосердия стояла с страдающим лицом, прикусив губу; сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтоб не видеть…» {157}.

И вот почти такая же сцена в «Стальном горле» Булгакова: «… Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась……

Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ рапы, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом….. «Конец, — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь опа умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей…» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — сипло бросил я.

… Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было… Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь» {158}.

Волнующие эти описания очень близки. Но все же булгаковский поединок, запечатленный как бы более свободной кистью, неотразимее врезается в память…

Сопоставляя страницы творчества трех писателей-врачей, видишь немало поразительных соприкосновений и в деталях действа, и в способах художественного мышления. «Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища», — пишет Чехов в «Попрыгунье». «Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель» — так описывает Булгаков коллег у постели доктора Турбина.

А вот чеховский рассказ «По делам службы». «Потом ему (Лыжину. — Ю. В.) представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

— Мы идем, мы идем, мы идем…..

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе?» {159}.

Мы невольно вспоминаем и сон Алексея Турбина: «… Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы…..

— Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?

Жилин приветно махнул рукой….. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна» {160}.

Стоит отметить, что и эти эпизоды, пожалуй, значимы для медицины. Чехов и Булгаков обрисовывают занимающее большое место в психологии сна парадоксальное просоночное состояние, туманный промежуток между сном и бодрствованием, когда образы, проносящиеся перед нами во сне, соприкасаются с реальностью, а слабое воздействие вызывает значительный резонанс. В науке о сие такие минуты заслуживают особого изучения. Знаменательно, что оба писателя коснулись именно их.

Вместе с тем, указывает в исследовании «Сон как элемент внутренней логики в произведениях Булгакова» славист,

заведующий кафедрой русской филологии Туринского университета Д. Сиендель де Варда, в строках Булгакова мы находим образцы снов и ситуаций сна, которые отражают целый диапазон разнообразных возможностей сна: сон — кошмар, сон — предупреждение, сон — желание, сон — гротеск, сон — как видение еще незнаемого будущего. Этому проникновению в мир сна, неотъемлемому от сферы булгаковской научной фантастики, способствовало, по мнению итальянского слависта, научное образование М. А. Булгакова.

Удивительный захватывающий миг — в шуме и сутолоке циркового представления Каштанка узнает голос своего бывшего хозяина Федюшки и бросается к нему… Почти каждый из нас еще с дошкольных лет помнит этот рассказ Чехова. Описывая в «Собачьем сердце» Шарика, Булгаков, черпая из вечного колодца детских впечатлений, вспоминал, наверное, и историю жизни чеховской собаки. Шарик «…остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали… До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара…» {161}.

Но разве Шарик не напоминает Каштанку? «Молодая рыжая собака… бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?… Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать… За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться»» {162}.

Возникает ощущение, что Чехов и Булгаков как бы слышат душу животных. Знаменательно, что оба писателя развивают на этих страницах предвосхищения Л. Н. Толстого. Кстати, именно на таких проникновениях, размышляя о Льве Толстом, останавливается в своей критико-публицистической книге «Живая жизнь» В. В. Вересаев.

«Вокруг человека — огромное море жизни: животные, растения… — пишет Вересаев. — Они пе умеют говорить, но в них есть самое важное, что и в человеке…

Толстой говорит про лошадь Вронского Фру-Фру: «Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только

потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого».

И повсюду у Толстого только как будто эта механическая причина отделяет животных от людей…

Собаки упустили волка. Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и рассерженными лицами. Булька рычал а толкал меня головой — он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел…

Однако, в конце концов, слова не так уже необходимы. Тесное, непрерывное общение происходит между душами и помимо слов, — путем взглядов, интонаций, какой-то своеобразной интуиции…» {163}.

Мы знаем, как высоко ценил Булгаков творчество Л. Н. Толстого. Очевидно, в постижении его миропонимания свою роль для него сыграла книга В. В. Вересаева «Живая жизнь», являющаяся собственно книгой и о самом Викентии Викентьевиче.

По воспоминаниям Е. А. Земской, к Михаилу Афанасьевичу всегда тянулись мальчишки, как-то безошибочно чувствуя его натуру. И характерно — образы детей, хотя это в общем мимолетные страницы, выписаны Булгаковым с удивительной любовью.

«Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами… Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню…» {164}. Мы привели Отрывок из «Белой гвардии». С сердечной симпатией к мальчику Славке написан и рассказ Булгакова «Псалом»: «И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит…» {165}.

Земская больница, одновременный прием детей и взрослых, заботы, заботы, заботы доктора… «Мы с тобой, Пашка, вот как

управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем!… Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх!» — в этих словах из рассказа А. П. Чехова «Беглец», с которыми к семилетнему Пашке Галактионову, уговаривая его остаться в больнице, обращается доктор Иван Николаевич, также отчетливо встает доброе видение детской души. На наш взгляд, этот рассказ вообще весьма важен для педиатрии. Даже если доктор чрезвычайно занят, он не вправе забыть слова, оброненные в разговоре маленьким пациентом, не должен допускать, чтобы к малышу пришло сомнение — его обманывают, чтобы тот оказался в одиночестве. Это непреходящие истины. Иван Николаевич, хороший врач, опытный хирург, спасает Пашку, в ужасе решившего бежать в пургу из больницы домой, он исправляет свой недосмотр, но ведь все могло случиться и иначе…

Известно, что «Беглец» был навеян впечатлениями Чехова в период работы в Чикинской больнице. Нельзя не заметить — строки этого рассказа, несомненно, перекликаются с рожденными врачебным опытом булгаковскими «Стальным горлом» и «Звездной сыпью», также преисполненными нежностью и сочувствием к больному ребенку.

Вот дети, с больной матерью в рассказе «Звездная сыпь». Мать не понимает, чем грозят малышам грозные розеолы. Больших усилий стоит доктору уговорить молодую женщину остаться на лечение. И все же он организует во флигеле специальное отделение, применяет новейшие методы лечения сифилиса — ради будущего этих крестьянских ребят.

Вместе с Юным врачом мы радуемся выздоровлению девочки Лидки. Только шрамик на шее напоминает о минутах на операционном столе — благодаря его мужеству и мастерству ей возвращена жизнь… Если бы составлялась литературная галерея исцеленных детей, эти булгаковские образы обязательно вошли бы в нее.

Горькие раздумья о доле подмастерья Васьки, так перекликающейся с жизнью чеховского Ваньки Жукова, звучат в «Записках врача» Вересаева. Мальчик страдает головокружениями и обмороками и периодически приходит к доктору…

«… Мне часто случается проходить мимо мастерской, где он работает, — окна ее выходят на улицу. И в шесть часов утра и в одиннадцать часов ночи я вижу в окошке склоненную над сапогом стриженую голову Васьки, а кругом него — таких же зеленых и худых мальчиков и подмастерьев… И вот мне нужно лечить Ваську. Как его лечить! Нужно прийти, вырвать его из этого… угла, пустить бегать в поле, под горячее солнце, на вольный

ветер, и легкие его развернутся, сердце окрепнет, кровь станет алою и горячею. Между тем даже пыльную петербургскую улицу он видит лишь тогда, когда хозяин посылает его с товаром к заказчику… И единственное, что мне остается, — это прописывать Ваське железо и мышьяк и утешаться мыслью, что все-таки я «хоть что-нибудь» делаю для него» {166}.

Сердечность по отношению к детям, проявившаяся и в профессиональной деятельности, и в буднях медицинского труда, и на литературных страницах, — эта высокая нравственная проба роднит трех писателей, врачей.

«Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность», — писал Чехов. Необычайный интерес, на мой взгляд, представляет и обратный, почти не изученный эффект — значимость творческого наследия писателей, о которых мы ведем рассказ, для медицины как таковой. В ряде их произведений заключены настоящие научные открытия!

Собственно, в этом нет ничего неожиданного. Талантливый писатель-врач пристальнее, чем кто-либо другой, всматривается в лик человека, в природу всего, что происходит с ним. По мнению А. П. Чудакова, на страницах таких книг сливаются в единый образ вдумчивое видение черт организма и личности, анализируются причины и аномалии, проявляющиеся в тех или иных состояниях, вырастая порой в талантливый медицинский либо психологический диагноз.

Так, в рассказе Чехова «Именины» мы встречаем выражение «болевая жизнь». «… От боли, частых криков и стонов она отупела (речь идет об осложненных родах у Ольги Михайловны. — Ю. В.). Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь (разрядка моя. — Ю. В.) продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца…» {167}.

О «болевой жизни» пишет в «Белой гвардии» и Булгаков. «Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, — сухо и беззвучно повторил Турбин и внушал себе: — Надо утром встать и перебраться домой…» Гвоздь разрушал мозг, и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все равно… Осталось одно — чтобы прекратилась боль» {168}.

Нам думается, что формулировка Чеховым и Булгаковым сущности «болевой жизни» (хотя их слова весьма необычны для медицинской терминологии) имеет самую прямую связь со многими аспектами клиники. Болевая доминанта действует разрушительным образом, извращая физиологические циклы. Она требует от врача неотложных мер.

Конечно, обо всем этом упоминается в учебниках и руководствах, но так, как сказали о боли Чехов и Булгаков, не сказал никто.

«Historia morbi» — этот подзаголовок не случайно предпослан рассказу Чехова «Черный монах» и рассказу Булгакова «Красная корона», где авторы касаются аспектов психики, показывая истоки и развитие навязчивых состояний. Мы знаем, что оба писателя были прекрасно ориентированы в психиатрии, их знания отразились в «Палате № 6», «Припадке», «Беге», «Мастере и Маргарите». Но, видимо, нелишне обратить внимание на то, что медицинская трактовка непосредственно в названии дана Чеховым и Булгаковым лишь в описании галлюцинаторных аффектов. Быть может, в этот выбор стоит вдуматься и современным врачам — «черный монах» отнюдь не исчез с горизонта жизни, где и сейчас есть немало тяжких стрессовых ситуаций. Кстати, о подобном видении в своих сновидениях, в пору глубоких душевных переживаний 30-х годов, Булгаков упоминает в одном из писем, а образ смерти в виде старушки с вилами в «Морфии» схож с этим навязчивым странным миражом, обрисованным Чеховым.

Для врача, конечно же, не утратили значения чеховское и булгаковское описания клиники сыпного тифа. Галлюцинаторные наплывы, срыв ритма времени, извращенное ощущение температуры и шумов — как точно подмечены эти нюансы, на которых у постели больного, и не только при тифе, врач иногда должным образом не сосредоточивается.

Вот эти строки: «Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца», — пишет Чехов в рассказе «Тиф». «Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, по сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли… Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло… Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать» {169}.

Мечется в тифозном бреду Турбин. «Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что! Совершенно немыслимо будет жить… Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной….. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегченья… Вряд ли не Елена была и причипой палки, на которую насадили туловище простреленного Турбипа».

В эпизодах болезни Турбина М. Булгаков вводит и понятие, которое можно определить «психологические часы». «На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу — ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча». Но вот Турбину становится хуже, у него поднимается температура. «Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик»… Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, — ровно половина шестого…….стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке» {170}.

Такие «психологические часы» часто встречаются в жизни, мы просто не замечаем их. А между тем к ним должны-присматриваться и врач, и учитель, и психолог, да и вообще каждый человек в общении с людьми. Но не забудем в беге времени — одним из первых увидел и осветил их таинственный ход Михаил Булгаков.

Чехов, Вересаев, Булгаков и вечные моральные постулаты медицины… Вчитываясь в их строки, отмечаешь и непреходящие гуманистические истины и, в частности, настойчивый призыв к состраданию. Для постижения основ деонтологии, для осознания смысла и важности борьбы с «микробами страха» их произведения — настоящий курс нравственности.

И знаменательно, что именно эта линия милосердия получает особенно яркое и, пожалуй, более высокое развитие в «Белой гвардии» Булгакова — в образе седого профессора, учителя Алексея Турбина. В тяжелые для раненого Турбина дни, когда само посещение его квартиры как человека, стрелявшего в сечевиков, опасно, профессор вместе с коллегами приходит к нему. Состояние Турбина почти безнадежно, он без сознания. Мы уже обращались к этому эпизоду в доме на Алексеевской спуске. Но еще раз вслушаемся в голос профессора, в слова, напоминающие об исключительной важности предохранения

психического мира больного от травмы словом.

«(…) Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, — такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу тумана и бреда не воспринял их, — в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции».

Выскажу версию предыстории этого литературного эпизода, где, как было отмечено, в образе профессора угадывается наставник М. Булгакова хирург Н. М. Волкович. Во время подавления восстания киевских саперов в декабре 1905 г. на Галицкой площади (нынешняя площадь Победы) был тяжело ранен в область печени один из руководителей революционного выступления, член РСДРП врач Федор Николаевич Петров Его оперировал на конспиративной квартире Николай Маркианович Волкович. Разумеется, он вряд ли разделял политические взгляды Ф. Петрова и, быть может, не одобрял его позицию. Но ведь был ранен его ученик, и к нему обратились за помощью. Струсить в нелегкой житейской ситуации, презреть профессиональный долг, поскольку раненого разыскивает полиция… Наверное, кто-либо другой поступил бы именно так. И все же Волкович как настоящий врач не мог не пойти на риск. Возможно, позже Нулгаков узнал об этом тайном визите, потребовавшем, помимо всего прочего, подлинного мужества. Вот почему апостолом цеонтологии в «Белой гвардии» предстает седой профессор.

Характерно, что и в «Звездной сыпи», по отношению к больному сифилисом, доктор проповедует те же святые правила. Он говорит ему о диагнозе, понимая, что это может явиться для пациента психологическим ударом, и стараясь сделать это как можно мягче — врач предполагает, что человек этот очень испугается, придет в волнение. А ведь обычно с подобными больными обходятся без особых церемоний…

Мы входим во флигелек в Мурьевской больнице, где Юный врач организовал специальное отделение для лечения сифилиса, где он применяет новейшие средства. Как отличаются эти комнаты по всей их медицинской и моральной атмосфере от такого же флигеля на территории больницы в палате № R. где, лишь переступив порог, чувствуешь безысходность. Подчеркну, что писатель, по-видимому, повествует об истинных событиях — в воспоминаниях Н. А. Булгаковой-Земской о брате приводится письмо друга Михаила Афанасьевича — А. П. Гдешинского: «Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет его большая работа, которую он зачитывал в Киеве…»

«Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку…

— Ты… Ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь… ты дура!..

— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться?…

— Разве тебя «дурой» следует ругать? Не дурой, а… а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней» {171}.

Выделено, акцептировано самое главное для врача понятие — совесть. Действительно, именно совесть предопределяет в медицине все.

Старый опытный профессор, борющийся за жизнь до конца и осознающий, каков вес его слов, осторожный там, где многие уже не осторожничают… Юный доктор, заброшенный в деревенскую глушь, где лишь совесть является судьей, и предстающий перед нами как подвижник и рыцарь… О них можно сказать строкой поэта «Мои боги, мои педагоги». И какой фальшивой величиной кажется по сравнению с ними столичное светило, описанное Вересаевым в «Записках врача». Вглядимся и в его образ, чтобы не допустить в себе роста бацилл притворства и бездушия.

К доктору — герою записок приезжает в Петербург из провинции его сестра, учительница. От переутомления у нее развилось нервное истощение. Они едут к знаменитому невропатологу, приема у которого домогаются толпы.

«… Наконец, мы вошли в кабинет. Профессор, с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру; на каждый ее ответ он кивал головой и говорил: «прекрасно!» Потом сел писать рецепт.

— Могу я надеяться на выздоровление? — спросила сестра дрогнувшим голосом.

— Конечно, конечно! — благодушно ответил профессор. — Тысячи тем же больны…

Мне становилось все противнее смотреть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия…

— Ну, во-от!.. Ну, это, барышня, уж совсем нехорошо! — воскликнул профессор, увидев ее слезы. — Ай-ай-ай, какой срам!

…

И опять все в его тоне говорило, что профессор каждый день видит таких плачущих и что для него эти слезы — просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок расшатанными нервами» {172}.

И еще одна черта, органично объединяющая мировосприятие трех писателей, — пристрастный взгляд на личную честь врача. При любых обстоятельствах — и это они подчеркивают с большой силой — врач не должен становиться прислужником палача, садиста, убийцы (а если он выполняет такие функции, значит, он позорит свое звание), во имя любых научных целей и побуждений он не имеет права на антигуманные действия.

В «Острове Сахалине» Чехов со жгучей болью (сострадая и негодуя) описывает наказание осужденного. Эта нестерпимая картина долго снилась ему. Но он обязан был увидеть и увидел, по его словам, все. Характерно описание Чеховым врача, санкционирующего, словно бездушный чиновник, надругательство над человеком.

«… Ввели Прохорова. Доктор… приказал ему раздеться и выслушал сердце для того, чтоб определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра.

— Ах, бедный! — говорит он жалобным тоном с сильным немецким акцентом, макая перо в чернильницу. — Тебе, небось, тяжело в кандалах! А ты попроси вот господина смотрителя, он велит снять.

Прохоров молчит; губы у него бледны и дрожат.

— Тебя ведь понапрасну, — не унимается доктор. — Все вы понапрасну… Ах, бедный, бедный!

Акт готов; его приобщают к следственному делу о побеге. Затем наступает молчание. Писарь пишет, доктор и смотритель пишут…..

Наконец Прохоров привязан…

— Ра-аз! — говорит надзиратель дьячковским голосом.

В первое мгновение Прохоров молчит и даже выражение лица у него не меняется, но вот по телу пробегает судорога от боли и раздается не крик, а визг.

— Два! — кричит надзиратель.

… Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты…

… Кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: «Сорок два! Сорок три!» До девяноста далеко. Я выхожу наружу. Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, произносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в

вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его и даже в походке выразился ужас» {173}.

Чехов привез с Сахалина документ об этом варварстве, о постыдной роли врача — копию «акта об освидетельствовании ссыльно-каторжного», он записал, быть может, для потомства, подлинные фамилии подобных врачей — А. Зигер и В. Струминский. Когда он писал строки о Прохорове и его истязателях, его сердце, наверное, обливалось кровью, и, даже читая их, содрогаешься! Но писатель вынес свой приговор. «Чехов в своей книге не стремился к описанию наиболее страшных картин, которые он наблюдал на Сахалине, — отмечает Е. Б. Мева в книге «Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова» (1989). — Тем не менее, желая оттенить ханжеские заверения начальника острова генерала Ко-ноновича в том, что «он питает отвращение к телесным наказаниям», рассказал российскому обществу о такой экзекуции, в которой, к сожалению, участвовали и врачи».

Пришел другой век. «Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал:

— Грозный город, грозные времена… и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видели. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля…» Уже в наше время к теме поведения врача примерно в такой же обстановке в рассказе «Я убил» обратился и Булгаков.

Впрочем, обстоятельства не совсем такие же. Доктору Яшвину достаточно лишь смолчать, его не понуждают составлять гнусный акт, полковникам из петлюровского стана не нужны даже такие фиговые листки. О его малодушии из-за инстинкта самосохранения никто не узнает. Как не узнает и о неминуемой расправе, если он выразит неодобрение палачам… Но Яшвин, хорошо знающий, с кем он имеет дело, оказывается человеком!

«… Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, по сорвалась…

Женщина остановила взор на… полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

— За что мужа расстреляли?

— За що треба, за то и расстреляли…

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

— А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

— Ай-ай, — продолжала она, и глаза ее пылали, — ай, ай. Какой вы подлец… вы в университете обучались и с этой рванью… На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел… А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

— Вы мне говорите? — спросил я и почувствовал, что дрожу. — Мне?.. Да вы знаете…

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

— Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

— Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки…..

— Женщину? — спросил я совершенно чужим голосом. Гнев загорелся в его глазах.

— Эге-ге… — сказал он и глянул зловеще на меня. — Теперь я вижу, якую птицу дали мне вместо ликаря…

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, как он качался па табуретке и кровь у него бежала изо рта….. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть…» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами» {174}.

Яшвин — во многом двойник Булгакова, совпадают даясе биографические детали. Мы не знаем, были ли эти выстрелы на самом деле. Но Михаил Афанасьевич пережил нечто подобное и также сказал свое слово о чести и бесчестии врача.

> «С тяжелым чувством приступаю я к этой главе, но что делать? Из песни слова не выкинешь, — подчеркивает Вересаев в «Записках врача». — Я имею в виду врачебные опыты на живых людях… Я ограничусь при этом лишь областью венерических болезней; несмотря на щекотливость предмета, мне приходится остановиться именно на этой области, потому что она особенно богата такого рода фактами» {175}.

Вересаев, например, упоминает о восемнадцати попытках профессора В. М. Тарновского привить в Калинкинской больнице сифилис женщине, никогда не страдавшей этим заболеванием, но все же «облагодетельствованной» знаменитым венерологом.

Причем строки эти были опубликованы при жизни профессора, посвятившего свою прощальную лекцию… врачебной этике. Приводятся описания постановки примерно таких же «экспериментов» доцентом А. Г. Ге, доктором Р. Фоссом, профессором Х. Фон-Гюббенетом… «Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактов, когда врачи производили опыты над самими собою, — пишет Вересаев далее… Но что безусловно вытекает из приведенных опытов (на других. — Ю. В.) и чему не может быть оправдания — это то позорное равнодушие, которое встречают описанные зверства во врачебной среде».

В «Большой медицинской энциклопедии» (1963 г.) о В. Тарновском сказано — создал училище «повивальных бабок», основал Русское сифилидологическое общество, провел съезд врачей-сифилидологов, учредил кафедру… Да, все это так, заслуги ученого неоспоримы. Но Вересаев, всего лишь писатель-врач, не смог пройти мимо иного, он увидел и эту женщину. Человечность не допускает компромиссов, врачебная профессия не терпит даже тени непорядочности, отступление от этих вечных категорий не имеет оправдания и не должно прощаться никому — вот завет Чехова, Вересаева, Булгакова.

В 1948 г. Генеральная Ассамблея Всемирной медицинской ассоциации, осуждая эксперименты фашистских врачей над военнопленными, приняла «Женевскую декларацию», где звучат фактически эти же слова и понятия: «… Я всеми силами буду поддерживать честь и благородные традиции медицинских профессий. Я не позволю, чтобы религия, национализм, расизм, политика или социальное положение оказывали влияние на выполнение моего долга. Я буду поддерживать высшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия; даже под угрозой я не использую мои знания в противовес законам человечности. Я даю эти обещания торжественно, от души, с чистой совестью». К «Женевской декларации», к этому международному кодексу врачебного поведения, следовало бы присовокупить и страницы произведений Антона Чехова, Викентия Вересаева и Михаила Булгакова, которые, пожалуй, первыми в литературе ударили в колокол врачебной совести.

«Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота… Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный» {176}.

Пройдите по киевскому млечному пути — гористому Андреевскому спуску — и остановитесь у этого дома с бронзовым

ликом Булгакова. «Переведен на французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и чешский языки», — писал он в марте 1937-го, за три года до последних дней. В 1962 г. началось его обретение и русским читателем, вышла в свет «Жизнь господина де Мольера». «В литературе есть имена, как бы «находящиеся в обмороке» и медленно — к сожалению, слишком медленно — возвращающиеся к жизни», — писал В. Каверин в послесловии к этой книге. Сегодня, спустя полвека после кончины Михаила Афанасьевича и в канун столетия со дня его рождения, нельзя не задуматься над загадкой — что же дала Булгакову медицина и чем он обогатил ее. Да, он был врачом недолго. Но вместе с Чеховым и Вересаевым он озарил ее негасимым светом любви к человеку. Его истинные уроки, истинные боли так долго были в забвении, его сердце и разум, его нежность и «великолепное презренье» необычайно нужны нам. Вот он пробегает по полутемному коридору из амбулатории в аптеку, в мятом халате, за папироской, сквозь шепот и кашель больных — молодой доктор Булгаков. Вот, движимый долгом, продрогший после долгой зимней дороги, он входит в крестьянскую избу, где витает опаснейшая инфекция… Вот, с бестрепетной смелостью и величайшей осмотрительностью, в стеклянном молчании операционной, он приводит к благополучному исходу тяжелые роды, и крик новорожденного ребенка, словно голос победы над безнадежностью, колокольчиком отдается в его сердце. В галерее его духовных портретов и этот образ из далекого прошлого так ярок и органичен, без него потускнеют все остальные. Ведь в годы своей врачебной одиссеи Булгаков не просто нашел писательскую волшебную палочку. Весь свой короткий и вечный век он, думая о медицине, всматриваясь сквозь ее увеличительное стекло в своих героев, предугадывал ее тревоги — мучаясь ее несовершенством, веря в ее могущество, в ее преобразующее влияние. О булгаковском понимании сущности этой профессии и о его дагерротипе в ней можно сказать классическими словами: «Все, что есть в мудрости, все это есть в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, отвращение к пороку, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни».

> «Я жадно вглядываюсь в этого человека….. Глаза его примечательны. Я читаю в них странную всегдашнюю язвительную усмешку и в то же время какое-то вечное изумление перед окружающим… Временами он неосторожно впадает в откровенность. В другие же

минуты пытается быть скрытным и хитрить. В иные мгновения он безрассудно храбр… О, поверьте мне, при этих условиях у него будет трудная жизнь».

Эти слова Булгакова о Мольере — одновременно и его собственный портрет. Мой Булгаков идет к вам.

Наверное, сам Михаил Афанасьевич обрисовал бы свою врачебную биографию совсем иначе. Быть может, он даже мечтал о подобных страницах. Не случайно в записной книжке, начатой в дни лечения в Барвихе, Елена Сергеевна Булгакова записала под его диктовку: «Медицина, история ее? Заблуждения ее? История ее ошибок». Но ему не было это суждено. 31 декабря 1939 года, вступая в последние свои сроки и понимая это, Булгаков писал младшей сестре Елене Афанасьевне Светлаевой: «Милая Леля, получил твое письмо. Желаю и тебе и твоей семье скорее поправиться. А так как наступает Новый год, шлю тебе и другие радостные и лучшие пожелания. Себе я ничего не желаю…»

Думаю о безмерно тяжких неделях зимы сорокового года, о тающей жизни и скорой кончине Михаила Афанасьевича. Пятого февраля он диктует последние свои размышления врачебного характера в отношении самого себя. Булгаков просит отменить обременительный для него в данное время распорядок завтраков, обедов и ужинов. Желательно иметь в достаточном запасе боржоми, клюквенный морс и квашеную капусту. Видимо, все это облегчает его состояние.

Страдания все сильнее, но 3 марта, очнувшись после недолгого сна, Михаил Афанасьевич говорит, что ему представилась сцена из написанного им «Дон Кихота»… И еще несколько слов из этой трагической хроники, составленной для нас Е. С. Булгаковой. Обращаясь мыслью к Н. А. Захарову, Ф. Д. Забугину, М. М. Покровскому и другим врачам, пользующим его, Михаил Афанасьевич произносит: «Они понимают, что вылечить меня нельзя, и оттого смущены». Быть может, в эти минуты перед ним встает и его врачебный путь.

«Бывало, настанет час нашей «прогулки», — вспоминает Анна Елизаровна Пономаренко, одна из медицинских сестер, оказывавших помощь писателю, — он сначала спустит ноги с дивана (лежал он в своем кабинете), посидит немного, отдохнет. Потом подымется, опираясь правой рукой на костыль, а левой на мою руку. Высокий — я ему до плеча — и очень-очень худой в своем темно-зеленом халате. Сделаем мы круг по большой комнате. Вижу, трудно ему. Посмотрю на него — мол, хватит уже, а он: «Нет, нет, еще раз…»

…Выходной, воскресенье. Михаил Афанасьевич задремал на

диване, повернувшись лицом к стене. Мне сказал: «Вы тоже отдохните». Очень внимательным был…» Так уходил он в бессмертие.

Любить значит помнить и размышлять. Пришла пора осознать, что и булгаковская медицина является наставницей жизни, настало время возвратиться на его врачебные дороги, вслушаться в его врачебные заповеди. Ибо и они — «дыхание какого-то нравоучения», учения о добре и муя?естве. Именно эти истины Михаила Булгакова освещают раздумья о нем.

МАСТЕР И МЕДИЦИНА
Юрий Щербак

Парадоксально, но факт: в нарастающем из года в год потоке отечественных и зарубежных публикаций, посвященных творчеству М. А. Булгакова, многочисленных воспоминаний о нем, глубоких исследований, рисующих трагический образ писателя на безысходном фоне воен, революций и террора, во всем щедром половодье современной «булгаковианы» до сих пор — до выхода в свет книги Ю. Виленского — не появлялось сколько-нибудь значительных системных работ о врачебных, медицинских истоках бытия и деяний Мастера, хотя очевидность этой темы ясна, казалось бы, каждому.

«Доктор Булгаков» Ю. Виленского — первое добротное исследование подобного рода и уже этим своим «первенством» в столь престижной и бурно развивающейся отрасли знания, коей стало в наши дни булгаковедение, интересно и важно нашим современникам. Но не это самое главное. Гораздо важнее то, что автору удалось собрать, обобщить и творчески осмыслить поистине огромный и неизвестный массив медицинской информации, прямо или косвенно относящейся к жизни и творчеству киевского врача М. А. Булгакова, ставшего одним из ярчайших русских писателей XX века.

Ценность и сообщительность предлагаемой вниманию читателя книги очевидна. Не сомневаюсь, что труд Ю. Виленского будет достойным образом отмечен как читателями — медиками и не медиками, так и всеми специалистами-булгаковедами. Автору удалось воссоздать ряд малоизвестных эпизодов духовной биографии Михаила Булгакова, убедительно раскрыть сопряженность его медицинской и писательской судеб в их взаимопроникновении и взаимодополнении.

Вспомним хотя бы повествование об учителях будущего «лекаря с отличием» — профессорах медицинского факультета киевского университета св. Владимира, о неповторимой атмосфере либерально-врачебного идеализма, царившего в те годы на факультете. Благодаря Ю. Виленскому можно явственно представить погруженность будущего врача и писателя в мир медицинских знаний, медицинской этики, медицинской психологии — ежечасно и ежедневно, на протяжении многих лет. А ведь происходило все это в том счастливом возрасте, когда душа человеческая жадно впитывает все впечатления, когда формируются будущие воззрения, привычки, черты характера,

политические и философские взгляды.

Система взглядов и знаний М. Булгакова подверглась затем суровой проверке на прочность в госпиталях первой мировой и гражданской воен, в земских амбулаториях и больницах, когда молодой врач и начинающий писатель столкнулся с жестокой действительностью распада страны, гибели общества, потери им христианских нравственных идеалов, со всеобщим озверением и одичанием, в питательной среде которого рождались будущие шариковы и швондеры.

Политическая и общественная позиция писателя Булгакова представляется мне неотделимой от этических взглядов врача Булгакова. Думаю, что эти взгляды ничем или мало чем отличались от либерально-демократических воззрений большинства земских врачей тех лет. В свое время, работая над материалами по истории медицины, я натолкнулся на следующее обращение, опубликованное в журнале «Русский врач» № 43–47 за октябрь-ноябрь 1917 г. (с. 575).

«Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова вместе со всей страной, до глубин народной жизни взволнованной и страдающей, тяжело и болезненно переживают ее потрясения и не может остаться молчаливым зрителем событий, разрушающих основные устои демократического строя и приводящих страну к развалу и гибели. Не становясь на точку зрения какой-либо партии или политической группы и оставаясь в плоскости общечеловеческих и общедемократических идеалов, Правление Общества считает своим гражданским долгом в настоящий трагический момент народной жизни поднять свой голос. Правление призывает все живые врачебные силы страны стать на защиту общенародных интересов и принять участие в борьбе с надвинувшейся реакцией, психологическая почва для которой подготовлена всеми переживаниями страны и предостерегающим признаком которой являются успехи большевизма, захватившего власть насилием меньшинства населения над большинством его. Страна, охваченная бедствиями небывало продолжительной войны, хронического недоедания и всевозможных других моральных и материальных лишений, стала жертвой политической авантюры, сделалась объектом безумных социальных экспериментов, осуществляемых на ее обескровленном теле кучкой политических фанатиков. Власть была достигнута ими при помощи недопустимых демагогических приемов; несбыточными обещаниями и посулами они подчинили своему временному влиянию передовой отряд русской демократии — промышленный пролетариат; они оперлись на вооруженную силу, которая доставлена им тыловой армией,

состоящей из элементов, оторванных от производительного труда… Завладевшая властью группа насильников по могла удержаться в положении народных вождей и сама попала под власть деморализованной толпы.

Лишенная творческих и моральных сил, группа эта дала простор для разгула темных элементов. К захватившим власть политическим безумцам примкнули, несомненно, авантюристы, творящие теперь суд и расправу над многострадальной страной. Они воскресили все худшие и наиболее преступные приемы отошедшего было в прошлое царского режима. Нет преступления против прав гражданина, против народной воли, пред совершением которых они бы остановились. Ими уничтожаются гражданские свободы неприкосновенность личности, жилища, свобода слова, печати, собраний, стачек, уничтожается правосудие, создается благоприятная почва для самосудов разнузданной толпы путем натравливания одних групп населения на другие, кощунственно втаптывается в грязь осуществленное русской революцией всеобщее прямое равное и тайное избирательное право, попирается неприкосновенность свободно избранных народом органов самоуправления, разрушаются основы народного благосостояния, расточаются народные сбережения…»

Да простит меня читатель за столь долгую документальную цитату из обращения пироговского общества русских врачей — наиболее авторитетной общественно-демократической медицинской организации, ликвидированной после октябрьских событий 1917 года. Можно соглашаться или не соглашаться с заявлением. Но мне кажется, что в этом во многом провидческом тексте пронзительно точно сформулирована нравственная и политическая позиция большинства русских интеллигентов — современников М. А. Булгакова — не принявших «нового» вероучения.

Отсюда — и пожизненная драма М. Булгакова, ставшего духовным изгоем в родной стране, по не продавшего свою душу а талант новым идеологическим Мефистофелям. Очень глухо и полунамеками об этом пишет Ю. Виленский, и потому мне представляется очень важным сказать здесь об этом прямо: антитоталитаризм, антисталинизм писателя Булгакова не был частным, изолированным явлением, некоей «аномалией», изъяном в личной его судьбе. Ненависть к любому насилию, неприятие любой политической доктрины, ведущей к «счастью» через горы трупов, — все эти качества были прочно закодированы в душе врача Булгакова, вынесшего из аудиторий медицинского факультета в Киеве может быть самую валшую в мире науку:

науку любви к человеку.

И еще одна, поистине христианская идея живет постоянно в сознании Булгакова: понимание того, что грядет время расплаты за содеянные грехи, за все преступления тех смутных дней. Идея покаяния и искупления грехов. Вспомним статью писателя «Грядущие перспективы», написанную в 1919 году:

> «Теперь, когда наша несчастная Родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще начинает являться одна и та же мысль:… а что же будет с нами дальше».

Что касается западных держав и их будущего, то ответ Булгакову ясен: «Мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества».

«А мы?» — спрашивает писатель. И дает горький ответ:

> «Мы опоздаем. Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их, и догоним ли вообще?
>
> Ибо мы наказаны… Пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы»
>
> *(М. Булгаков. Избранные произведения. К.: Днипро, 1990. — С. 438–439).*

Быть может, только сегодня, живя в новое смутное время, в тревогах кризиса, охватившего страну, в боязни гражданской войны, кровавые миражи которой вновь бередят наше сознание, мы, «опоздавшие», сумеем глубже и полнее оцепить пережитое Булгаковым, и не только им, а и всем поколением его современников-врачей, жизнь которых пришлась на время, «когда стучали пулеметы». Пред нами пророческое предостережение.

Вот уникальные данные, собранные известным деятелем медицины Д. Н. Жбанковым, имя которого упоминается в этой книге:

> «С августа 1914 по 1922 г. умерло (в России) 3254 врача, в среднем по 390 врачей в год. Но так как данные сведения неполны, то надо думать, что смертность была за эти годы еще больше. 1919–1920 сыпнотифозные годы дали громадную смертность: 615 и 597 человек. Средняя

продолжительность жизни врача-мужчины — менее 40 лет. 55, 3 % умерло в возрасте 24–50 лет. Всего от сыпного тифа (1914–1922 гг.) умерло 1460 врачей (60 %), от остальных заразных болезней — 164, от наследственных и случайных причин — 270, от остальных болезней — 540. Убито па войне и погибло от ран 62, самоубийств — 59, расстреляно — 46, погибли при разных восстаниях — 43, убито бандитами — 36».

(«Врачебная газета», 1926, № 13).

Это хроника увиденного и пережитого и доктором Булгаковым.

Анализируя творчество М. Булгакова с точки зрения профессионального медика, Ю. Виленский находит достаточно убедительные, на мой взгляд, научно-врачебные параллели, о существовании которых вряд ли догадывались критики и литературоведы. Очень уместной представляется мне и глава «Чехов, Вересаев, Булгаков», в которой отнюдь не нарочито прочерчивается глубокая духовная преемственная связь между тремя писателями-врачами, такими разными, но исповедующими единую философию медицинского рационализма и милосердия.

Мирон Петровский, известный советский литературовед, один из самых вдумчивых исследователей творчества Булгакова, писал в статье «Мифологическое городоведепие Михаила Булгакова» (1990):

«Киев у Булгакова — не в изображении родного города, не в названиях киевских реалий, вообще не в «теме», он в самой структуре мышления писателя, в типологии его творчества. Предстоит ли художнику-живописцу нарисовать портрет, па писать пейзаж или построить жанровое полотно — он все равно макает кисти в свою палитру, — так Булгаков макал свои кисти в Киев, что бы не предстояло ему изобразить. Он, если можно так выразиться, мыслил Киевом».

Замените в этом высказывании слово «Киев» па «медицину» и вы получите представление о роли лекарской профессии в типологии творчества Булгакова.

Ю.Виленский всем строем своей книги, всей системой доступных ему доказательств свидетельствует о том, что «Булгаков макал свои кпсти в медицину, что бы пи предстояло ему изобразить».

Вместе с тем, повествуя о жизни М. Булгакова, обильно цитируя и комментируя его тексты, Ю.Виленский тактично соблюдает все приличествующие данному случаю правила жанра: книга его не претендует па глобальное толкование всех

таинственных, ироничных, непредсказуемых поворотов мысли и слова писателя, медицинская профессия которого была очень важной, но, по-видимому, все-таки не самой главной опорой духовного мироздания. И как бы натуралистично и медицински точно ни была выписана мигрень у Понтия Пилата, не это делает Булгакова великим писателем, а те непостижимые прозрения духа, благодаря которым Иисус Христос и дьявол Воланд становятся нашими современниками и собеседниками, нашими судьями и учителями, входят в наше сознание зримее многих наших «живых» друзей и врагов.

Когда зимой 1990 года я приехал в теплый и дождливый Иерусалим (в университетском саду цвели розы, а на соседней горе, невдалеке от Голгофы, тускло отсвечивал золотой купол огромной мечети), я поймал себя на мысли, что смотрю на этот город, на его каменистые крутые улочки, на гроб Господний глазами Булгакова, хотя здесь писатель — увы! — не бывал. Таково могущество слова свободного и боговдохновенного, но материя сия не имеет никакого отношения к медицине. Тайной этой владели лишь избранные — Гоголь, Достоевский, Толстой, Платонов, которые, как известно, не являлись членами врачебной корпорации. Владел ею и Булгаков…

Подчиняясь законам жанра «медико-публицистического исследования», Ю. Виленский оставляет в стороне многие узловые проблемы, связанные с именем М. Булгакова. Назовем хотя бы в высшей степени противоречивый характер взаимоотношений писателя с Украиной, а точнее — с украинским национально-освободительным движением, роль которого в истории Булгаков, к сожалению, не понял, да и не мог понять в силу ряда обстоятельств.

Можем ли мы сегодня осуждать за это писателя, имеем ли право выставлять оценки за поведение на уроке времени? Тем более, что в теме этой далеко не все так просто и однозначно: будем надеяться, что найдется в Киеве объективный последователь, который сможет подняться над упрощенными, «черно-белыми» представлениями о тех грозных днях национальных и социальных распрей.

В целом же, несмотря на отдельные спорные моменты книги, некоторую патетичность стиля, предположительный характер ряда допущений, идеализацию медицинской прозорливости Булгакова, исследование Ю. Виленского следует считать серьезным достижением отечественного булгаковедения. Приятно отметить последовательность издательства «Здоровья», выпускающего уже вторую книгу, посвященную творчеству писателя-врача. Первой в этом ряду стояла блестящая книга

профессора Е. 6. Меве о медицинских аспектах творчества А. П. Чехова. Хочется верить, что издательство «Здоровья» не ограничится этим и продоля?ит серию, пользующуюся заслуненной популярностью у читателей.

Юрий Григорьевич Виленский — врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук, литератор, популяризатор медицины, выпускник Киевского медицинского института. Почти все, о чем он пишет, знакомо ему не понаслышке — и подвал анатомического музея на улице Ленина, 37 (во времена Булгакова — улица Фундуклеевская), и знаменитые акушерская и хирургическая клиники на бульваре Шевченко (бывший Бибиковский бульвар), и здание туберкулезного института на Батыевой горе, и многое другое, что навсегда осталось в памяти нескольких поколений киевских врачей… Самоотверженно и увлеченно работал он над этой книгой, отложив на время в сторону рукопись недописанной повести о врачах-фтизиатрах — повести правдивой и интересной. Человек скромный и даже застенчивый, Ю. Виленский преображался, когда речь заходила о его любимом Булгакове: мог часами рассказывать о своих поисках, предположениях и находках, встречах со старыми врачами, теми, кто мог хоть что-нибудь поведать о мастере или о жизни тогдашнего медицинского факультета и киевского врачебного общества. Думаю, что тему эту «Булгаков — Киев — медицина» Ю. Виленский уже не оставит, будет и дальше развивать и обогащать. Ибо тема эта глубока и неисчерпаема, как глубоки и неисчерпаемы медицина и литература.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосов Н. Мысли и сердце // Амосов Н. Повести. — К.: Дншро, 1984.— С. 168–169.

2. Белозерская Л. Е. Страницы жизни // Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес— М.: Сов. писатель 1988.—527 с.

3. Бехтерев Б. М. Вопросы алкоголизма и меры борьбы с его развитием // Классики русской медицины о действии алкоголя и алкоголизма:

Избр. тр. / Сост. В. С. Воробьев. — М.: Медицина, 1988.— С. 69–71.

4. Брусилов А. А. Мои воспоминания. — М.: Воениздат, 1983.- С. 166–167.

5. Булгаков М. Пьесы / Сост. Л. Е. Белозерская, И. Ю. Ковалева.-М.: Сов. писатель, 1987.— 656 с.

6. Булгаков М. Человек с градусником // В мире книг. — 1987.- № 4. — С. 63–64.

7. Булгаков М. Записки па манжетах//Театр. — 1987.— № 6. — С. 143, 159.

8. Булгаков М. Столица в блокноте // Лит. Россия. — 1987 — 4 дек.

9. Булгаков М. О пользе алкоголизма // Вечер. Ленинград. — 1988.- 20 апр.

10. Булгаков М. А. Школа III интернационала//Булгаков М. А. Чаша жизни. — М.: Сов. Россия, 1988.— С. 408–409.

11. Булгаков М. А. Комаровское дело. — Там же. — С. 430.

12. Булгаков М. Записки на манжетах. Из прозы ранних лет. — М.: Правда, 1988.-47 с.

13. Булгаков М. А. Избранные произведения: В 2 т. — К Дншро, 1989 —Т. 1 — 765 с; Т. 2.-749 с.

14. Булгаков М. А. Избранные произведения. — К.: Дншро 1990.— 704 с.

15. Булгакова Е. С. Из дневниковых и мемуарных записей 1933–1970 гг. // Воспоминания о Михаиле Булгакове. — М.: Сов писатель, 1988.— С. 391–411.

16. Вересаев В. В. Воспоминания.—М.: Правда, 1982.— 544 с.

17. Вересаев В. В. Записки врача//Записки врача. На японской ной не. — М.: Правда, 1986.— 557 с.

18. Вересаев В. В. Живая ншзнь: Избр. произведения. — К.: Дншро, 1988 — 523 с.

19. Воронов С. Омоложение пересадкой половых желез. — Петроград: Пр. медицина, 1924.— С. 65.

20. Галчинский В. М. Демиевский укрепрайон // В защиту революции. — К.: Политиздат Украины, 1977.— С. 202.

21. Гудкова В. В. «Не все ли равно, где быть немым». Письма М. А. Булгакова брату Н. А. Булгакову // Дружба народов — 1989.- № 2. — С. 210.

22. Дегтяренко П. М. Киев в 1918 г. // В защиту революции.- К.: Политиздат Украины, 1977.— С. 148.

23. Ермолинский С. Из записей разных лет // Воспоминания о Михаиле Булгакове. — М.: Сов. писатель, 1988.— С. 428–482.

24. Зайончковский Е. Из близкого прошлого. Переписка В. В. Вересаева и М. А. Булгакова // Лит. Россия. — 1987.— 17 апр.

25. Земская Е. А. Материалы к творческой биографии Михаила Булгакова//Вопр. литературы. — 1984.—№ 11.—С. 204–216.

26. Земская Е. А. Из семейного архива. Материалы из собрания Н. А. Булгаковой-Земской // Воспоминания о Михаиле Булгакове. — М.: Сов. писатель, 1988.— С. 41–92.

27. Кац В. Саратовские дпи мастера//Заря молодежи. — 1988. — 30 янв.

28. Киселъгоф Т. Н. Годы молодости//Воспоминания о Михаиле Булгакове. — М.: Сов. писатель, 1988.— С. 109–122.

29. Краинский В. Н. О лихорадочном бреде // Врачеб. обозрение.-1923.-№ 3.-С. 111.

30. Кримов О. П. М. М. Волкович. — К.: Держмедвидав УРСР. 1947. — С. 14.

31. Лакшин В. Я. Судьба Булгакова: легенда и быль// Воспоминания о Михаиле Булгакове. — М.: Сов. писатель, 1988.— С. 7—37.

32. Минлин Эм. М. Булгаков // Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. — М.: Сов. писатель, 1979.— 557 с.

33. Отчет Л. Л. Смрчека // Сведения о заразных больных и деятельности мед. учреждений Смоленской губернии: Ежегодник. — 1909.— С. 67.

34. Отчет Л. Л. Смрчека // Сведения о заразных больных и деятельности мед. учреждений Смоленской губернии: Ежегодник, — 1912.-С. 212.

35. Паустовский К. Начало неведомого века // Паустовский К. Начало неведомого века: Время больших ожиданий. — К.: Дншро, 1985.— 339 с.

36. Пирогов П. И. Начала общей военно-полевой хирургии. — М.— Л.: Медгиз, 1941.— 338 с.

37. Письма М. А. Булгакова В. В. Вересаеву // Знамя. — 1988. — № 1.-С. 161–172.

38. Слезкин Ю. Столовая гора//Слезкин Ю. Шахматный

ход. — М.: Сов. писатель, 1981.— 574 с.

39. Стеклов М. «Я стал отважным человеком» // Лит. Россия. — 1984.— 24 авг.

40. Стражеско Н, Д. Василий Парменович Образцов / М. М. Гу-бергриц, Ф. А. Удинцев, Н. Д. Стражеско. Профессор В. П. Образцов К.: Госмедиздат УССР, 1947.— С. 18.

41. Ушаков Н. Повесть быстротекущих лет//Ушаков Н. Повесть быстротекущих лет. Вдоль горячего асфальта. — К.: Дншро, 1981.—283 с.

42. Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1974–1983.

43 Чудаков А. П. Антон Павлович Чехов. — М.: Просвещение, 1987 — 173 с.

44. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. — М.: Книга, 1988.— 670 с.

45. Шалюгин Г. А. Чеховское притяжение // Лит. Россия. — 1985.— 1 февр.

46. Эрисман Ф. Ф. К вопросу об алкоголизме в России и о санитарном вреде спиртных напитков вообще // Классики русской медицины о действии алкоголя и алкоголизма: Избр. тр. / Сост. В. С. Воробьев. — М.: Медицина, 1988.— С. 175.

comments

Комментарии

1

13, т. 1, с. 102

2

26, c. 47

3

25

4

26, c. 64

5

44, c. 176

6

13, т. 1, с. 569

7

13, т. 1, с. 67

8

26, c. 53, 54

9

13, т. 1, с. 66, 67

10

27

13, т. 1, с. 264—265

12

40

13

25

13, т. 1, с. 590—591

15

41

16

13, т. 1, с. 298

17

13, т. 1, с. 609

18

32

19

21

20

4

21

30

22

13, т. 1, с. 546

23

25

24

39

13, т. 1, с. 549—550

26

34

27

33

28

13, т. 1, с. 600

29

13, т. 1, с. 617

13, т. 1, с. 618–619

31

13 т. 1, с. 573–574

32

44, c. 58

13, т. 1, с. 613—614

13, т. 1, с. 553–557

35

1

36

44, c. 62

13, т. 1, с. 622 — 624

38

41

39

28, c. 115

13, т. 1, с. 67–68, 70—72

13, т. 1, с. 641—642

42

22

43

13, т. 1, с. 153

13, т. 1, с. 241, 268

45

35, c. 116, 121

28, c. 118

13, т. 1, с. 300—305

44, c. 103

35, c. 124—125

50

20

51

44, c. 110

52

28, c. 116

44, c. 116—118

13, т. 1, с. 661, 664

38, с. 45—46

23, c. 468

2, c. 228

44, c. 279

59

13, т. 1, с. 268

36, с. 56—57

42, т. 16, с. 271–272

62

26, c. 82

13, т. 1, с. 565—569

13, т. 1, с. 5721

13, т. 1, с. 575

13, т. 1, с. 576–581

13, т. 1, с. 585—586

13, т. 1, с. 582

69

26 c. 85

13, т. 1, с. 559–561, 564

71

13, т. 1, с. 609

13, т. 1, с. 587—588

13, т. 1, с. 588, 590—593

13, т. 1, с. 640—6411

13, т. 1, с. 622—651

13, т. 1 с. 648—649

77

3

78

9

14, с. 545—546

80

46

81

6

82

8

12, с. 35—36

12, с. 43—44

12, c. 42–43

13, т. 1, С. 666–668

87

29

13, т. 1, с. 27, 201–204, 207, 209-210

13, т. 1, с. 180—181

13, т. 1, с. 189–190, 193, 197

13, т. 1, с. 259—262

14, c. 100, 105, 108, 114, 127, 128, 131

14, c. 109, 120, 121

13, т. 1, с. 390, 392

13, т. 1, с. 466–467

19, c. 65

97

19, c. 97

13, т. 1, с. 491–493

13, т. 1, с. 494—497

13, т. 1, с. 530—531

101

5, c. 631

5, c. 639—640

103

5, с. 637 — 638

13, т. 2, с. 295, 297-299

105

13, т. 2, с. 10

14, c. 213—215

13, т. 2, с. 175—178

108

13, т. 2, с. 13

109

13, т. 2, с. 137

13, т. 2, с. 139—140

111

14, c. 318

112

14, c. 326

113

5, с 483-484

13, т. 2, с. 346–348

115

13, т. 2, с. 351–354

13, т. 2, с. 394–399; 414—416

117

13, т. 2, с. 472—473

14, c. 225—227

14, c. 236—2371

120

13, т. 1, с. 690

121

26, c. 57

122

42, т. 13, с. 146

123

42, т. 1.3, с. 64

14, с. 638—639

125

14, c. 639

126

45

127

45

128

37

129

37

130

37

131

37

15, c. 401–402

133

24

134

24

135

14, c. 490–491

5, c. 489—490

10, c. 408—409

138

42, т. 16, с. 34

139

14, c. 447

140

42, т. 16, с. 180

141

14, c. 524

142

31, c. 16—17

143

43, c. 134

16, с. 335—336

145

26, c. 57— 58

13, т. 1, с. 610— 611

147

42, т. 9, с. 184

148

13, т. 1, с. 574

149

13, т. 1, с. 581—582

150

13, т. 1, с. 613

42, т. 3, с. 291–292

42, т. 7, с. 491—492

153

16, c. 377

154

18, c. 69

155

17, c. 190—191

42, т. 8, с. 26–27

157

17, с. 80—81

13, т. 1, с. 562—564

159

42, т. 10, с. 98–99

160

13, т. 1, с. 82, 86

161

13, т. 1, с. 456

162

42, т. 6, с. 430–432

163

18, c. 332–333

13, т. 1, с. 283

165

14, c. 551

17, c. 151

167

42, т. 7, с. 196

168

13, т. 1, с. 208

169

42, т. 7, с. 132–133

13, т. 1, с. 188, 189, 192, 194

171

13, т. 1, с. 599

172

17, c. 192–193

173

42, т. 14–15, с. 335—337

13, т. 1, с. 306—307

175

17, c. 98

176

14, c. 476

notes

Примечания

1

Автор выражает Б. С. Мягкову признательность за предоставленные им сведения о путешествии по Смоленщине и фотографии.

Они были любезно предоставлены нам для ознакомления старшим научным сотрудником Военно-медицинского музея В. П. Грицкевичем

3

Ермоленко А. И. Воспоминания. Военно-медицинский музей МО СССР. № ОФ-600244.

4

Юдин С. Подарок ко дню рождения. — М.: Правда, 1990.— С. 15.

5

Автор выражает признательность автору книги «Феофил Гаврилович Яновский» Г. Е. Аронову за обсуждение темы.

6

Сопоставление текста повести «Записки на манжетах» с публикацией во владикавказских газетах 20-х годов принадлежит Г. С. Файману.

7

Воспоминания П. Н. Зайцева приводятся М. О. Чудаковой в послесловии к книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове» (1988 г.).